Гербъ

Анненскаго



ПОВЕСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

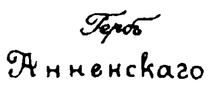
ВОСПОМИНАНИЯ

Татьяна БОГДАНОВИЧ



Издательство «Свиньин и сыновья»







ПОВЕСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
ВОСПОМИНАНИЯ
1880–1909

Татьяна БОГДАНОВИЧ

Новосибирск
Издательство «Свиньин и сыновья»
2007

ББК 84(2Рос=Рус)
Б73

Богданович, Татьяна
Б73 Повесть моей жизни. Воспоминания. 1880-1909. – Новосибирск : Изд-во «Свиньин и сыновья», 2007. – 364 с.
ISBN 978-5-98502-056-4

При оформлении книги использован герб, пожалованный Николаю Ильичу Анненскому (деду Иннокентия Федоровича и Николая Федоровича), коллежскому советнику, получившему в 1804 году потомственное дворянство «заслугами по службе гражданской» [Общий гербовник дворянских родов Российской Империи. – СПб., 1807. – Ч.VIII. – С. 153–154].

О. Л. Позднева

ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ: ТКАЧЕВЫ, КРИЛИ, АННЕНСКИЕ, БОГДАНОВИЧИ

Никита Андреевич Ткачев – инженер-строитель.

Петр Никитич Ткачев – революционер, русский якобинец, философ, выдающийся публицист, литературный критик.

София Никитична Криль – стенографистка, переводчица, активная участница движения за высшее женское образование, деятельница русского революционного подполья.

Александра Никитична Анненская – детская писательница, переводчица.

Николай Федорович Анненский – один из создателей школы российской статистики, публицист, редактор популярного в России журнала на рубеже XIX–XX веков, выдающийся общественный деятель.

Татьяна Александровна Богданович – женщина, воспользовавшаяся своим правом получить высшее образование, ставшая историком, журналистом, детской писательницей.

Ангел Иванович Богданович – журналист и критик, редактор либерального и общественно-значимого журнала.

Иннокентий Федорович Анненский – один из крупнейших поэтов «серебряного века».

Все перечисленные здесь люди связаны между собой тесными родственными узами.

Россия может гордиться такими сыновьями и дочерьми. Ведь именно они всячески способствовали просвещению народа российского, улучшению условий его жизни, сближению России с цивилизованными странами Европы. И они же были активными борцами с самодержавием, препятствовавшим этому сближению. Они по-настоящему любили Родину, верили в ее будущее, только с ней связывали свои судьбы и судьбы своих детей.

Без упоминания и о других членах этой семьи, ничем не знаменитых, даже имеющих прямо противоположные взгляды на жизнь, вступительное слово к мемуарам Т. А. Богданович было бы не полным. Их взгляды были так же характерны для русского общества того времени.

Отец семейства Ткачевых – Никита Андреевич, инженер-строитель, принимал участие в возведении арки Главного штаба на Дворцовой площади в Петербурге по проекту знаменитого Карла Росси, за что был пожалован дворянством. Он рано умер, оставив своим четырем детям (двум дочерям и двум сыновьям) весьма скудные средства к существованию, да мизерную пенсию жене. Небольшое имение Сивцево Великолукской губернии, принадлежавшее жене Никиты Андреевича Марии Николаевне, урожденной Анненской, почти никакого дохода не приносило. С юного возраста молодым Ткачевым пришлось работать, чтобы прокормить себя и помогать престарелой матери.

После смерти мужа Мария Николаевна переехала с детьми в Петербург. Крошечного роста, сухонькая, похожая на подростка, она отличалась не-

обыкновенной твердостью характера. Именно от нее дети унаследовали сильную волю, бескомпромиссность, а иногда и просто ярко выраженный дух противоречия. «Она готова была скорее умереть, чем поступиться тем, что считала долгом», – вспоминала о ней ее внучка.

Революцию Мария Николаевна ненавидела. Революция отняла у нее любимого младшего сына. Ее младшая, безвременно умершая дочь, тоже была тесно связана с революционным подпольем. Дети Марии Николаевны были атеистами, как того требовали революционная и нигилистическая идеи. А она, глубоко верующая, считала, что царская власть – от Бога.

Про Петра Ткачева его сестра Александра писала: «...трудно было найти более мягкого, незлобивого, миролюбивого человека в частной жизни. Трудно было ожидать от него тех свирепых политических теорий, которые он высказывал».

После переезда Ткачевых в Петербург Петра Ткачева приняли во вторую Петербургскую гимназию. Не окончив последнего класса, в 1861 году он поступил на юридический факультет Петербургского университета. Учиться бы... Не тут-то было. В 1861 году царь Александр II отменил крепостное право, даровал волю крестьянам. Но эра великих реформ не привела к успокоению в обществе. Университет захлестнули студенческие волнения, и Петр принял в них активное участие. Его арестовали и посадили в Петропавловскую крепость, затем перевели в Кронштадскую. Юный возраст Петра (ему было семнадцать лет) позволил матери добиться разрешения царя оставить сына под ее ручательство в Петербурге. Петр провел в тюрьме всего лишь два месяца.

В 1863 году Петр экстерном сдал экзамены за полный курс обучения в университете. Защитив диссертацию, получил степень кандидата права, но использовать

свою профессию не смог, так как находился под надзором полиции.

Первую статью Ткачев опубликовал в 18-летнем возрасте в журнале братьев Достоевских «Время». Она была посвящена обсуждению закона о печати и имела резко оппозиционный характер. Затем последовали статьи в журналах «Эпоха», «Библиотека для чтения» Боборыкина, «Русское слово», «Дело» Благосветлова. Почти все публикации Ткачева преследовались цензурой, запрещались. Но даже те крохи, которые просачивались в печать, сделали Ткачева одним из самых популярных публицистов своего времени, кумиром оппозиционно мыслящей молодежи. «Даже самое имя его имело значение определенного знамени», – признавали цензоры. На всех судебных процессах против Ткачева обвинение использовало цитаты из его статей.

Ткачев был не только талантливым публицистом. Большим успехом пользовались его критические статьи и работы, посвященные вопросам философии. Философию он пытался приблизить к пониманию обычного человека. Он разрабатывал оригинальные концепции в философии, социологии, психологии, педагогике. Все, о чем он писал, было ярко, актуально, ново. Но целью жизни Петра Никитича было стремление к революционному свержению деспотического царского строя, и здесь он неизбежно сталкивался с жестоким сопротивлением этого строя. Слежка, обыски, аресты, тюрьма – были как бы рефреном его жизни в России. До побега за границу он почти ежегодно подвергался тюремному заключению.

Последний суд над Ткачевым состоялся в 1869 году. Судили его не за конкретные политические преступления, а за воззвание «К обществу», содержавшее требования студентов, за издание сборника «Луч», за издание книги Э. Бехера «Рабочий вопрос». Правда, в приложении к этой книге Ткачеву удалось напечатать пе-

ревод устава 1-го Интернационала, что, по мнению царского правительства, было серьезнейшим проступком. И хотя по совокупности содеянного ему присудили два года и четыре месяца заключения в крепость, в тюрьме он провел около четырех лет.

В начале 1873 года Петра Никитича выслали в материнское имение Сивцево, откуда он благополучно бежал за границу. В Париже он получил статус политического эмигранта. Некоторое время сотрудничал в журнале «Вперед», затем, разойдясь с его редактором Лавровым во взглядах на задачи революционной партии, стал издавать в Женеве свой журнал «Набат». Впоследствии «Набат» превратился в газету, выходившую до 1881 года. Под разными псевдонимами Ткачев продолжал печататься в русской легальной печати. Публиковались его статьи по истории, праву, философии, социологии, экономике, педагогике. Статьи печатались главным образом в журнале «Дело».

К сожалению, жизненный путь этого выдающегося представителя русских революционных демократов не был долгим. 4 января 1885 года в одной из французских клиник 41-летний Ткачев скончался от прогрессирующего паралича мозга, всеми забытый. В Париже у него остался сын от тоже рано умершей его второй жены-француженки. Маленький Пьер Ткачев воспитывался в семье брата жены, рабочего инструментального цеха, и внешне был очень похож на отца. Он не знал русского языка и был уже истинным французом.

К. И. Чуковский писал о Ткачеве как об «одном из самых ярых максималистов народничества, какие когда-либо существовали в России. Его недаром звали якобинцем: ради того, чтобы революция могла произойти сейчас, а не завтра, он предлагал простое и радикальное средство: срубить головы всем без исключения жителям Российской империи старше двадцати пяти лет». Правда, к этому «отрубанию голов» Ткачев призывал в

18-летнем возрасте, находясь в заключении в Петропавловской крепости. Позднее он отказался от подобных призывов, сочтя их слишком радикальными. «Самым свирепым фанатиком» называл его Чуковский, читая «грозные статьи в легальной и нелегальной печати».

Здесь хочется привести слова, сказанные о себе Петром Никитичем: «В течение всей своей литературной деятельности я постоянно вращался среди нашей молодежи, среди наших „детей". Я сам принадлежу к этому поколению, я переживал с ними его увлечения и ошибки, его верования и надежды, его иллюзии и разочарования, и каждый почти удар, который наносила ему свирепая реакция, отражался на мне или непосредственно, или в лице моих близких товарищей и друзей; с гимназической скамьи я не знал другого общества, кроме общества юношей, то увлекающихся студенческими сходками, то таинственно конспирирующих, то устраивающих воскресные школы и читальни, то заводящих артели и коммуны, то опять хватающихся за народное образование, за сближение с народом, и опять и опять конспирирующих; я всегда был с ними и среди них, – всегда, когда только меня не отделяли от них толстые стены каземата Петропавловской крепости». По-моему эта цитата точно характеризует настроения революционной молодежи XIX века, так называемых шестидесятников. В первую очередь это, конечно, отказ от собственного благополучия, жертвенность во имя достижения главной цели, смелость и нетерпеливое стремление приблизить поскорее «счастье народное». Но головокружительные мечты и стремления сочетались в шестидесятниках с необыкновенным прекраснодушием и наивностью. Пропасть отделяла юношей от горячо любимого ими народа...

Вот как описала внешность другого Ткачева – Андрея Никитича – его двоюродная внучка Татьяна Анатольевна Пащенко: «У мамы в кабинете висел портрет в

темной раме, написанный масляными красками. Нам, детям, он казался очень страшным: бледное лицо, черная борода и пронзительный взгляд. Куда ни повернись, эти суровые глаза всюду следовали за тобой. „Мамочка, это Пугачев?“ – спросила как-то Соня. „Почему Пугачев? – засмеялась мама. – Это же дядя Андрюша. Он написал себя сам. Это называется автопортрет“. – „Разве он художник?“ – „Нет, он даже никогда не учился. Просто врожденный талант“».

Андрей Никитич Ткачев был талантливым человеком. В Петербургском университете он окончил два факультета – юридический и исторический. За какую бы деятельность он ни брался, все ему удавалось.

«Он целый век искал чернил и все чернил, чернил, чернил», – сказал про себя Андрей Никитич. Эта характеристика точно отразила суть его жизненной позиции. Монархические взгляды, скорее всего, были своеобразным ответом Андрея Никитича брату и сестрам, исповедующим революционные идеи. В первой Государственной Думе он сидел на крайне правых, монархических скамьях. Но и в Думе он ничего не сумел добиться. Правда, причина здесь была физиологическая – помешала болезнь. С ним случился инсульт, и, промучившись два года, парализованный и потерявший речь, он умер. Одинокого и беспомощного Андрея Никитича поместила в своей квартире его племянница Татьяна Александровна. Она отвела ему отдельную комнату и наняла специальную сиделку.

Софья, младшая дочь Никиты Андреевича, окончила пансион в Петербурге, а затем курсы стенографии, что в ту пору было модно, да к тому же давало возможность дополнительного заработка. Она стала одной из лучших стенографисток в Петербурге. К тому же Софья прекрасно знала немецкий, французский и английский языки. Вместе со своей сестрой Алиной и их двоюродным братом Николаем Анненским, будущим му-

жем Алины, они занимались переводами с немецкого и английского языков. В ее переводах увидели свет «История крестьянских войн» Циммермана, «Комедия всемирной истории» Шерра, «Утилитаризм» Милля, «История философии» Льюиса.

В шестидесятые годы XIX века началось движение за право женщин получать высшее образование. Сестры Ткачевы стояли у его истоков. Движение разделилось на две, дополняющие одна другую, партии: «Аристократки» и «Нигилистки». София и Алина принадлежали к «нигилисткам». Собрания, предварявшие образование Высших женских Бестужевских курсов, часто проходили на квартире молодых супругов Анненских. Сестры были избраны секретарями «Общества для доставления средств Курсам».

Софья Никитична вышла замуж за Александра Александровича Криля, по профессии инженера-путейца. Весной 1872 года супруги Крили побывали в Париже, где встречались с революционером-народником Петром Лавровичем Лавровым. Замечу, что Софья Никитична была тогда беременна. Но для нее это обстоятельство не было препятствием ни для рискованного путешествия за рубеж, ни для не менее рискованного возвращения через границу с грузом запрещенной литературы. Слишком велика была уверенность русских революционеров в необходимости и правоте их поступков. Никакие личные соображения не могли остановить их на этом пути.

Из Франции Крили привезли в Петербург программу задуманного Лавровым революционного журнала «Вперед». Петр Лаврович хотел узнать, встретит ли сочувствие будущий журнал у русских революционеров. По приезде Софья и Александр остановились на квартире Анненских. На другой день в квартиру нагрянули жандармы с обыском. Перевернули все вверх дном, но программу не нашли.

Радикалы значительно изменили программу и отослали ее назад Лаврову. Журнал «Вперед» начал выходить в Лондоне с 1873 года. Он пользовался определенным успехом в России.

В августе 1872 года Софья Никитична родила первенца – Татьяну, а в 1875 году после рождения второго ребенка, сына Бориса, умерла от родильной горячки, заболевания тогда неизлечимого. Александр Александрович остался с новорожденным сыном на руках. Вскоре он вновь женился на женщине, никакого отношения к революционному движению не имевшей, и сам отошел от политики. Он работал инженером-путейцем сначала на Урале в Екатеринбурге, затем в Перми. К концу XIX века он уже жил с семьей в Москве. От второй жены у него было две дочери. Борис воспитывался в этой семье. Впоследствии он стал профессором Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Перед смертью Софья Никитична отдала Татьяну «в дочки» своей сестре Александре Никитичне и ее мужу. Александр Александрович вынужден был подчиниться воле умирающей.

Старшей дочери Никиты Андреевича Ткачева – Александре, поэт Иннокентий Анненский, ее двоюродный брат, посвятил стихотворение «Сестре». Вот цитата из него:

Вы еще были Алиною,
С розовой думой в очах,
В платье с большой пелериною,
С серым платком на плечах...

В стул утопая коленами,
Взора я с вас не сводил,
Нежные, с тонкими венами,
Руки я ваши любил.

Слов непонятных течение
Было мне музыкой сфер,

Где ожидал столкновения
Ваших особенных р...

«Чувствовалось в ней что-то крутое, непреклонное, как и в ее брате – Ткачеве», – писал К. И. Чуковский об Александре Никитичне. «Розовая дума в очах» и «что-то крутое, непреклонное» – это отличительная черта всех Ткачевых.

Алина Ткачева училась в пансионе в Петербурге, после окончания которого некоторое время давала уроки. В 16 лет сдала экзамен при Петербургском университете на звание домашней учительницы и организовала школу для начинающих. Но школа продержалась недолго, слишком уж либеральные методы обучения в ней проповедовались. Учеников было мало, денег на содержание школы не хватило.

Со своим будущим мужем, Николаем Федоровичем Анненским, Алина познакомилась, когда ему исполнилось 17 лет. Алина служила домашней учительницей младших сестер в его семье. Поначалу Алину и Николая связывал только общий интерес к литературе и политике. Они могли часами беседовать, гуляя в парке Лесотехнической академии, где Анненские снимали летом дачу. «Любовь незаметно подкралась в наши дружеские отношения и вспыхнула неожиданно для нас самих», – написала в своих воспоминаниях Александра Никитична. Вся родня была против их брака. Во-первых, Николай был слишком молод, на три года моложе Александры и еще не закончил курса в университете, но, главное, – они родственники. Отец Николая и мать Александры были родные брат и сестра. Алине пришлось покинуть семью Анненских. Она сняла комнату у знакомой барыни, и туда ежедневно забегал Николай. В начале 1866 года Николай заболел тифом. Три недели он был без сознания, его жизнь висела на волоске. И все эти страшные дни Алина не видела его.

Зато после болезни Николая молодые люди поняли, что существовать друг без друга не смогут. Их круг общения был нигилистический. Они могли бы жить совместно и без церковного брака. Но для матери Алины Марии Николаевны такое положение дел было просто горем, поэтому в 1866 году Александру и Николая обвенчал сельский священник. Шаферами на свадьбе были Петр Ткачев и еще один товарищ Николая по кадетскому корпусу. И Мария Николаевна, и семья Анненских после тяжелых объяснений, даже истерик и проклятий, в конце концов, примирились с этим браком, устроился торжественный обед, началась семейная жизнь четы молодых Анненских.

Еще до начала писательской деятельности Александра Никитична занималась переводами, в частности переработала роман Д. Дефо «Робинзон Крузо». Она написала биографии Фритьофа Нансена, Фарадея, Вашингтона, Жорж Занд, Диккенса, Гоголя. Попробовать себя на писательской ниве посоветовал ей русский философ Владимир Викторович Лесевич, с которым семью Анненских связывала давняя дружба. Александра Никитична была популярной детской писательницей. Сейчас ее имя забыто, а в 70–80-е годы XIX века и в начале XX дети зачитывались ее книжками. Внучка писательницы Татьяна Аньоловна Пащенко вспоминала: «Когда девочки в гимназии узнали, что я внучка А. Н. Анненской, они сперва просто не могли этому поверить. Как, той Анненской, которая написала „Мой младший брат“, „Товарищи“, „Мои две племянницы“? Они столпились вокруг меня, и каждая выкрикивала свою любимую книжку. Они так мне завидовали, что я вся сияла от гордости и на следующий день принесла им бабушкину фотографию». По свидетельству В. В. Вересаева подростки из культурных семей «Не росли в те годы без „Зимних вечеров“». Ее повести, почти всегда грустные, четко разграничивали добрые

и дурные поступки, плохих и хороших людей. В книжках ее дышит та незабываемая и великая эпоха, которая сформировала и ее взгляды, и ее духовный мир, эпоха 60-х годов XIX века. В них много автобиографичного. Саму Александру Никитичну напоминает героиня повести «Брат и сестра» – Маша, ставшая, в конце концов, сельской учительницей.

Очень интересны взгляды Александры Никитичны на воспитание. Она считала, что детям не надо читать сказок, гораздо важнее знакомить их сызмальства с естественными науками, с географией, историей, обучать языкам. Как и просветители-народники, в этом она не принимала никаких компромиссов. Приемной дочери Александры Никитичны Тане не устраивали елку на Рождество, у нее не было кукол и никаких сказок о Емеле-дураке или бабе Яге ей не читали. У Александры Никитичны, несомненно, был педагогический дар. «Благодаря ей Татьяна Александровна стала одной из образованнейших женщин: превосходно знала языки, превосходно изучила русскую и мировую историю» – написал К. И. Чуковский в воспоминаниях о семье А. Н. и Н. Ф. Анненских. Нижегородскую гимназию Таня закончила с золотой медалью.

Александра Николаевна умерла через три года после смерти мужа. Болела она недолго и чувствовала, что умирает. До последних минут сохранила ясность мысли и просто и спокойно приняла смерть. В 1990 году в издательстве «Детская литература» был переиздан сборник повестей и рассказов А. Н. Анненской «Зимние вечера» тиражом 100 тысяч экземпляров. На полках книжных магазинов он не задержался. Умные, добрые, но не сентиментальные повести и рассказы затронули и в наше время самые чувствительные стороны детских душ, показали подросткам, что самое главное в жизни – это приносить пользу людям, как бы трудно это иногда ни казалось.

Николай Федорович Анненский родился в Петербурге.

Детство и раннюю юность Николай провел в Омске, куда его отца, Федора Николаевича, назначили вице-губернатором. В Омске Николай окончил кадетский корпус. Других учебных заведений в этом городе не было. Выйдя в отставку, отец Николая с семьей возвратился в Петербург, где попал в долги и безнадежно разорился. Пришлось Николаю, старшему в семье, взять на содержание своего младшего брата, будущего поэта, и двух младших сестер. К этому времени он уже женился.

В Петербургском университете Николай Федорович закончил два факультета – историко-филологический и юридический. Он выдержал кандидатский экзамен по административному праву, что дало ему возможность поступить на службу в Государственный контроль. Там он получил жалование, достаточное для содержания многочисленного семейства.

Николай Федорович был выше среднего роста, носил, как почти все мужчины тех лет, бороду и зачесанные назад довольно длинные волосы. Его отличал сангвинический красноватый цвет лица. И при такой мало выдающейся внешности его запоминали все, кому так или иначе приходилось с ним общаться. «Какая-то особая привлекательная беззаботность веяла от этого замечательного человека, окружая его как бы светящейся и освещающей атмосферой», – написал о нем В. Г. Короленко. «Это был один из самых жизнерадостных и мудро беззаботных людей, каких я когда-либо знал», – вторил писателю К. И. Чуковский. «Он был кадет, писец канцелярии губернатора (еще в Омске до отъезда семьи в Петербург), студент, чиновник в Госконтроле, чиновник в Министерстве путей сообщения, арестант, ссыльный, земский статистик, писатель, журналист, председатель разных обществ. И всюду его бле-

стящие способности выдвигали его в первые ряды. Всегда он был больше, разностороннее, шире всякого данного дела, всегда обаяние человека покрывало в его лице значение профессионального работника, как бы ни велико было это последнее», – написала о нем жена. И в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» есть упоминание о Н. Ф. Анненском. Вот эта цитата: «...разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне: о знаменитом статистике Анненском, имя которого произносилось с неизменным восхищением». – «Научными трудами его создана целая школа, с именем его связана целая эпоха в истории русской статистики», – говорилось в посвященном Николаю Федоровичу некрологе.

В 1881 году семья Анненских поселилась в Казани. Царские власти разрешили Николаю Федоровичу после ссылки в сибирский городок Тару жить в любом российском городе, за исключением столиц. В Казани Николаю Федоровичу предложили возглавить статистическое обследование губернии. Итогом этой огромной работы была публикация нескольких фолиантов с подробной картиной экономической жизни каждого уезда Казанской губернии. Не удивительно, что после обследования Казанской губернии Николая Федоровича пригласили организовать такое же в губернии Нижегородской. Переезд в Нижний Новгород тем более привлекал его, что там после отбытия якутской ссылки решил поселиться В. Г. Короленко. Семьи Анненских и Короленок связывала близкая дружба. К слову сказать, Владимир Галактионович называл себя «содядюшкой» Тани, горячо любившей и своих приемных родителей, и своего «содядюшку».

В 1895 году состоялся переезд семьи Анненских в Петербург. Николай Федорович принял приглашение Н. К. Михайловского войти в состав редакции журна-

ла «Русское богатство». Редактировать журнал пригласили и В. Г. Короленко. Многие годы Николай Федорович вел в журнале колонку внутреннего обозрения. Совместная работа еще теснее сблизила Анненского и Короленко. Иногда статьи, написанные совместно, они публиковали в «Русском богатстве» за подписью «Оба».

Активное участие в общественной деятельности было одной из самых важных сторон жизни Анненского. Осенью 1905 года Николай Федорович вошел в состав правления Союза Союзов, организации, объединявшей и направлявшей деятельность многочисленных профессиональных союзов – от прачек до чиновников государственных учреждений. Профсоюзы эти возникли в Санкт-Петербурге после событий 9 января 1905 года. Правление Союза Союзов часто заседало на квартире Николая Федоровича. Решения Союза Союзов ежедневно доводились до всей массы членов профсоюзов через их представителей. На решение объявить всеобщую забастовку в Петербурге ответом стало издание Царского Манифеста от 17 октября 1905 года, объявляющее о новой российской конституции, созыве в начале 1906 года первой Государственной Думы, избираемой всеобщим, равным и тайным голосованием, о немедленном введении свободы совести, печати, слова и союзов.

Ликование народа было всеобщим.

Но что последовало за этим народным торжеством?

Все четыре Государственных Думы были царем разогнаны. С разрешения царского правительства повсеместно организовались отделения «Союза русского народа» – «черной сотни». По России прокатилась мощная волна еврейских погромов, начались убийства из-за угла людей, заподозренных в революционном образе мысли. Нарушения конституции происходили постоянно. Можно представить, какое впечатление на Ни-

колая Федоровича производила цепь этих трагических событий. Наверное, тогда и начала развиваться сердечная болезнь, сведшая его, в конце концов, в могилу.

Нельзя не сказать об отношении Н. Ф. Анненского к политике. Политической жизнью он увлекся буквально с момента поступления в университет. Недовольство существующим порядком проявлялось тогда во всех слоях общества. Приведу здесь слова А. Н. Анненской: «Николай не принадлежал к числу революционеров в тесном значении этого слова. Он был одним из представителей той революционно настроенной среды, без существования которой едва ли возможна деятельность настоящих революционеров. Он не принимал ни непосредственного, ни косвенного участия ни в одном террористическом акте, но он не мог отказать себе в уважении к самоотверженным виновникам этих актов, не мог не признавать их героического мужества, их беззаветной преданности делу и употреблял все усилия, чтобы спасти их от трагических последствий сделанного ими». Таким было тогда отношение к терроризму в России, в среде самой просвещенной, гуманной и либеральной.

Довольно оригинальным был отзыв Николая Федоровича на политическую ситуацию в пореформенной России. Вместе с философом В. В. Лесевичем он в 1872 году создал нелегальную, но не имеющую никакого отношения к политике, организацию – «Общество трезвых философов». Молодые люди собирались поочередно друг у друга и читали подготовленные ими статьи для различных журналов или специально написанные рефераты на философские, экономические или политические темы. Этот кружок был очень популярен в среде студенческой молодежи. Интересно, что В. Г. Короленко познакомился с Николаем Федоровичем именно на таком собрании. После неудачного покушения на Александра II, совершенного А. К. Соловьевым 2 ап-

реля 1879 года, волна арестов прокатилась по всей России. Она накрыла и «трезвых философов». При обыске у Николая Федоровича нашли фотографии участников международного конгресса статистиков в Будапеште с надписью «internacionale». На фото был и Николай Федорович. Чиновники Третьего отделения слово «internacionale» восприняли по-своему. Анненский был водворен в дом предварительного заключения, состоялся суд, закончившийся характерным для того времени постановлением: «ожидать поступков». А 28 февраля 1880 года Анненского выслали в Западную Сибирь – в Тару. Ни следствия по делу, ни постановления суда. Все решилось росчерком пера «либерала», министра внутренних дел Лорис-Меликова, посчитавшего, с одобрения царя, что пора уже выслать из двух столиц всех «неблагонадежных».

За участие в мирной манифестации студентов у Казанского собора в 1901 году Николая Федоровича выслали на дачу в поселке Куоккала. На манифестации Николая Федоровича жестоко избили конные городовые. Литературное общество Петербурга выступило в защиту Николая Федоровича с так называемым «Протестом сорока четырех», но это Анненскому не помогло.

И через три года уже пожилого и больного Николая Федоровича Третье отделение не обошло вниманием. В 1904 году по личному приказу министра внутренних дел Плеве его выслали в Ревель (Таллин). На этот раз причина была вовсе смехотворная: «за непроизнесение речи на могиле Н. К. Михайловского». Редактор «Русского богатства» в 1904 году внезапно умер. Николай Федорович был так потрясен смертью близкого ему человека, что слег в постель с сильнейшим сердечным приступом. Естественно, на похоронах редактора «Русского богатства» он не смог быть, шпики, присутствовавшие на погребении, спутали Анненского

с другим сотрудником «Русского Богатства» В. И. Семевским, действительно выступавшим на похоронах. Показания свидетелей не помогли. Только в июле 1904 года, когда Плеве был убит террористом Сазоновым, новый министр внутренних дел П. Святополк-Мирский позволил Анненскому вернуться в Петербург.

Умер Николай Федорович летом 1912 года. Анненские только что вернулись из санатория для сердечных больных в Нейгайме (Германия). Они поселились на даче в Куоккале вместе с Т. А. Богданович и приехавшим из Полтавы повидаться с друзьями В. Г. Короленко. Веселый, оживленный Николай Федорович после вечернего чая, напевая песенку «Солдатушки, бравы ребятушки», ушел в спальню. А утром его нашли мертвым. Он умер во сне.

Наконец, несколько слов о приемной дочери супругов Анненских – Тане Криль, будущей писательнице Татьяне Александровне Богданович.

Тане было три года, когда она появилась в семье Анненских. Ее жизнь под крылом беззаветно любящих родителей была устроена так, как и должна устраиваться жизнь ребенка, не имеющего материальных лишений. Но с самого раннего детства ее воспитывали на идеалах добра, справедливости, гуманного отношения ко всем малым мира сего. После окончания гимназии Таня поступила на историческое отделение Высших женских Бестужевских курсов в Петербурге. Первые ее публикации в печати появились в 1896 году. Татьяна Александровна изучала историю, поэтому большинство ее статей и книг посвящено вопросам истории и политике. Как увлекательная проза читаются ее очерки «Великая французская революция», «Очерки европейских реакций», «Наполеон – герой буржуазии». Особый интерес вызвала ее книга «Любовь людей шестидесятых годов», в которой Татьяна Александровна поведала о любовных отношениях со своими женами

Н. Г. Чернышевского, Н. В. Шелгунова, И. М. Сеченова и П. И. Бокова. В 30-х годах прошлого века по совету С. Я. Маршака Татьяна Александровна написала несколько исторических книжек для детей: «Ученик наборного художества», «Соль Вычегодская», «Горный завод Петра третьего», «Холоп-ополченец». Книжки пользовались популярностью. К сожалению, они не переиздавались уже давно.

В 1898 году Татьяна Александровна вышла замуж за Ангела Ивановича Богдановича. Со своим будущим мужем она была знакома еще со времен нижегородской жизни. Она встречалась с ним в семье Короленок, у которых Богданович некоторое время жил. Именно В. Г. Короленко приобщил Богдановича к журналистике. Позже в Петербурге Богданович редактировал журнал «Мир Божий», сделав его самым читаемым интеллигенцией журналов. Татьяне Александровне поначалу трудно было уговорить такого замкнутого человека, каким был в жизни Ангел Иванович, делиться с ней своими замыслами, посвящать в редакторские дела, обсуждать в семье проблемы журнала, но и это получилось. К несчастью, Ангел Иванович тяжело заболел и после неудачной операции умер в возрасте 47 лет. Татьяна Александровна сумела вырастить и воспитать четверых детей, пережить все тяготы и лишения революции, гражданской войны, труднейшие годы начала Советской власти. Умерла Татьяна Александровна от клещевого энцефалита, находясь вместе с двумя своими дочерьми и их семьями в эвакуации под Свердловском после начала Второй мировой войны. Старшая дочь погибла в тюрьме в 1938 году в Харькове. Сын убит на войне в 1941 году. А две дочери дожили до глубокой старости. София Аньоловна Богданович стала детской писательницей. Ее перу принадлежат талантливые воспоминания о В. Г. Короленко, где она описала и свое детство. Еще ею написаны воспоминания о К. И. Чу-

ковском и В. В. Маяковском, а также воспоминания о поэте Николае Заболоцком. Татьяна Аньоловна Пащенко, младшая дочь Т. А. Богданович, жила в Москве. Она тоже оставила воспоминания о своем детстве.

Санкт-Петербург,
октябрь–ноябрь 2006

Г. М. Прашкевич

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ

Один из самых замечательных поэтов «Серебряного века». Родился 20 августа (1.IX) 1856 года в Омске. Отец – советник, затем начальник отделения Главного управления Западной Сибири. Мать – предположительно отдаленная родственница Ганнибала, а значит, Пушкина. В 1875 году поступил в Петербургский университет – на историко-филологическое отделение. Французским и немецким Анненский владел с детских лет, в университете добавил к этим языкам латинский, греческий, английский, итальянский, польский, санскрит, древнееврейский. «Так как в те годы еще не знали слова *символист*, – вспоминал он позже, – то был я *мистиком* в поэзии и бредил религиозным жанром Мурильо. Черт знает что! В университете – как отрезало со стихами. Я влюбился в филологию и ничего не писал, кроме диссертаций».

В 1879 году окончил университет со званием кандидата историко-филологического факультета. Преподавал латынь и греческий язык в частной гимназии Ф. Ф. Бычкова. Студентом третьего курса страстно влюбился в Надежду Валентиновну Хмара-Барщевскую. Несмотря на ответное чувство, осторожная тридцатишестилетняя вдова, мать двоих сыновей, не спеши-

ла становиться женой студента, который был на целых четырнадцать лет моложе ее. Они поженились только после того как Анненский закончил университет. Чтобы содержать семью (появился сын), Анненский, кроме уроков в гимназии, начал преподавать в Павловском институте, читал лекции на Высших женских (Бестужевских) курсах. В 1891 году его перевели в Киев на пост директора «Коллегии Павла Галагана» – частного учебного заведения, учрежденного супругами Галаганами в память об их рано умершем сыне. Там, в Киеве, Анненский начал переводить трагедии любимого им Еврипида, давая к каждой подробный комментарий, и за несколько лет перевел все семнадцать дошедших до нас трагедий.

По возвращении в Петербург был назначен директором 8-й мужской гимназии, находившейся на 9-й линии Васильевского острова, но вскоре его перевели в Царское Село – директором Николаевской мужской гимназии.

«Время от времени, – вспоминал искусствовед Н. Н. Пунин, – мы видели директора в гимназических коридорах; он появлялся там редко и всегда необыкновенно торжественно. Открывалась большая белая дверь в конце коридора первого этажа, где помещались старшие классы, и оттуда сперва выходил лакей Арефа, распахивая дверь, а за ним Анненский; он шел очень прямой и как бы скованный какой-то странной неподвижностью своего тела, в вицмундире, с черным пластроном вместо галстуха; его подбородок уходил в высокий, крепко-накрепко накрахмаленный, с отогнутыми углами воротничок; по обеим сторонам лба спадали слегка седеющие пряди волос, и они качались на ходу; широкие брюки болтались вокруг мягких, почти бесшумно ступавших штиблет; его холодные и вместе с тем добрые глаза словно не замечали расступавшихся перед ним гимназистов, и, слегка кивая головой на их по-

клоны, он торжественно проходил по коридору, как бы стягивая за собой пространство».

В 1901 году Анненский выпустил в свет трагедию «Меланиппа-философ», в 1902 – «Царь Иксион», а в 1906 году – «Лаодамию». А за два года до выхода «Лаодамии» появилась (под псевдонимом «Ник. Т-о») книжка стихов «Тихие песни». Правда, кроме Валерия Брюсова и Александра Блока, практически никто поэта, укрывшегося под странным псевдонимом, не заметил. Это позволило Анненскому в письме к А. В. Бородиной скромно заметить: «Нисколько не смущаюсь тем, что работаю исключительно для будущего».

В 1906 году Анненского назначили инспектором Петербургского учебного округа.

В этот период тесная дружба связывала его с женой старшего пасынка – Ольгой Петровной Хмара-Барщевской, которой, между прочим, посвящены вот эти стихи: «*Меж теней погасли солнца пятна На песке в загрезившем саду. Все в тебе так сладко-непонятно, Но твое запомнил я: „Приду"… Черный дым, но ты воздушней дыма, Ты нежней пушинок у листа, Я не знаю, кем, но ты любима, Я не знаю, чья ты, но мечта… За тобой в пустынные покои Не сойдут алмазные огни, Для тебя душистые левкои Здесь ковром раскинулись одни… Эту ночь я помню в давней грезе, Но не я томился и желал: Сквозь фонарь, забытый на березе, Теплый воск и плакал и пылал…*»

Через восемь лет после смерти поэта Ольга Петровна написала близкому ей человеку: «Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Федоровича? Господи! Конечно, любила, люблю. И любовь моя „plus fort la mort". Была ли я его „женой"? Увы, нет! Видите, я искренне говорю „увы", потому что не горжусь этим ни мгновения: той связи, которой покровительствует „Змея-Ангел", между нами не было. И не потому, что я греха боялась, или не решалась, или не хотела, или ба-

юкала себя лживыми уверениями, что „можно любить двумя половинами сердца“, – нет, тысячу раз нет! Поймите, родной, он того не хотел, хотя, может быть, настояще любил только одну меня... Но он не мог переступить... Его убивала мысль: „Что же я? Прежде отнял мать (у пасынка), а потом возьму жену? Куда же я от своей совести спрячусь?..“»

В 1906 году в товариществе «Просвещение» вышел том трагедий Еврипида, переведенных Анненским. Отдельной книгой были напечатаны статьи о русских писателях XIX века «Книга отражений». Вполне разделяя взгляды символистов, Анненский утверждал: «В *поэзии* есть только *относительности*, только *приближения*, потому никакой, кроме символической, она не была, да и быть не может».

Тогда же Анненский закончил «Вакхическую драму» «Фамира-кифарэд».

«Лет шесть назад, – писал он Бородиной, – я задумал трагедию. Не помню, говорил ли я Вам ее заглавие. Мысль забывалась мною, затиралась другими планами, поэмами, статьями, событиями, потом опять вспыхивала. В марте я бесповоротно решил или написать своего „Фамиру“ к августу, или уже отказаться навсегда от этой задачи, которая казалась мне то непосильной, то просто нестоящей. Меня что-то давно влекло к этой теме. Между тем в этом году, весной, мой старый ученик написал на этот миф прелестную сказку под названием „Фамирид“. Он мне ее посвятил. Еще года полтора тому назад Кондратьев говорил мне об этом намерении, причем я сказал ему, что и у меня в голове набросан план „Фамиры“, – но совсем в ином роде – трагическом. И вот теперь уже состоялось чтение».

Сборник стихов «Кипарисовый ларец» вышел уже после смерти поэта.

Книга эта произвела чрезвычайно сильное впечатление на современников.

«То было на Валлен-Коски. Шел дождик из дымных туч, И желтые мокрые доски сбегали с печальных круч... Мы с ночи холодной зевали, И слезы просились из глаз; В утеху нам куклу бросали В то утро в четвертый раз... Разбухшая кукла ныряла Послушно в седой водопад, И долго кружилась сначала, Все будто рвалась назад... Но даром лизала пена Суставы прижатых рук, – Спасенье ее неизменно Для новых и новых мук... Гляди, уж поток бурливый Желтеет, покорен и вял; Чухонец-то был справедливый, За дело полтину взял... И вот уж кукла на камне, И дальше идет река. Комедия эта была мне В то серое утро тяжка... Бывает такое небо, Такая игра лучей, Что сердцу обида куклы Обиды своей жалчей... Как листья тогда мы чутки: Нам камень седой, ожив, Стал другом, а голос друга, Как детская скрипка, фальшив... И в сердце сознанье глубоко, Что с ним родился только страх, Что в мире оно одиноко, Как старая кукла в волнах...»

В 1909 году вышла «Вторая книга отражений». В марте того же года в Царское Село к Иннокентию Федоровичу Анненскому приехали художественный критик С. К. Маковский и поэт Максимилиан Волошин. Они уговорили поэта сотрудничать в новом ежемесячном литературно-художественном журнале «Аполлон».

«Высокий, сухой, – вспоминал Анненского Маковский, – он держался необыкновенно прямо (точно „аршин проглотил“). Прямизна зависела отчасти от недостатка шейных позвонков, не позволявшего ему свободно вращать головой. Будто привязанная к шее, голова не сгибалась, и это сказывалось в движениях и в манере ходить прямо и твердо, садиться навытяжку, поджав ноги, и оборачиваться к собеседнику всем корпусом, что на людей, мало его знавших, производило впечатление какой-то начальнической позы. Черты лица и весь бытовой облик подчеркивали этот недо-

статок гибкости. Он постоянно носил сюртук, черный шелковый галстук был завязан по старомодному широким, двойным, „дипломатическим“ бантом. Очень высокие воротнички подпирали подбородок с намеком на колючую бороду, и усы были подстриженные, жесткие, прямо торчавшие над припухлым, капризным ртом. С некоторой надменностью заострялся прямой, хотя и по-русски неправильный нос, глубоко сидевшие глаза стального цвета смотрели пристально, не меняя направления, на прекрасно очерченный прямой лоб свисала густая прядь темных волос с проседью. Вид бодрый, подтянутый. Но неестественный румянец и одутловатость щек (признак сердечной болезни) придавали лицу оттенок старческой усталости – минутами, несмотря на моложавость и даже молодцеватость фигуры, он казался гораздо дряхлее своих пятидесяти пяти лет...»

«Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя... Не потому, что я Ее любил, А потому что я томлюсь с другими... И если мне сомненье тяжело, Я у Нее одной ищу ответа, Не потому, что от Нее светло, А потому что с Ней не надо света».

Эти стихи повторяют и помнят уже почти сто лет.

Однако при жизни поэта все было совсем не так просто.

Летом 1909 года Анненский написал статью «О современном лиризме» – обширный критический обзор русской поэзии последних лет. В первом номере «Аполлона» вместе с обзором появились и оригинальные стихи Анненского. Но из второго номера С. К. Маковский снял подготовленные поэтом материалы, поскольку напечатанная статья Анненского вызвала у читателей неоднозначную реакцию. «Моя статья „О современном лиризме“, – пытался объясниться Анненский, – порождает среди читателей „Аполлона“, а также и его сотрудников немало недоумений: так, одни и те же фразы, по

мнению иных, содержат глумление, а для других являются неумеренным дифирамбом. Если бы дело касалось только меня, то я воздержался бы от объяснений, но так как еще больше, чем меня, упрекают редакцию „Аполлона“, то я и считаю необходимым просить Вас о напечатании в „Аполлоне“ следующих строк... Я поставил себе задачей рассмотреть нашу современную лирику лишь *эстетически*, как один из планов в перспективе, не считаясь с тем *живым, требовательным* настоящим, которого она является частью. Самое *близкое*, самое *дразнящее* я намеренно изображал *прошлым* или, точнее, *безразлично преходящим*; традиции, credo, иерархия, самолюбия, завоеванная и оберегаемая позиция, – все это *настоящее* или не входило в мою задачу, или входило лишь отчасти. И я не скрывал от себя неудобств положения, которое собирался занять, трактуя литературных деятелей столь независимо от условий переживаемого нами времени. Но все равно, мне кажется, что современный лиризм достоин, чтобы его рассматривали не только *исторически*, т. е. в целях оправдания, но и *эстетически*, т. е. по отношению к будущему, в связи с той перспективой, которая за ним открывается. Это я делал – и только это».

Глубже других увидел Анненского Максимилиан Волошин.

«Его торжественность, – писал он, – скрывала детское легкомыслие; за гибкой подвижностью его идей таилась окоченелость души, которая не решалась переступить известные грани познания и страшилась известных понятий; за его литературной скромностью пряталось громадное самолюбие; его скептицизмом прикрывалась открытая доверчивость и тайная склонность к мистике, свойственная умам, мыслящим образами и ассоциациями; то, что он называл своим „цинизмом“, было одной из форм нежности его души; его убежденный модернизм застыл и остановился на определенной точке

начала девяностых годов... Он был филолог, потому что любил произрастания человеческого слова: нового настолько же, как старого. Он наслаждался построением фразы современного поэта, как старым вином классиков; он взвешивал ее, пробовал на вкус, прислушивался к перезвону звуков и к интонациям ударений, точно это был тысячелетний текст, тайну которого надо было разгадать. Он любил идею, потому что она говорит о человеке, но в механизме фазы таились для него еще более внятные откровения об ее авторе. Ничто не могло укрыться в этой области от его изощренного уха, от его явно видящей наблюдательности. И в то же время он совсем не умел видеть людей и никогда не понял ни одного автора как человека. В каждом произведении, в каждом созвучии он понимал только себя».

«Последний день его сложился очень утомительно, – вспоминал сын поэта. – Утром и днем – лекции на Высших женских курсах Раева, Учебный округ, заседание Учебного комитета; вечером – заседание в Обществе классической филологии, где был назначен его доклад о „Таврической жрице у Еврипида, Руччелаи и Гете», и, наконец, отец обещал своим слушательницам-курсисткам побывать перед отъездом в б. Царское, на их вечеринке. В промежутке он должен был обедать у одной дамы, близкого друга нашей семьи, жившей неподалеку от вокзала. Уже там, у О. А. Васильевой, он почувствовал себя нехорошо, и настолько нехорошо, что даже просил разрешения прилечь. От доктора, однако ж, отец категорически отказался, принял каких-то домашних безразличных капель и, полежав немного, уехал, сказав, что чувствует себя благополучно. А через несколько минут упал мертвым на подъезде вокзала в запахнутой шубе и с зажатым в руке красным портфельчиком с рукописью доклада о Таврической жрице».

Это случилось 30 ноября (13.XII) 1909 года.



ПОВЕСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

ВОСПОМИНАНИЯ
1880–1909

Мне хочется в нескольких словах объяснить, почему я надумала писать свои воспоминания, хотя в моей жизни не было ничего исключительно интересного.

Правда, мои литературные и нелитературные друзья давно убеждали меня писать свои мемуары, даже вменяли мне это в обязанность, ведь благосклонная судьба сталкивала меня в течение моей долгой жизни со многими крупными и интересными людьми. Но для того, чтобы воссоздать их образы, по крайней мере, не умалить их, надо иметь талант, которого я в себе не ощущаю.

Дело решило не это.

Каждому человеку хочется еще некоторое время продолжать жить после смерти. Некоторые избранные продолжают жить в своих делах или произведениях, картинах, статуях, книгах. Я, конечно, не так глупа и не так наивна, чтобы воображать, будто несколько моих книжонок для юношества, с каким бы увлечением и любовью я их ни написала, могут пережить меня.

Остается родовая преемственность.

У меня есть внук и четыре внучки. Внука я, к сожалению, совсем не знаю. С внучками я живу с самого их рождения, и одна из них, по общему мнению, похожа на меня. Но мои внучки так еще малы – старшей шесть лет – что через месяц или два после моей смерти они совершенно забудут меня. Вот мне и захотелось напом-

нить им о себе, когда они достигнут юношеского возраста. Мне, по крайней мере, было бы очень приятно, если б я могла познакомиться с жизнью моей бабушки, а особенно прабабушки, о которой я слышала кое-что очень интересное. Но они обе промелькнули и исчезли, как тени.

Думаю только, что мои внучки, прочитав мои воспоминания, останутся сильно разочарованными.

– Ну и сухарь же была наша бабушка. Как это ни странно, она, видимо, когда-то тоже была молода. И что же? Какие-то кружки, курсы, журналы и ни слова о том, что для всякой нормальной женщины составляет главный интерес жизни. Неужели же она не влюблялась, у нее не было романов? Ведь еще совсем молодой она стала вдовой. А до замужества?

И, конечно, внучки мои будут правы в своем возмущении.

Но тут уж ничего не поделаешь. Писать об интимной жизни мне трудно, если не невозможно. Им придется довольствоваться тем, что краем уха слышали их матери или остаться при убеждении, что их бабушка, с которой они прожили младенческие годы, скучный сухарь.

Оставляю их при этом убеждении и прощаюсь ними теперь уже навеки.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. СИБИРЬ

«Милый папа, я здорова и нас еще не выслали». Так писала я крупными буквами своему отцу, жившему в Перми, из Петербурга.

Обыски, аресты, высылки, это была обычная атмосфера, окружавшая петербургскую интеллигенцию в конце 70-х и начале 80-х годов.

Во время обыска у моего дяди, Николая Федоровича Анненского (я воспитывалась у него после смер-

ти матери) я удивила жандарма, спокойно усевшись с книжкой за свой столик, когда меня ночью подняли.

– Что за странный ребенок! – сказал дяде производивший обыск жандармский офицер.

– Вы так приучили наших детей к своим визитам, – сказал дядя, – что они больше не удивляются и не пугаются даже ночью.

Утром моя тетя, детская писательница, Александра Никитична Анненская, сказала мне:

– Ты не рассказывай, Таня, Леле, что у нас было ночью. Он не поймет.

– Как же так, теточка? – изумилась я – Ведь у него образованные родители. Неужели у них никогда не было обыска?

Первые слова, которые я разобрала самостоятельно, научившись читать, было заглавие тогдашней газеты: «Голос, газета литературная и политическая».

– Политическая! – с недоумением повторила я. – Разве позволяют так прямо писать?

Я считала, что «политическая» – это что-то запретное. Политические бывают ссыльные, но про них открыто говорить и писать не позволяется.

После этого обыска моего дядю арестовали, и я, вставши утром, увидела на двери его комнаты печать. Конца обыска я не дождалась, заснула раньше и решила, что дядя запечатан в своей комнате. Прежде, чем тетя встала, я составила целый план, как мы с ней будем кормить дядю, нарезая тоненькими ломтиками булку, мясо, ветчину и просовывая их на бумажке в щель под дверью.

Тетя объяснила мне, что это не понадобится – дядю увезли. А вслед за тем его отправили в Вышний Волочок, в пересыльную тюрьму.

В то время были две такие пересыльные тюрьмы – в Вышнем Волочке для арестованных в северных городах и в Харькове для южан.

Там комплектовались этапы по разным сибирским путям, северному и южному.

Дядю арестовали в середине зимы 1879–1880 года и ему пришлось просидеть в Вышнем Волочке несколько месяцев, так как этапы отправлялись по возможности водными путями, на баржах.

Вскоре тетя, забрав меня, – своих детей у нее не было – тоже поехала в Вышний Волочок. Назначенным к ссылке в Сибирь давали еще в тот период революционного движения свидания с родными.

В Вышневолоцкой тюрьме дядя познакомился, между прочим, с Владимиром Галактионовичем Короленко. Знакомство это, по возвращении их обоих из Сибири, перешло в тесную дружескую связь, продолжавшуюся в течение всей их жизни.

Для свиданий с В. Г. Короленко в Вышний Волочок приехали его мать и сестра, и моя тетя скоро тоже дружески сблизилась с ними. Они вместе ходили на свидания, забирая с собой и меня. Эвелина Осиповна Короленко, полька по рождению, была прекрасная хозяйка. Она испекала к дням свиданий множество вкусных вещей. Но в тюрьме было правило, что посетителям не разрешается ничего передавать заключенным. То были еще идиллические времена – до 1 марта, а смотритель тюрьмы, Ипполит Лаптев, был хоть и страшный формалист, но, по существу, довольно добродушный человек, и запрещение удавалось обойти.

На свидание мать Короленко приносила целую корзину разных съедобных вещей, а на возражения надзирателя, говорила, что это для меня. Не может же девочка сидеть не евши.

Свидания были общие и происходили в большой комнате, перегороженной двумя невысокими параллельными загородками. За одной толпились посетители, а за другую приводили заключенных. Посередине сидел на стуле смотритель и ходил взад и вперед сто-

рож, следивший, чтоб не было преступных передач. Меня тоже пересаживали внутрь, и я свободно бегала от одной загородки к другой.

Вскоре тетя находила, что я проголодалась, и Эвелина Осиповна Короленко передавала мне кучу пирожков, а тетя спрашивала смотрителя, неужели девочка не может угостить своего дядю и других дядей? Разрешение обычно давалось, и пирожки быстро перекочевывали из-за одной перегородки за другую.

Бывали иногда и более «преступные» передачи. Заключенным запрещалась иметь карандаши и перья, а Короленко никак не мог помириться с их отсутствием.

И вот на меня было возложено поручение доставить ему эту контрабанду. Обычно, когда я перебегала ко второй загородке, Короленко поднимал меня и сажал перед собой на загородку. У него и тогда уже была густая борода, и я должна была незаметно засунуть карандаш в его бороду. Но, видимо, моя контрабандная тренировка оказалась недостаточной, и я так усердно сунула карандаш, что он проскочил через бороду и предательски стукнулся о каменный пол. По счастью смотритель в это время отвернулся в другую сторону. Короленко быстро спустил меня на пол, я подняла карандаш и, очень смущенная, на этот раз более осторожно всунула его в бороду.

Короленко скоро выслали в Пермь, а после 1 марта 1881 года, за отказ от присяги Александру III сослали в Восточную Сибирь, за Лену в слободу Амгу. Дядю отправили в сибирскую пересыльную тюрьму в Тюмени и оттуда назначили в маленький городок на Иртыше, Тару.

Всю свою предыдущую жизнь дядя с тетей прожили безвыездно, – если не считать поездок на дачи, – в Петербурге и очутиться внезапно в крошечном городке, где на поросших травой улицах пасутся коровы, свиньи и овцы, было для них большим переворотом.

Я была, конечно, в полном восторге. Вместо чинных прогулок с тетей по каменным тротуарам, я могла целые дни бегать по зеленым улицам, сводить знакомство с ребятишками, ходить с тетей на базар, бегать сама в лавочку, – все было и ново, и чрезвычайно интересно для шестилетнего ребенка.

Для тети с дядей это значило оторваться от всего, чем они до сих пор жили: от привычной работы, от близких, от участия в революционной деятельности, с которой они так много связывали. Но они оба не падали духом и не боялись, что их засосет провинциальная тина. Они с любопытством присматривались к жизни в глухой провинции, уверенные, что сохранят живую душу. Они решили смотреть на свою жизнь в Таре, как на временный отпуск от основной работы, и спокойно наладить жизнь в непривычных условиях.

Все было так необычно. После тесных петербургских квартирок на 5-м этаже, им пришлось за 5 рублей в месяц нанять отдельный домик с огородом, погребом и сараем – провизию ведь надо было закупать на неделю, а дрова заготовлять на год.

Дядя был очень общительным человеком и жить без людей не мог, да и люди везде тянулись к нему. От него всегда исходили свет и оживление. Маленькая ссыльная колония, всего из пяти человек, сразу сблизившаяся с ним, не могла удовлетворить его. Это были очень милые люди – «наши юноши», как скоро начала называть их и я вслед за дядей, – но они варились исключительно в собственном соку, перебирая недавние воспоминания и занимаясь теоретическими спорами, для которых за отсутствием книг не было никакой пищи.

Дяде этого было мало. Ему любопытно было узнать, чем же живут люди, обреченные проводить здесь всю свою жизнь.

Совершенно неожиданно дядя встретил в Таре двух своих товарищей по Омскому кадетскому корпусу, где

он воспитывался. Судьба далеко развела их сразу по окончании учения. Никто из них не чувствовал призвания к военной карьере. Но один, сняв мундир, стал мирным податным инспектором, а дядя поступил в университет, окончил два факультета и был подхвачен революционной волной. Судьба третьего была довольно оригинальна. В корпусе, под влиянием фанатичного учителя закона Божья, его всего захватила религия. Он мечтал стать миссионером. Выйдя из корпуса, он сразу пошел в священники. Но из его романтической мечты ничего не вышло. Духовное начальство отнеслось к его планам крайне подозрительно и, чтобы охладить пыл, послало его не миссионером к дикарям, а кладбищенским священником в захолустную Тару, где не могла не заглохнуть всякая романтика. Сначала он был в отчаянии, но, в конце концов, примирился с неизбежностью. Вместе с мечтами о миссионерской деятельности в нем заглохло и навеянное извне религиозное настроение. Остался добродушный, немного легкомысленный и крайне наивный человек, смотревший на свой сан, как на скучную, но обязательную службу. Ограничения, налагаемые этим саном, его очень огорчали, и он стремился всячески обходить их. Появление в Таре дяди было для него настоящим праздником, – новый человек из незнакомого мира, и в то же время бывший товарищ, с которым можно не стесняться, не играть роли почтенного духовного лица. Он стал нашим постоянным гостем. Дядя, из которого ключом било веселье, непосредственность и остроумие, просто очаровал его. Отец Александр признался ему в своей страстишке – он был без ума от карт, именно от невинного «винта», а ходить в клуб, где шла игра, он не мог. Дядя, до тех пор никогда не игравший, согласился составить ему компанию. Играть в доме священника было неудобно, пригласили третьего корпусного товарища, податного инспектора Покотилова, засадили тетю, которая терпеть

не могла карт, но не могла отказать, чтоб не огорчать отца Александра, и составили необходимую «партию».

«Наши юноши» были возмущены таким непринципиальным препровождением времени, но дядя всегда держался независимо и считал, что вечное переливание из пустого в порожнее ненамного производительнее. А в себе он был уверен. Он знал, что карты никогда не засосут его.

И вот начались частые посещения гостей. Сначала они приходили к вечеру. Тетя говорила накануне кухарке:

– Катерина, напеките завтра побольше «прикусок» – вечером будут гости.

– Что ты, барыня, – отвечала та. – Неужто у тебя не найдется гривенника купить в лавочке сухарей? Чай осудят! Прикуски-то у всех есть.

Таковы были представления о «приличиях» в Сибири. Черствые лавочные сухари были «приличны», а вкусные домашние печения неприличны. А эти «прикуски» были, действительно, чрезвычайно вкусны.

Встав раньше тети, я бежала вниз, в кухню, любовалась развешанными на веревочке бубликами, трубочками, проткнутыми посередине лепешками. Катерина совала мне горячую пышку или ватрушку.

Иногда отец Александр заявлял извиняющимся тоном:

– Завтра большой праздник, придется всенощную служить, так уж, знаете ли, соберемся пораньше.

Дядя соглашался, тетя заказывала вечные сибирские пельмени, и с 12 часов привычная компания усаживалась за зеленый стол, прерывая серьезные занятия, чтобы закусить вкусными пельменями.

Отцу Александру очень у нас нравилось. Нигде он не чувствовал себя так свободно, особенно, когда не было и податного инспектора, задержанного службой. Одно его смущало – он боялся кошек, а у нас жили два

прелестных игривых котенка. Раз котята, гоняясь друг за другом, заскочили в широкий рукав рясы о. Александра.

Что тут было! О. Александр страшно закричал, вскочил, выронил карты и хотел сейчас же бежать домой. Дяде едва удалось успокоить его, а тетя унесла котят в кухню и заперла там, предупредив кухарку не выпускать их.

Дело было днем, и я была в полном восторге от этого скандала, хотя очень любила доброго о. Александра.

Наступал вечер, приходил кладбищенский сторож и спрашивал:

– Батюшка, прикажите звонить к всенощной, время уж.

О. Александр смущенно оглядывался.

– Знаете, Петра....Ну, кто к нам вечером на кладбище пойдет? Две старушонки разве. Так они и в приходской помолятся. Позвонишь ужо к утрени.

Винт продолжался, хотя бедная тетя, уложив меня, с трудом подавляла зевоту.

Ночью опять являлся Петра с прежним вопросом.

Но о. Александр, весь горевший игорным увлечением, только отмахивался.

– Ну что ты, Петра! Ночью неужто кто к нам пойдет! Пойди лучше на кухню, погрейся. Ударишь ужо к ранней.

Пропустить обедню было неудобно, могли выйти неприятности, и, волей неволей, приходилось прекращать, к большой радости тети.

Отец Александр нехотя уходил, а дядя схватывал тетю и кружил ее по комнате, чтобы размять ноги и разогнать ее дурное настроение и громко пел из жизни за царя:

Не розан цветочек расцвел в огороде,
Цветет красотой Александра (вместо Антонина) в народе.

Маленькая кругленькая тетя никогда не «цвела» особой красотой, но против дядиного веселья никогда не могла устоять. И все кончалось смехом. Смеялась тетя почти беззвучно, но легко и заразительно, «кипела», как мы говорили.

– Ведь ты все равно рано не ложишься, – прибавлял дядя в утешение.

Перед рождеством о. Александр признался дяде еще в одной слабости. Ему страстно хотелось посмотреть на маскарад. В Таре был клуб, где в обычное время шла карточная игра, а на праздниках устраивался маскарад, которого со страстным нетерпением ждали все местные барышни и молодые дамы.

Но духовному лицу вход в клуб, даже на хоры, был строжайше запрещен традициями.

Дядя, всегда готовый пошутить и повеселиться, нашел выход.

– А мы замаскируемся. Никто не узнает.

Матушка попадья сначала ужаснулась, но не устояла против каскада дядиных шуток и обещаний доставить к ней батюшку в целости и сохранности и навеки сохранить опасную тайну.

Она даже согласилась сшить из оконных занавесок длинное домино, укрывавшее предательский подрясник о. Александра.

Дядя достал за соответствующую мзду шинель у местного полицейского чина, нарядился в нее, и они отправились в «жуткий притон соблазна», где чинно прохаживались доморощенные маркизы, цветочницы с парой бумажных роз, «ночи» в длинных черных шалях с бумажным месяцем на голове, взвизгивая от тяжеловесных комплиментов местных петушковых.

Дядин костюм произвел сенсацию и даже напугал, так что двум великовозрастным школьникам – дяде и священнику – пришлось поспешно ретироваться, чтоб не быть изобличенными.

Впрочем, о. Александр ушел без особого огорчения. Запретный плод оказался далеко не так сладок, как ему казалось издали.

Под конец вечный винт с попом и податным инспектором начал надоедать не только тете, но и дяде. Безделье тяготило обоих. Даже я заскучала. Морозы стояли такие, что бегать по улице было нельзя, а дома я лишилась своих веселых товарищей котят. Наиболее игривый котенок, носясь по квартире, прыгнул на большую банку с вареньем, прорвал бумагу и чуть не утонул в варенье, утратив после того всю свою веселость. А к кошечке, которую тетя, чтобы утешить, постоянно ласкала и, прохаживаясь по комнате, неизменно носила под платком, я до такой степени страстно приревновала тетю, так рыдала, уверяя, что тетя любит ее больше, чем меня, что, в конце концов, тетя решила ее отдать.

Словом, чувствовалось, что все мы уже извлекли из жизни в Таре все, что она могла нам дать, и начинали тяготиться ею.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. 1 МАРТА 1881 ГОДА

В Петербурге у дяди осталось много друзей, и они энергично хлопотали о нем, стараясь вызволить из сибирского плена. Особых трудностей это не составляло. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Он просто попал в общую чистку столицы, предпринимаемую знаменитым в то время либеральным министром Александра II – Лорис-Меликовым. Царь был сильно напуган следовавшими одно за другим покушениями террористов на его жизнь. Полиция оказалась бессильна. Ни массовые аресты, ни суды, ни казни не помогли. Наоборот, только усиливали террор. Партия «Народная Воля» и ее Исполнительный комитет казались непобедимыми. И вот явился Лорис-Меликов с «безумно

смелым» предложением прекратить, наконец, давление на правительство и дать России конституцию. Проект весьма куцей конституции, почти не умалявшей власти царя, был им тут же предложен. Царь заинтересовался. Это было что-то новое, а главное, это давало надежду вывести его из состояния затравленного волка, не дававшего ему ни одной спокойной минуты. Лорис-Меликов стал министром Внутренних дел с чрезвычайными полномочиями и передал проект конституции на обсуждение компетентных учреждений.

Началась эра «сердечного доверия». Ну, как тут не вспомнить мудрое изречение Тьера – «сначала успокоение, а потом реформы». «Ни судов, ни казней» – предложил Лорис-Меликов. Просто предварительное очищение столицы. Террор главным образом был страшен в столице, где жил царь. Когда станут известны предстоящие блага конституции, там, в провинции, террор затихнет сам собой. Но сейчас этот замысел держался в строжайшей тайне.

И началось. Закинув частый невод, вытащили кучу рыб всяких величин и пород. Ничего худого либеральный министр им делать не собирался – только на время «изъять из обращения». В «массовый улов» попал и мой дядя. В терроризме его не обвиняли, и вообще не обвиняли ни в чем. Он был из числа беспокойных людей, и его следовало «пока» выдворить из Петербурга, а куда, не так уж и важно. Поэтому и хлопоты о его возвращении из Сибири очень скоро увенчались успехом. Ему предоставили право выбрать любой провинциальный город. Дядя выбрал Казань, там жила его сестра с семьей. Разрешение переехать в Казань было получено в конце декабря 1880 года, так что в Таре мы прожили всего 8 месяцев.

Начались сборы в дальнюю дорогу. В те времена это было не так просто. Железной дороги еще не было, и зимой приходилось ехать на санях.

Дядя купил большие широкие сани, называвшиеся кошевой. Ехать в возке он не мог, – от езды в закрытом экипаже у него начиналась «морская болезнь». На дно саней уложили наши чемоданы с вещами и книгами, сверху постелили матрац и перину, а на них разложили подушки. Тетя, по совету сибиряков, заготовила провизию на весь месячный путь. Первым делом слепили и заморозили многие сотни, а может быть и тысячи пельменей, ведь их должно было хватить на целый месяц на трех человек. Затем сварили поросенка, зажарили несколько кур и, конечно, испекли множество пирожков и «прикусок». Все это «богатство» в замороженном виде уложили в изрядный сундук, который прикрепили к передку саней.

Для нас сшили интересные одеяния. Я очень гордилась чудесным ватным платьицем.

Когда я надела его в первый раз, дядя всплеснул руками и запел:

Ты надень наряд воскресный,
Выходи, душа моя!
Ты с косичкой!
Царь небесный!
Так похожа на дьяка!
Вместо:
Ты готова!
Царь небесный!
Как ты дивно хороша!

У меня была тогда маленькая косичка. К дядиным шуткам я давно привыкла и никогда не обижалась на них – так они были веселы и добродушны.

Поверх ватных одеяний и шуб на всех надели бараньи тулупы, на ноги – пимы, а под ними, тоже по сибирскому обычаю, поверх шерстяных чулок ноги обернули мятой бумагой.

Так приготовленные, мы уселись или, лучше сказать, улеглись в кошеву, укрылись всеми своими одея-

лами и тронулись в путь, провожаемые добрыми пожеланиями всех своих новых знакомых. Была вторая половина февраля 1881 года.

Четверка сытых сибирских лошадей несла быстро, и езда по широкому сибирскому тракту, несмотря на сорокоградусные морозы, доставляла удовольствие.

Чуть не на всех станциях – перегоны там большие, верст по 40, – мы вылезали из кошевы, выгружали провизию, хозяйка ставила самовар и котелок воды, варились пельмени, мы закусывали, пили чай, без которого дядя не мог обойтись и, основательно прогревшись, снова укладывались в свою кошеву. На ночь, по настоянию тети, мы всегда останавливались, – она боялась сибирской дороги ночью. Опять выгружали все, расстилали на полу наши матрацы и перины и с наслаждением спали в чистой, теплой сибирской избе.

Так прошли две недели, наступили первые числа марта. И вот, числа около 10-го, в одном селе, пока мы ужинали, в избу набрался народ поглядеть на проезжающих. Разговор шел между мужиками о местных делах. Злобой дня было убийство местного богатея по прозвищу «Король».

– Ишь, – сказал один мужик, – как нашего «Короля» прикончили, так и царя убили.

– Какого царя? – с волнением вмешался дядя.

– Как – какого? – удивился кто-то. – Чай российского! Ай, не слыхали, чи чо? В церкви даве объявляли.

Дружным хохотом встретили мужики невежество проезжающих. Убийство «российского» царя волновало этих кряжистых сибиряков гораздо меньше, чем убийство их «собственного короля».

Но дядя с тетей очень обеспокоились. О таком чрезвычайном событии им пришлось узнать в глухом сибирском селе, докуда даже эта исключительная весть могла дойти дней за десять, а подробности, последствия, – когда их теперь узнаешь? До большого бли-

жайшего города, до Перми, нечего было и думать разузнать хоть что-то, да и небезопасно было проявлять слишком большое любопытство.

Теперь уже поездка в кошеве и продолжительные остановки не доставляли им радости. Напряженный интерес к событиям в центре заставлял их, как только возможно, торопиться. Что там разыгралось? Может быть, произошла революция, как следствие убийства царя? Ее пророчили некоторые наиболее романтически настроенные народовольцы? Или наоборот, все их мечты потерпели крушение, и настала еще более жестокая реакция? Впрочем, в революцию в данных обстоятельствах ни дядя, ни тетя не верили. А все-таки... Так хотелось дождаться чего-нибудь лучшего. Волнение, тревога не только из-за общих событий, но и за близких людей, которые могли пострадать при обострении реакции, мучили их, не давали ни минуты покоя, заставляли торопить ямщиков. А дорога, как назло, становилась все хуже и хуже. Стояла половина марта, начиналось таяние снегов. Где-то глубоко журчали невидимые ручьи, хотя сверху еще лежал нетронутый снег. Но иногда по неведомым причинам подснежные ручьи выбивались ближе к поверхности, и образовывалась так называемая «зажора». Раз мы полночи просидели в такой зажоре, пока какие-то проезжающие не подпрягли своих лошадей и не помогли нам выбраться из нового сибирского плена.

Но все когда-нибудь кончается. Кончился и наш долгий путь. Подъезжая к Казани, дядя с тетей узнали в общих чертах, что произошло 1 марта, и какие были непосредственные последствия этого. Они останавливались ненадолго в Перми у моего отца, жившего там со своей второй семьей и служившего на новой железной дороге Пермь – Екатеринбург.

О революции, конечно, не было и помина, никто даже и не пробовал вызвать ее. Лорис-Меликов сделал

слабую попытку убедить нового царя, Александра III, не отступать от намеченного пути, утверждая, что он единственно правильный и наименее опасный. Но его и слушать не хотели. Он был единогласно признан главным виновником происшедшего.

Но об этих дворцовых переговорах никто, разумеется, тогда и не знал. Знали одно: в Петербурге, вслед за 1 марта, проводятся опять повальные обыски, аресты, идет подготовка к суду над цареубийцами. Попутно наступили чрезвычайные цензурные строгости, закрытия газет, словом, волна реакции поднялась выше прежнего.

Повезло тем, кого вытащил невод Лорис-Меликова. Теперь они пострадали бы намного серьезнее.

НАША ЖИЗНЬ В КАЗАНИ

Поначалу дядя чувствовал себя в Казани более неприютно, чем в захолустной Таре, где было хоть несколько близких духовно человек, – так называемых «политических». И в Казани были «политические», но с ними не так-то легко сойдешься. В Таре же маленькая колония ссыльных сразу приняла дядю, как своего.

Казань и тогда была большим городом, университетским – казанский университет один из старейших в России. Но большинство его профессоров к «политическим» относились очень подозрительно, принадлежа к тому типу образованных людей, у которых никогда не бывало обысков, их не арестовывали и не ссылали. А те, с которыми дядя впоследствии сблизился, поначалу даже не знали о его прибытии.

Первое время мы жили в семье дядиной сестры. С сестрой мои приемные родители были очень близки, но муж ее, довольно крупный помещик, был человек совершенно им чуждый. Ради жены он по-родственному принял семью ее брата, но подозрительно и недо-

брожелательно относился ко всему, что составляло смысл жизни дяди и тети. Впрочем, дядю это нисколько не смущало. Несмотря на очевидное недоброжелательство хозяина, за общим столом, где они только и встречались, дядя говорил о том и так, как ему хотелось. И речь его отличалась такой заразительной убедительностью, таким увлекательным остроумием, что вскоре вся семья стала на его сторону, что было очень не по душе Александру Карловичу. Недостаточно широко образованный, да к тому же угрюмый тяжелодум, он не решался вступать в словесные состязания с дядей, у которого всегда, независимо от аудитории, фонтаном било блестящее красноречие.

Только наедине с женой Александр Карлович высказывал недовольство дядиными убеждениями и тем, что их дети, подростки, слушают «крамолу». Но его жена, горячо любившая брата и втайне сочувствовавшая ему, умела успокоить мужа, тем более что дядя отличался непобедимым добродушием и очарованием. Так вот солидный отец семейства, хоть и не переменивший под влиянием дяди своих взглядов, лично к нему проникся искренней симпатией, неизменной во время всей жизни дяди в Казани.

Вскоре местная интеллигенция уже знала о приезде дяди в Казань. Его экономические статьи в «Отечественных записках» пользовались широкой известностью. Университетская молодежь ценила их за передовое направление, а люди солидные за большую фактическую содержательность и теоретическую обоснованность.

В кругу земских деятелей тоже стало известно, какой крупный специалист по экономическим вопросам поселился в их городе. Его политическая «неблагонадежность», конечно, многих смущала, особенно из помещичьей партии в земстве, но все-таки желание извлечь пользу из его знаний превозмогло.

Земские учреждения переживали в то время весеннюю пору. Их еще не извратили окончательно реформы Александра III, превратившие их фактически из всесословных в откровенно дворянско-помещичьи.

В центре внимания земства стоял тогда вопрос о принципах обложения. Для этого необходимо было знать точно количество и качество земли каждого землевладельца – и помещика, и крестьянина, количество скота и лошадей. Становилось ясно, что необходимо подробное статистическое обследование всей губернии. Сведения, собираемые через полицию, как это делалось ранее, отличались неточностью. Как организовать обследование земскими силами, никто из земцев не знал. Не было ни одного человека, обладавшего приемами такого обследования. Волей-неволей пришлось обратиться к крупному специалисту, случайно поселившемуся в их городе. После некоторых колебаний председатель губернской земской управы Аристов настоял на своем, и ответственную работу поручили Анненскому.

Земцы даже отдаленно не представляли себе, какой капитальный труд они предпринимают, каких расходов он потребует и к каким неожиданным, выгодным для земского хозяйства, но далеко не выгодным для крупных помещиков результатам он приведет.

Крупные помещики, задававшие тон в земских собраниях, были неприятно удивлены, когда неведомые им молодые люди, получившие впоследствии название «третьего сословия», вторгались в их имения, подсчитывали количество и качество земельных угодий, сельскохозяйственных орудий, скота, лошадей и определяли на этом основании их доходы. Они всячески пытались дискредитировать статистиков. Не решаясь говорить, что статистики мешают им укрывать доходы и тем понижать обложение их имений, они утверждали, что статистики смущают своей переписью крестьян, поселяют в них ложные надежды на предстоящий пе-

редел земли, более справедливый, чем при освобождении. Некоторые даже уверяли, будто бы статистики прямо занимаются революционной пропагандой среди крестьян, чего в действительности не было.

Происходило странное явление. Всех, кого Анненский приглашал на службу в статистическое бюро, подвергали тщательнейшей проверке, требуя предоставления особого «свидетельства о благонадежности» от местных полицейских властей и соответственных отзывов университетского начальства. И если человек все же становился статистиком, на него ложилась какая-то тень недоверия. Из статистики, например, сложно было перейти на службу в учителя, где сугубая преданность режиму разумелась сама собой.

А ведь по существу мнение о «неблагонадежности» статистиков было недалеко от истины. Очевидно, столкновение с вопиющей крестьянской нуждой быстро превращало их из вполне преданных царскому строю людей в тех, кто сочувствовал народному горю, т. е. «неблагонадежных». Но отсюда до революционной пропаганды еще очень далеко. Очень немногие из статистиков ушли в последовательные революционеры.

Сам Анненский тоже не был членом революционной партии, хотя революционной борьбе сочувствовал и при случае революционерам помогал. Он считал, что для революции в России время тогда еще не пришло, народ в массе к ней не подготовлен, а к революционерам относится подозрительно. Статистическая работа казалась ему очень важной для истинного знакомства с народной жизнью.

Предвзятое идиллическое представление о жизни народа, какое давали в своих писаниях народники, вело только к горьким разочарованиям. Хорошо это понимая, Анненский ставил своим помощникам условие: во время обследования не заниматься пропагандой, чтобы не сорвать всего намеченного.

Статистическая работа его очень увлекала и шла весьма удачно. За время службы в Казанском земстве он выпустил несколько огромных фолиантов, заключавших в себе подробнейшую картину экономической жизни каждого уезда. Земцы сочли, что для целей обложения они слишком фундаментальны. Но все люди, интересовавшиеся экономикой России, находили в них чрезвычайно ценный материал.

С осени 1881 года дядя с тетей поселились отдельно от родных, вместе с семьей их петербургского друга, философа Владимира Викторовича Лесевича, тоже высланного в свое время из столицы.

В Петербурге они оба были деятельными членами одной нелегальной, хотя и совершенно чуждой политике, организации, носившей название «Общество трезвых философов».

Никакой организации, в сущности, и не было. Просто люди, интересовавшиеся приблизительно одним кругом идей и вопросов, собирались поочередно друг у друга, читали подготовленные ими для журналов статьи или специально написанные рефераты на философские, экономические или политические темы и обсуждали их.

Это начинание имело большой успех, собрания проходили оживленно и содержательно. О них узнали в широких кругах интеллигенции. Молодежь жадно стремилась попасть туда в качестве слушателей. В. Г. Короленко вспоминал, что впервые увидел там Н. Ф. Анненского и был им очарован.

Но одновременно об «Обществе трезвых философов» узнала и полиция, и во время либеральной Лорис-Меликовской чистки почти все участники «общества» были выловлены и высланы.

Лесевичи прожили в Казани недолго. У Владимира Викторовича не было там, как у дяди, работы. Он жил исключительно отвлеченными научными и лите-

ратурными интересами, а для них в Казани было мало пищи. Он переехал в Тверь, откуда легче поддерживалась связь с Петербургом.

Тогда наша маленькая семья поселилась сначала рядом с родными на Большой Красной улице, а потом немного подальше, на Поперечно-Красной.

И, конечно, у нас завелись домашние животные – красавец-кот, в первую же весну изменивший нам и одичавший, и собака-дворняжка, Барбоска, прожившая у нас 16 лет до самой смерти. Когда котик пропал, дядя вместе со мной ходил его искать, обещая награду соседним дворникам, но он безнадежно одичал и даже, неблагодарный, позже стал прибегать к нам поесть, но в дом не заходил.

Барбоска поначалу считался моим, но я приревновала к нему на этот раз не тетю, а дядю и несколько охладела к нему. Дядя очень полюбил Барбоску, и я боялась, что он теперь его любит больше, чем меня. Особенно меня огорчало, что, возвращаясь домой, дядя всегда первым делом спрашивал, если Барбоска не выбегал в переднюю:

– Ну, что Барбоска? – не подозревая, что это меня обижает.

Но я стала старше и не проявляла свою ревность так бурно и открыто, как в Таре.

Барбоска не отставал от нас ни на шаг. Когда мы приходили к родным, он нас всегда сопровождал. Александр Карлович не возлюбил его, как вообще не любил животных, и требовал, чтоб его прогоняли. Приходилось запирать его дома, но он вырывался и все-таки прибегал. Наконец, мы стали скрывать от него, что собираемся к Крамерам. Он прекрасно знал, что его с собой не возьмут, и стоило утром упомянуть в разговоре, что мы сегодня обедаем у родственников, как Барбоска просился во двор и бежал туда, хотя в другое время никогда там не появлялся. Псом он был вполне бла-

говоспитанным и в комнатах вел себя безукоризненно. Александру Карловичу он мстил за недоброжелательность и, ожидая удобного случая, проскальзывал в его кабинет и непременно поднимал ножку у его письменного стола.

Пришлось не выпускать его в дни посещения родных.

В прислугах жила у нас в Казани Никаноровна, старуха из бывших крепостных, обладавшая весьма серьезными недостатками, но очень привязанная к нашей семье. Прежде всего, она пила и, когда напивалась, ложилась в кухне на полу, храпела на весь дом, и добудиться ее не было никакой возможности. Так что тете приходилось обходиться без ее помощи. Затем она обладала обширными знакомствами, на кухне у нее всегда толпилось множество народа.

Когда тетя пыталась намекнуть ей, что не совсем удобно, когда кухня с утра полна посторонних, она искренно изумлялась:

– Да что вы, барыня! Это ж свои – Клетни да Шапки. Куда ж им пойти?

Приходилось признать, что земляки имеют неоспоримое право на приют и угощение.

Выражалась Никаноровна весьма своеобразно и по-своему характеризовала дядиных знакомых.

– Тут к вам без вас заходил, – сообщала она, – этот, ну, что рыло-то завязано.

Не стеснялась она и говоря о господах. Ее возмущало, что ни дядя, ни тетя не умели торговаться и отстаивать свои интересы.

– Уж я нынче пеняла нашему хозяину (домовому), барыня, как он цену за дрова заложил. Уж на что, говорю, наш барин дурак, а и то такой цены не даст.

В ее лексиконе это означало «просто» не умеющий отстаивать свои интересы.

Тетя серьезно пеняла ей.

– Зачем же вы, Никаноровна, так говорите посторонним про барина?

– Да что вы, барыня, я ведь только нашему хозяину, а то я разве скажу?

Вероятно, между собой тетя и дядя не могли не смеяться над особенностями речи нашей Никаноровны и над ее отстаиванием наших интересов, но меня дядя строго останавливал, если я пыталась грубить ей.

– Вот ты все читаешь Евангелие, Таня, – сказал он мне раз, когда мне было уже лет одиннадцать, – а ты, наверное, не помнишь, что там сказано: «пред лицом седого восстании и почти лицо старче». А ты, маленькая девчонка, позволяешь себе таким тоном говорить со старухой.

Мне стало очень стыдно, и я на всю жизнь запомнила это замечание, хотя, наверное, не один раз и после нарушала его.

В то время между 10 и 14 годами я была чрезвычайно религиозна. Откуда запали в меня семена религии, я никак не могу себе представить. Тетя и дядя были абсолютно нерелигиозные. Они были последовательные шестидесятники, т.е. атеисты, рационалисты, нигилисты. Никогда, даже ради окружающих, они не соблюдали никаких религиозных обрядов. В квартире их, к большому огорчению их родителей, не висело никаких образов. Когда я стала подрастать, мне никогда не внушали религиозных истин, кроме только требующегося для поступления в гимназию знания молитв и «священной истории». У меня не было нянек. Тетя, взяв меня у матери, своей сестры, когда та еще лежала смертельно больная, и, оставив меня у себя с разрешения моего отца, всегда сама занималась со мной с самого младенчества. Ни одна бабушка, ни дядина, ни тетина мать не жили с нами. О посещении церкви я вообще узнала только по приезде в Казань. По крайней мере, я совершенно не помню до тех пор упоминания о церкви. Мой

двоюродный брат и сестры по обычаю ходили в церковь, но их религиозность была чисто внешняя, обрядовая и едва ли могла заразить кого-нибудь.

Но, так или иначе, я мало-помалу узнала о религии и горячо увлеклась ею. Я молилась утром и вечером, читала каждый день перед сном Евангелие, проливала горячие слезы над описанием страданий Иисуса Христа, просила и получала разрешение ходить в церковь с сестрами, хотя меня вскоре начало возмущать, что в церкви они не столько молятся, сколько перемигиваются со знакомыми гимназистами.

Первая исповедь, на которую я должна была пойти по требованию гимназического начальства, была для меня событием громадной важности.

Интересно отношение к этому моему религиозному увлечению моих воспитателей. Как раньше они не учили меня религии, так теперь не пытались бороться с моим новым настроением. Они стояли на той точке зрения, что настанет время, и я сама приду к убеждению в ошибочности взглядов, захвативших меня. Тогда, пережитый самостоятельно, внутри, переворот, будет гораздо глубже и прочнее. Они предоставляли мне полную свободу упиваться религией, даже, когда видели, что многое дается мне нелегко и серьезно мучит меня. И никогда дядя не позволял себе ни одной шутки по поводу моих богомолий.

Сколько мучений я переживала из-за сознания своей греховности! По большей части причина лежала в самом Евангелии. Помню, я прочла там, что кто скажет «рака» против духа святого, тот будет ввергнут в геенну огненную. Что такое «рака», я не знала, да, по правде сказать, не знаю и до сих пор. Тогда я решила, что это значит «дурака». И вот меня начал мучить безумный страх, что вдруг я нечаянно скажу «дурак дух святой» и буду ввергнута навеки в геенну огненную. Как быть? Днем я, конечно, забывала об этом. Но, когда я

ложилась спать, начиналась страшная борьба с искушением. Очевидно, не иначе, как сам дьявол насылал на меня непобедимое желание сказать:

– Дурак дух святой.

Я вся извелась, пока не придумала иезуитского обхода. Чувствуя, как помимо воли во мне рождаются грешные слова, я и не противилась им, но пыталась их нейтрализовать. Я бормотала:

– Я никогда не скажу «дурак дух святой».

Или

– Я бы совершила страшный грех, если б сказала «дурак дух святой», я этого не скажу.

И с этими спасительными оговорками я, наконец, засыпала.

Мучило меня также явное неверие тети и дяди. Я безгранично любила их, считала лучшими людьми на свете, добрыми, умными, справедливыми и вот, такие прекрасные люди обречены на вечные мучения после смерти. Почему-то, совершенно не помню, почему, наиболее тяжким их грехом я считала даже не то, что они не ходят в церковь и не молятся, а то, что они не соблюдают постов, в особенности, страшно подумать – на страстной неделе. Я вообще была замкнутым ребенком и не делилась даже с тетей своими религиозными переживаниями. Но тут я не выдержала и со слезами стала умолять ее не губить свою и дядину душу.

Трудно поверить, но эти атеисты, чтобы не мучить глупую девочку, стали есть постное на страстной неделе. Оба они терпеть не могли постное масло, дядя с трудом мог обходиться без мяса, но в течение недели у нас жарили рыбу, наполняя квартиру противным запахом постного масла.

Не поручусь, что после того, как я ложилась спать, они не разрешали себе бутербродик с колбасой, но за завтраком и за обедом у нас соблюдался строгий пост.

Религиозные переживания ничуть не мешали моим «светским» интересам. Я много читала, особенно увлекалась Жюлем Верном. Помню, как-то дядя с тетей говорили за чаем об организации экспедиции для открытия Северного полюса.

– Для чего же это? – вмешалась я. – Ведь капитан Гаттерас уже открыл его.

Дядя объяснил мне, что это научная фантазия Жюля Верна, а на самом деле полюс еще не открыт.

Я пришла в полнейшее негодование и сочла себя глубоко оскорбленной. Как же можно писать то, чего нет! Это же значит лгать.

Никакие объяснения дяди о законности научной фантазии не помогали, и я надолго охладела к Жюлю Верну.

Но больше всего я увлекалась поэзией, заучивала наизусть Пушкина, Некрасова. Особенно я любила почему-то «Бориса Годунова», знала его почти всего наизусть и, вероятно, под его влиянием сама написала трагедию «Брат и сестра» – о Петре I и Софии.

В то же время я чрезвычайно интересовалась дядиной работой. Наряду со статистикой он не прерывал и литературных занятий и продолжал сотрудничать в петербургских журналах. В начале 80-х годов он написал статью о государственном бюджете, которая произвела тогда большую сенсацию, и сам он придавал ей большое значение. Пока он писал ее, он был весьма увлечен ею и за вечерним чаем постоянно читал отрывки и обсуждал их с тетей.

Я была единственным ребенком, всегда была тут же и прислушивалась ко всем их разговорам, хотя на три четверти не понимала их.

Что такое «бюджет» я поняла очень смутно, но это не помешало мне перефразировать на тему дядиной статьи, как я ее поняла, отрывок из моего любимого «Бориса Годунова»:

Бюджет, бюджет! Все пред тобой трепещет.
Никто тебе не смеет и напомнить
Об участи несчастного народа.
Но между тем изгнанник в келье хладной
Здесь на тебя донос ужасный пишет.
И не уйдешь ты от суда людского,
Как ты ушел от царского суда!

Летом мы с тетей каждый год гостили в имении Крамеров, Левашеве, в 25 верстах от пристани Мурзухи на Каме. Местность там была не особенно живописная – ни реки, ни озера, ни холма. Около дома не было даже сада – только бесконечные поля кругом и на далеком горизонте очертания скалистых камских берегов.

Но для нас, детей, это был целый волшебный мир, полный невыразимого очарования. Перед домом расстилался огромный, поросший травой, двор со столбом гигантских шагов посередине. Вокруг тянулись разные надворные строения и почему-то всегда были сложены срубом большие бревна – наш излюбленный «дом». По краям двора густо росли крапива и репейник, и валялись старые ведра, кадушки, ящики. Особой чистоты и порядка, надо сказать, не было. Но зато, сколько возможностей для самых разнообразных игр.

Компания собиралась большая. Кроме нас, приезжих из города, в ней принимали участие все дворовые мальчишки. Наша жизнь была так наполнена, что мне теперь трудно поверить, что мы проводили там всего 2–2,5 месяца. Старшие дети учились в гимназии и должны были к 15 августа, а в случае переэкзаменовок – и к 8, уже быть в Казани. По ощущению нам казалось, что мы проводили там не менее полугода.

Играли мы и в путешествия, и в прятки, и в палочку-воровку.

У меня до сих пор звучит в ушах торжествующий крик:

– Колюска за кадуской!

Когда мы стали старше, к играм присоединился еще крокет. Мы предавались ему с такой страстью, что дело иногда кончалось дракой молотками, и «черные» с «красными» часами не разговаривали.

А сколько радостей приносил скотный двор, куда мы забирались тайком. И разные кулинарные приготовления – сбивание масла в глиняном горшке, причем нам перепадали остатки на краюшках хлеба, печение пышек и оладий и даже хлебов.

Никогда я уже больше не ела такого удивительного хлеба со свежим маслом, такой душистой молодой картошки, таких цыплят под «венгерским» соусом.

Экономка, добродушная старушка Тиночка, и строгий повар, еле передвигавший ногами, но державший нас в страхе, были из бывших крепостных и сохраняли секреты «барской» кухни.

Сам теперешний владелец был никакой хозяин, хотя и считал своим долгом вставать в 6 часов и обходить поля. Но почти вся обработка полей велась у него «из-полу», крестьянами. Только ближайшие участки распахивались своими рабочими, толпившимися каждую субботу в сенях с «ярлычками», выданными приказчиками, чтобы получить оплату от барина.

Этим и ограничивалась роль хозяина.

В остальное время он молча, с мрачным видом прохаживался в туфлях по большой столовой и гостиной, наводя тоску на всех обитателей дома. Нарушить в чем-нибудь его привычки, налить первый стакан чая с морсом, когда он первый пил со сливками, а второй с морсом, казалось его жене и детям посягательством на привилегии папы римского.

Дети боялись его, как огня, хотя по какой-то непонятной причине говорили ему «ты», а обожаемой матери «вы».

Лошадей в хозяйстве было много, но попросить у него разрешения поехать за ягодами в дальний «Суходол» или «Бор» было событием, которое обсуждалось часами и на которое никто не отваживался.

Наконец, выбор падал на меня. Для меня бояться старших было так непривычно, что я и Александра Карловича не боялась, хотя и не любила.

Я смело подходила к нему и излагала нашу просьбу.

Он на минуту останавливался, удивленно смотрел на смелого мышонка, стоявшего у его ног, и обычно разрешал, но с оговорками.

– Велите Алексею заложить долгушу, да чтоб не загнал лошадей.

Старый кучер умел править, конечно, лучше хозяина.

Когда мы стали подрастать, однообразие летней жизни начинало немного надоедать нам, и мы нетерпеливо ждали любого нарушения заведенного порядка, главным образом, приездов кого-нибудь, и больше всего, конечно, дяди.

Его работа шла особенно интенсивно именно летом, и ему очень редко удавалось заезжать к нам. Тем более, его посещение становилось огромным событием.

Когда вдали на проезжей дороге появлялась быстро несущаяся точка, а затем доносился чудесный звон бубенчиков, волнению нашему не было предела.

– Неужели дядя? А вдруг не он?

И раз – помню – наше огорчение. Приехал не дядя, а сам хозяин, уезжавший в Казань по делам.

Когда тарантас въезжал в ворота, раздались разочарованные голоса:

– Да это не дядя! Это папа.

Вечером Александр Карлович сказал жене обиженно:

– Дети-то дядю больше отца ждут.

Но зато когда приезжал дядя, наступало общее ликование. Весь дом оживал. За столом слышались ве-

селые разговоры, шутки. Дядя с увлечением рассказывал о ходе своих работ, передавал разные веселые эпизоды, безбоязненно обращался к самому хозяину, пытаясь и его втянуть в разговор. Земские дела должны же были и его затрагивать. Но эти попытки обычно заканчивались ничем. Кроме нечленораздельного бормотания, ничего в ответ не раздавалось.

Даже от семейного винта, в котором дядя с удовольствием принимал участие, хозяин с презрением отказывался, считая ниже своего достоинства играть с домочадцами. А в клубе зимой играл каждый день.

Кругом расстилалась безграничная ширь полей, а впечатление после дядиного посещения оставалось такое, точно в душный склеп пахнула струя свежего воздуха. Вольнее дышалось, громче говорилось. Всем становилось весело и привольно.

Даже возвращение в город, в наскучившую гимназию, так не пугало. Впрочем, самый путь нас, детей, только радовал, хотя взрослых он очень утомлял.

Надо было ехать 25 верст, а может быть, и больше – версты никто не мерил – по пыльной дороге среди полей в крайне неудобной долгуше, где даже не к чему прислониться спиной.

Чтоб не загнать лошадей по жаре, расчетливый хозяин отправлял нас глубокой ночью, по холодку. Приезжали мы до рассвета и ожидали на открытой пристани пароход, время прихода которого было совершенно неопределенно. Позже там появилась гостиница, но пребывание в ней, только осложняло наш путь. Когда с пристани раздавался свисток, приходилось спешно собирать багаж и мчаться бегом к причалу. А пароход оказывался буксирным или крупным, не останавливающимся у мелких пристаней.

Но нас этот переполох именно и привлекал. Нравилось не спать ночь, ехать в долгуше, слушать заливистый свист Алексея, есть в непоказанное время слад-

кие пирожки, ватрушки, разрывать руками цыплят, обмакивая косточки в фунтики с солью. Даже дремать на бунтах каната в предрассветный час, а потом забираться в сонный пароход, где все каюты заняты, и досыпать на диванах в рубке, а утром пить чай с обязательным ломтиком лимона и остатками домашних подорожников – все доставляло неизъяснимое удовольствие.

Только на подъезде к Казани портила настроение мысль о нудном молебне в гимназии 15 августа и наскучивших уроках с 16-го.

Мне, впрочем, это долго еще не грозило. Я училась дома с тетей и, хотя я была и капризна, и непослушна, я все-таки любила занятия с ней, так она умела интересно вести их.

Дядина жизнь в Казани была очень наполнена и статистикой, и литературной работой, но с местным обществом и он, и тетя как-то мало сходились. Главный интерес их жизни сосредоточивался все же в Петербурге.

Они поддерживали с ним постоянную связь, хотя к этому времени близких людей, кроме родственников, там оставалось очень мало. Большинство было или выслано, или арестовано и сидело по тюрьмам.

Большое горе причинил им арест в 82-м году дядиного воспитанника, юноши Вани Емельянова. Он жил в семье дяди с 10 лет. К моменту дядиной ссылки он окончил реальное училище и был послан в Бельгию в высшую техническую школу. Дядя долго ничего не знал о его дальнейшей судьбе. Я расскажу о нем дальше.

МОЛОДЫЕ АННЕНСКИЕ. ДВА ПОЛЮСА. П. Н. ТКАЧЕВ. СУДЬБА ВАНИ ЕМЕЛЬЯНОВА

В 70-е годы в семье дяди жило одновременно несколько подростков.

Отец дяди, Федор Николаевич Анненский, был долгое время омским вице-губернатором, поэтому-

то его старший сын Николай и воспитывался в кадетском корпусе. Выйдя в отставку, Ф. Н. Анненский вернулся в Петербург и занялся какими-то финансовыми аферами. Но, видимо, он не обладал нужными талантами и скоро безнадежно разорился. Старшему сыну пришлось содержать его многочисленную семью.

Всех детей у него было двенадцать, но к тому времени оставалось шестеро – два сына – старший и младший – и четыре дочери. Две из них были уже замужем, а троих младших – младшего брата Иннокентия и двух сестер, учившихся в одной из вновь открытых гимназий, когда отец разорился, дядя взял к себе, чтобы дать им возможность получить образование.

Чтобы прокормить большую семью и, кроме того, содержать родителей и помогать тетиной матери-вдове, – и тете, и дяде приходилось много работать.

Когда они поженились – против воли родителей, они ведь были двоюродные брат и сестра, – у них ничего не было, дядя даже еще не выдержал кандидатских экзаменов и держал их, уже живя с тетей в крошечной квартирке на пятом этаже. Тетя рассказывала, что она очень волновалась, ожидая дядю с экзамена, но когда все сходило хорошо – а оно всякий раз сходило хорошо, – она успокаивалась раньше, чем он входил в дверь. Поднимаясь по лестнице, он во весь голос пел арию Сабинина из «Жизни за царя»:

Ах, когда же с поля чести
Русский витязь молодой
Без удалой доброй вести
Возвращается домой!

Но, окончив университет, дядя очень быстро поступил на службу, и, когда его отец разорился, он уже служил в Государственном контроле, а по вечерам писал статьи в журналы.

Тетя сначала давала уроки в том пансионе, который они с сестрой окончили, потом открыла собственную школу для начинающих. Правда, школа эта просуществовала недолго – новые педагогические методы, отрицание наказаний и т. п. не встретили сочувствия родителей, и школу пришлось закрыть. Тетя стала брать на дом пансионеров и, кроме того, занималась переводами и переработками иностранных книг, так как прекрасно знала три языка. Одна из ее первых переработок, предложенных ей В. В. Лесевичем, был знаменитый Робинзон Крузо. Переработка оказалась настолько удачной, что Лесевич стал уговаривать ее попробовать свои силы на самостоятельной работе для детей старшего возраста. Ее повести пользовались тогда большой популярностью. Помню, когда я поступила на Курсы, многие мои сверстницы рассказывали мне, как они увлекались ее книгами. Начала она писать еще до моего рождения, но продолжала и когда я стала подрастать, в Казани.

Повести ее были совсем не похожи на ложно-сентиментальную детскую литературу того времени. Они были очень интересные, правдивые, серьезные и, по большей части, грустные. Я обливалась слезами, читая их еще в рукописях, и как я гордилась ею!

Несмотря на довольно стесненные обстоятельства, в сборной дядиной семье жилось дружно и весело. Все дети-подростки, и свои, и чужие, горячо любили свою молоденькую воспитательницу и обожали дядю, всюду вносившего оживление и веселье и подходившего к детям непосредственно, без всякой «педагогики», относясь к ней подозрительно.

Меня еще не было в этой семье, когда она была наиболее многолюдной – в первой половине 70-х годов. Но со слов многочисленных и дядей, и тетей я хорошо знала ее обитателей и склад семейной жизни.

Общий тон был дружный, любовный, но совершенно чуждый всякой сентиментальности. Молодые Аннен-

ские, особенно оба брата, старший и младший и сестра Мария Федоровна, обладали сатирической жилкой и стихотворным дарованием. Они постоянно писали шуточные стихотворения друг на друга и на других временных обитателей своей квартиры.

Александра Никитична была их общей поверенной и даже пыталась направлять их первые, часто неудачные романтические увлечения, а узнававшие о них братья и сестры помогали тете, вышучивая героев этих романов. Впрочем, иногда героиня, несмотря на все старания, оставалась верна своему «предмету».

Общее неодобрение всей молодежи вызвал роман старшей сестры, Наталии Федоровны. Трудно было поверить, что она одной крови со всеми Анненскими, настолько чужды им были ее устремления. Первой заботой молоденькой Наташи – было выйти замуж за состоятельного человека. Среди знакомых, посещавших Анненских, таковых не имелось, и она остановила свой выбор на молодом купчике, случайно встретившись с ним на пароходе. Злоязычная Мария Федоровна уверяла, будто, сведя с ним знакомство, Наталья сразу решила – «быть бычку на веревочке». И он, действительно, попался «на веревочку», хотя сестры и братья всячески вышучивали ее матримониальный план.

В шутливой пьеске, где фигурировала вся молодежь, избранник старшей сестры выступал с куплетами:

– Я пуще лабаза Наташу люблю...

А она подхватывала:

– Вот платье из газа
И мой тюрлюрлю!

Судьба этой старшей из молодых Анненских оказалась довольно печальной и напоминала сказку Андерсена «Уж, что муженек ни сделает, то и ладно». Не обладая никакими коммерческими талантами,

она, тем не менее, желала руководить влюбленным в нее мужем и постоянно побуждала его менять свою деятельность на казавшиеся ей более выгодные предприятия.

Лабаз она убедила его поменять на чулочную мастерскую, чулочную – на молочную мызу, мызу – на дачи в Парголово. Все предприятия оказывались неудачными и ликвидировались накануне разорения. Дачи тоже были проданы. Остался наличный капитал, очень небольшой и быстро растаявший. Так что кончала она жизнь в крайней бедности при поддержке брата. При этом в ней была какая-то странная страсть к самоуничижению, что-то напоминающее типы Достоевского. Когда ей приходилось жить очень стесненно, она ни за что не хотела устроиться сколько-нибудь прилично и с каким-то сладострастием рассказывала, что через ее комнату должны проходить ломовые извозчики.

Младшую сестру, Любовь Федоровну, тете удалось устроить много удачнее. Она отличалась с ранней юности бесконечным добродушием и неисчерпаемым легкомыслием. Она рано поступила на службу на телеграф, и сестра утверждала, что, получив жалование, она нанимала извозчика и велела ему:

– Извозчик, вези меня на двугривенный!

Это и был ее кутеж.

Сердце ее отличалось любвеобилием и не особенной разборчивостью. Молоденький, чуждый всякой культуры офицерик – вот герой ее первого романа.

В семейной пьеске он выступал с куплетами:

– В голове моей так пусто,
Что в ней слышен звон порой...

На что Любовь Федоровна отвечала:

– И в моей не очень густо
Что ж такое, милый мой.

Но Александра Никитична решила направить в другую сторону интерес своей легкомысленной кузины.

За Любочкой одновременно ухаживал серьезный молодой человек, француз по происхождению, но получавший образование в Петербурге. Тетя стала расхваливать его Любе и достигла цели. Деникер (так звали француза) одержал верх над офицером и увез молоденькую невесту в Париж. Он сделал крупную ученую карьеру, став академиком и директором Ботанического сада. Любовь Федоровна впоследствии превратилась в типичную парижанку, экономную и расчетливую. Она совершенно забыла традиции своей семьи и почти разучилась русскому языку.

Сама Мария Федоровна тоже не избежала «семейного издевательства». Она не была красива и отличалась в молодости исключительной худобой.

Дразнили ее молодым доктором из хохлов, без практики, который жаловался на свою судьбу:

– Раз пришел я в лечебницу,
Да потом и каюсь.
Увидал там жердь-девицу,
Да по ней и маюсь.

О ней же кто-то пел:

– В карете пара вороная
Вас мчит в наряде дорогом,
А Юрий, юностью пленяя,
Ходил на практику пешком.

Соответствовало действительности только последнее; остальное плод чистой фантазии: ни кареты, ни пары, ни дорогого наряда у жердь-девицы никогда не бывало.

Вышла она замуж по страсти, очень неудачно, похоронив в замужестве свою незаурядную даровитость

и задатки несомненного литературного и педагогического таланта. Все ее ученики обожали ее. Я с детства помню ее замечательно талантливые и остроумные рассказы.

Старшего брата тоже не щадила семейная муза.

Мне помнится только начало посвященной ему оды:

День великий, день рождения
Николая Анненски.
Предвкушает наслажденье
Анатолий фон Леннски.

Младший, Иннокентий, давал не меньше пищи для шуток. В особенности доставалось его ранним поэтическим опытам. Он пытался скрывать их, но в маленькой тесной квартирке это было нелегко, и сестры скоро обнаружили у него любимый плод его раннего вдохновения, длинную патетическую поэму «Магали».

Мария Федоровна уверяла, что в ней был такой стих: «Бог шлет с небес ей сладостную фигу».

Можно себе представить, сколько шуток это породило.

Мария Федоровна написала стихотворную пародию, изображавшую печальную судьбу злополучной «Магали» в петербургских редакциях.

Юный поэт будто бы тщетно носил ее из редакции в редакцию. В действительности он не только не помышлял ее печатать, но сам впоследствии, к сожалению, уничтожил.

Невзирая на это, жестокая сестра описывала, как автор «глушит» редактора чтением своей бесконечной поэмы.

«Магали – моя отрада!» – взывает он, а безжалостный редактор прерывает: «Нам не надо! Нам не надо!»

Увлеченный автор не слушает: «Магали – мой голубочек!» – продолжает он. «Ну, проваливай, дружочек!» – решительно выпроваживает поэта редактор.

Эти стихотворные перепалки нисколько не портили отношений молодых Анненских.

Обоих братьев, хотя жизненные интересы далеко развели их впоследствии, и сестру Марию Федоровну до самой их смерти связывала горячая братская любовь.

В 1874 году, когда я полуторагодовалым ребенком попала в эту семью, ставшую мне родной на всю жизнь, она уже была не так многолюдна. Сестры дяди уже вышли замуж, и на его попечении оставалось в ту пору только два мальчика – его младший брат, подросток Иннокентий и буквально подкинутый ему, абсолютно чужой мальчик Ваня Емельянов.

Отец привез его из глубины Бессарабских степей, чтобы отдать в Петербурге в реальное училище. От кого-то он узнал, что у дяди жили иногда пансионеры, и буквально умолил его взять к себе мальчика и отдать в училище, обещая платить и за содержание, и за учение. Дядя с трудом согласился. Из нужды он уже тогда выбился, а мальчик требовал больших хлопот, так как был совершенно недисциплинирован и очень слабо подготовлен.

Вскоре после того Емельянов-отец умер, и мальчик остался всецело на дядином попечении. Предположение, что двух мальчиков, уже подготовленного Кеню и десятилетнего Ваню можно будет в какой-то мере объединить, поручив Кене некоторые занятия с Ваней, оказались совершенно невыполнимыми.

Трудно себе представить более полярные противоположности, чем эти два мальчика, старший и младший. Один, Ваня Емельянов, – первобытное дитя природы, чуждое малейших зачатков цивилизации. Ученье давалось ему туго и абсолютно не влекло. Дяде стоило больших трудов подготовить его к первому классу. Особенно не давался Ване так называемый «Закон Божий». Он ненавидел краткий учебник «Священной истории», по

которому необходимо было сдать вступительный экзамен.

Семья жила на даче, и дядя, по возвращении со службы, спрашивал обоих мальчиков заданные уроки. Иннокентий все и всегда знал безошибочно, Ваня – очень плохо. Однажды Ваня заявил дяде, что не мог приготовить урока, так как книги нет – исчезла. Поискали, поискали, да так и не нашли. На другой день дядя купил в городе и привез новый учебник.

– Ну, вот, готовь к завтрашнему дню свой урок, – сказал он Ване.

Мальчик с отчаянием посмотрел на ненавистную книгу.

– Как! – вскричал он, – Разве есть другая такая же? Я думал, что нет. Я закопал ту в саду.

Выучив кое-как урок, чтобы не огорчать дядю, в которого он сразу влюбился, он пропадал целыми днями, бог знает где. Тетя рассказывала мне потом, что никогда не была за него спокойна и мечтала об одном, чтоб, когда его принесут домой, у него была сломана только рука или нога, а не голова.

Но судьба как-то хранила его, и он лишь выбил стрелой глаз какому-то мальчику, за что у дяди были большие неприятности.

С годами активность Емельянова приняла другие формы. Из любви к дяде Ваня сумел заставить себя учиться в школе, хотя и считал это совершенно излишним. Его рано увлекла революционная романтика, и в старших классах он вошел в один из революционных кружков учащейся молодежи.

А рядом с этим буйным выходцем из диких степей, в той же семье, рос и развивался такой утонченный цветок городской цивилизации, как юный Иннокентий Анненский. Чуть не с младенчества он жил среди книг и книгами. Знакомые с его поэзией, может быть, вспомнят его стихотворение «Сестре», посвященное А. Н. Ан-

ненской и говорящее о том времени, когда ему было не больше 5–6 лет. В те годы их семья только что приехавшая из Сибири, где родился Иннокентий, еще благоденствовала, и воспитательницей у младших детей жила их двоюродная сестра А. Н. Ткачева, вышедшая потом замуж за Н. Ф. Анненского.

Поступив в гимназию, мальчик увлекся древними языками, потом греческой мифологией, греческой и римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он вскоре ушел в него с головой.

Естественно, что двух мальчиков, с такими различными интересами, все отталкивало друг от друга. Каждый из них презирал все, чем исключительно жил другой. Да и разница в возрасте между ними была 4–5 лет. Ваня смеялся над всеми вообще книгами. Иннокентий постоянно боялся, как бы Ваня не забросил куда-нибудь какое-нибудь из его книжных сокровищ. Он считал своего случайного сожителя круглым дураком и сторонился его, как зачумленного. Это было, конечно, неверно. Ваня вовсе не был глуп от природы. Но книжная мудрость оставляла его совершенно равнодушным.

Неизбежные постоянные встречи за одним столом только раздражали обоих и еще дальше отталкивали друг от друга.

Когда тетя взяла меня к себе, я была еще слишком мала и ничего не понимала. В 3–4 года меня стал очень привлекать Ваня. Он охотно возился со мной, вырезая мне то свистульки, то дудочки или устраивая лук и стрелы. Иннокентий в 15–16 лет просто не замечал вертевшегося под ногами ребенка.

Правда, иногда Ваня дразнил меня:

– Смотри, Таня, я скажу сейчас твоей кукле «Счезни», и она исчезнет.

Я с ужасом кричала:

– Нет, Ванечка, милый, не говори, пожалуйста, не говори!

Тетя вмешивалась:

– Да пусть он скажет, Таня, а мы посмотрим, что будет.

Но я никогда не решалась на такой рискованный опыт, и репутация чудотворца оставалась незыблемой.

Несмотря на поддразнивание, я любила Ваню больше, чем своего молодого дядю Кеню. Ребенку важней всего, когда на него обращают внимание, занимаются с ним, а для Иннокентия это было слишком скучно. Прошло много лет, прежде чем мы с ним наново познакомились, и я сумела оценить его.

Дядю в ту пору ежегодно командировали за границу на проходившие там международные статистические конгрессы. Тетя ездила с ним и брала с собой меня. Только повзрослев, я поняла, какая это была жертва с ее стороны, а особенно со стороны дяди. Таскать с собой повсюду довольно-таки капризного трех, четырех, пятилетнего ребенка – весьма сомнительное удовольствие. Но, взяв меня в дочки, тетя не хотела надолго расставаться со мной и оставлять меня на чужих руках, а дядя абсолютно не мог жить без тети. Потом мне было даже обидно, какие дивные места я видела в раннем детстве, не воспринимая их красоту.

Как-то в Тироле мне был обещан пряник, если я не буду капризничать при восхождении на какую-то гору.

Я шла беспрекословно.

Дядя спросил меня:

– Таня, ты, кажется, за пряник на Монблан взойдешь.

– Я за пряник на любую гадость взойду, – мрачно ответила я и, поднявшись на вершину, демонстративно села спиной к виду, грызя свой пряник.

Иногда, впрочем, мои капризы оказывались для них выгодными.

Когда им хотелось остаться одним в купе, дядя нарочно дразнил меня перед станцией и во время остановки высовывал в окно мою ревущую физиономию. Пассажиры старательно обходили наше купе.

Но, как я позже вспоминала, дядя с тетей относились удивительно терпимо к причиняемым мною неудобствам. Дядя со своим неистощимым добродушием ограничивался шутками:

– В Винтимилье у нашей Тани все винты развинтились. Уедем – пройдет.

Тетя иногда удивлялась моему равнодушию к красотам природы. Однажды, идя со мной по берегу Средиземного моря, ее возмутило, что я как будто не замечаю безграничного лазурного простора. Но дядя наклонился ко мне, и оказалось: за парапетом, тянувшимся вдоль всего берега, моря просто не видно.

Наибольшее впечатление на меня произвели раскопки в Помпее: на том месте, где я стояла, выкопали прелестный столик с мозаикой на столешнице. Но все же выше всего за границей я оценила фруктовый компот, который мне заказывали в ресторанах. Ничем нельзя было так меня напугать, как, спросить счет прежде, чем дело доходило до компота.

В Париже дядя с тетей встретились со своими родственниками – дядиной сестрой, Л. Ф. Даникер и с ее ученым мужем, с которыми их соединяли только родственные отношения, и с тетиным братом, Петром Никитичем Ткачевым, эмигрировавшем в 1874 году. Тогда его выслали из Петербурга в «свое именье», Сивцево, Псковской губернии. Это маленькое имение, принадлежавшее, конечно, не ему, а его матери, не давало никакого дохода, так что ее дети, едва выйдя из детского возраста, должны были содержать не только себя, но и мать.

Но для Петра Никитича имение сослужило большую службу. Он был человеком дядиного склада, весе-

лым, общительным, остроумным, не любившим одиночества. Он быстро свел знакомство с соседними помещиками и с исправником. Проводил с ними вечера, играл в карты, сделался душой местного общества, и все соседи наперерыв приглашали его к себе. А невеста его, Дементьева, тем временем уехала за границу, благо граница проходила недалеко от Сивцева. Получив известие, что она благополучно перебралась через границу, Ткачев решил сделать такую же попытку. Тут, кстати, подошли чьи-то именины, был большой съезд, приехал и исправник на своей прекрасной тройке.

Когда гости изрядно выпили и прислуга тоже, Ткачев незаметно вышел во двор, сел на исправницкую тройку, выехал за ворота и погнал лошадей.

Прежде чем его хватились, он был уже далеко. Узнав, что он уехал на исправницких лошадях, оставив ему своих, приняли это за остроумную шутку. Только на другой день, когда он не появился ни у исправника, ни у себя дома, простодушные провинциалы догадались, что дело не ладно. Но было уже поздно. Он также благополучно переправился через границу и условной телеграммой дал знать родным в Петербург, что побег сошел удачно.

Ткачев в Россию не вернулся. В эмиграции он играл видную роль, издавал газету «Набат», где полемизировал с более умеренной газетой «Вперед» П. Л. Лаврова.

Анненские были очень близки с Ткачевым, они с радостью ждали свидания с ним. В Париже им пришлось пробыть дольше, чем они предполагали, так как я заболела там корью. Петр Никитич каждый день приходил к нам, принося мне баночки желе. По методу французских докторов, корь лечили, главным образом, сладким. У меня, поэтому сохранились самые светлые воспоминания о новом веселом дяде и о парижских докторах.

Вероятно, родственная связь с таким видным эмигрантом сыграла не последнюю роль в высылке Анненского в Сибирь.

К моменту дядиной ссылки вся окружавшая его молодежь уже стояла на собственных ногах. Обе младшие сестры вышли замуж, младший брат очень рано окончил университет и сразу занялся педагогической деятельностью. В 21-22 года он стал учителем гимназии и давал частные уроки.

В 23 года он страстно влюбился в мать своих учеников, бывших немногим моложе учителя. Несмотря на возраст (ей было 46 лет), невеста сохраняла исключительную красоту, и юноша совершенно потерял голову. Сразу же он и женился на ней, взяв на себя заботу о большой семье, привыкшей к обеспеченной, почти богатой жизни. Он считал делом чести обеспечить жене и ее детям прежние условия существования. Конечно, материальные заботы на первых порах сильно помешали развитию его крупного таланта.

Но брату, во всяком случае, не приходилось больше о нем заботиться.

Другое дело Емельянов. Дядя хорошо знал, что он не только не сможет, но и не захочет ни в какой мере обеспечить себя. Его влекли совсем другие интересы. Пока он был за границей, он существовал на какую-то грошовую стипендию. Учился он там или нет, дядя не имел понятия. Ваня перестал ему писать, вероятно, не желая впутывать его в свои дела. Подготовился ли он к какой-нибудь специальности и чем занялся, вернувшись в Петербург, Анненские тоже не знали, хотя и спрашивали об этом родственников. С Иннокентием Емельянов прервал всякие отношения, а с Марией Федоровной хоть и встречался – они очень любили друг друга, – но не делился с ней своими планами.

И вдруг как обухом по голове. Анненских поразило известие, что Ваня арестован и сидит в доме предва-

рительного заключения. Тетя сейчас же собралась и, забрав меня, поехала в Петербург. Ей не был запрещен въезд в столицу. Она надеялась, что ей удастся с помощью настойчивых хлопот сделать что-нибудь для своего воспитанника, которого она любила, как сына. Но в Петербурге она узнала, что сделать абсолютно ничего нельзя. Емельянова арестовали, как непосредственного участника дела 1-го марта, и он не отрицал своего участия. Суд над ним уже состоялся, его приговорили к смертной казни, замененной, вследствие его несовершеннолетия, пожизненной каторгой.

Свидание с ним, после объявления приговора, все-таки дали тете, как воспитательнице, заменившей ему мать. Тетя взяла на свидание и меня. Она считала, что в тогдашних условиях русской жизни не следует держать ребенка под колпаком и ограждать от тяжелых впечатлений, особенно, когда они затрагивают самых близких людей. На Ваню с самых первых лет жизни я привыкла смотреть, как на старшего брата.

До сих пор я помню его лицо, выглядывавшее на нас из-за решетки маленького тюремного окошечка. Я уже была на свиданиях с дядей, но там это было совсем другое. Заключенные в Вышневолоцкой тюрьме казались мне какими-то очень интересными, пожалуй, даже привилегированными людьми, которыми близкие гордятся, и уж, во всяком случае, никто их не боится.

Правда тетя и на этот раз не проявляла ни малейшего страха, но я с детской наблюдательностью все же замечала, что упоминание о нем некоторыми встречалось как-то хмуро, скорей неприязненно, и разговор быстро переводился на другую тему. Я поняла – говорить о нем можно не со всяким, – это тайна, но тайна, непобедимо влекущая.

Несмотря на свой малый возраст – мне было тогда около десяти лет – я постепенно, с помощью настойчивых расспросов, узнала, частью от тети, частью от дяди,

всю фактическую сторону того события, за участие в котором брата постигла такая страшная кара.

Об убийстве Александра II я уже знала. Оказывается, мой Ваня был одним из бомбометателей. Он стоял с бомбой на Екатерининском канале и должен был бросить ее в случае, если первые две бомбы – Гриневецкого и Рысакова – не достигнут цели. Но первой бомбой убило лошадей и кучера, а второй – оторвало ноги у Александра II. Окружающие в страхе разбежались, оставив без всякой помощи смертельно раненного, истекающего кровью, царя.

И вот юноша, державший под мышкой начиненную динамитом коробку из-под конфет, один из первых бросился оказывать помощь умирающему.

Эта картина запечатлелась в моем мозгу так ярко, как будто я видела ее своими глазами. Меня глубоко поразил ее смысл. Я понимала, что для Вани царь был враг, которого он считал своим долгом убить. Но ужасающая картина истекающего кровью, с оторванными ногами человека, заставила его, забыв обо всем на свете, помогать укладывать царя в сани. Террорист не подумал, что у него под мышкой бомба, которая, если выскользнет, убьет его первого, а если его захватят с нею, то казни не избежать. Только, когда царя увезли, Ваня вспомнил о грозящей ему опасности и ушел на конспиративную квартиру. Никому не пришло в голову задержать молодого человека с невинной коробкой конфет, только что помогавшего поднимать царя.

После первого марта Емельянов еще целый год провел в Петербурге на нелегальном положении, помогая восстанавливать распадающуюся организацию.

Показания Рысакова обнаружили участие Емельянова в цареубийстве, его искали и, в конце концов, схватили. Я видела его за решеткой. Его, старшего любимого брата, с которым были связаны мои самые первые детские воспоминания. Это было мое первое серь-

езное горе, и в то же время предмет тайной гордости. Под глубоким секретом я поделилась тайной с одной моей двоюродной сестрой, но потом пожалела об этом: она разделила мои чувства не в той мере, как мне того хотелось.

В то время и еще долгие годы потом Ваня Емельянов был моим идеалом, самым высоким образцом преданности долгу, мужества и самоотверженности. Я мечтала пойти по его стопам, но втайне сознавала, что этот идеал для меня недостижим.

Емельянов тоже не забыл своей сводной сестренки, и через семь лет, выйдя в вольную команду, написал мне так же, как своим воспитателям, и мы с ним переписывались долгие годы, пока он не женился на дочери золотопромышленника, что как-то отдалило меня от него.

В. Г. КОРОЛЕНКО

В 1884 году, на Рождество, у нас была большая семейная радость. Отбыл трехлетний срок ссылки в Восточную Сибирь и возвращался в Россию В. Г. Короленко. Он выбрал местом жительства Нижний Новгород и проездом через Казань остановился у дяди.

Я хорошо помню его в те годы. На десять лет моложе дяди, в 1884 году ему только что исполнилось 30. Он был очень красив – темно-русые вьющиеся волосы, большие, глубокие карие глаза и, по тогдашнему обычаю, густая, курчавая русая борода.

Условия, в каких ему пришлось прожить эти три года – в Якутском улусе, в топившейся по черному юрте, для многих оказались бы непереносимыми. Слабые люди не умели приспосабливаться и часто гибли. Но Короленко, крепкий, сильный, сумел не только уцелеть, а даже заняться непривычной для него работой и еще более окреп. Он распахал девственную землю, посеял

яровую рожь – единственный хлеб, вызревавший там во время короткого, но жаркого лета, косил траву, словом, завел настоящее сельское хозяйство. Зимой он рубил и пилил дрова, благодаря чему не мерз в лютые сибирские морозы.

Но, конечно, зимой работы было мало, и Короленко на досуге записывал свои впечатления и литературно обрабатывал их. Еще до ссылки он пробовал силы в литературе. Его первая повесть «Эпизоды из жизни искателя» была напечатана в «Отечественных записках».

В Сибири он собрал много интересных материалов и еще несколько лет по возвращении из ссылки обрабатывал их. Но один рассказ он привез уже в готовом виде и предложил дяде прочесть его нам. Дядя, конечно, с радостью согласился. Я должна была в тот вечер идти на елку к знакомым, но упросила тетю позволить мне остаться. Я горячо любила Владимира Галактионовича, и необходимость уйти даже на елку, когда он будет читать, сильно огорчала меня. Мои двоюродные сестры смеялись надо мной, но меня это не трогало.

Тетя позволила, и я была в восторге.

Несомненно, я не могла в 11 лет по-настоящему понять и глубоко прочувствовать «Сон Макара», который читал Короленко. Но и содержание, и общий тон рассказа дошли до меня и оставили во мне неизгладимое впечатление, в общем правильное, как я убедилась, когда перечитала этот рассказ взрослой.

Дядя и тетя были поражены цельностью и выдержанностью стиля, глубоким серьезным смыслом рассказа. В авторе чувствовался не начинающий, не новичок, а вполне сложившийся писатель с собственным индивидуальным стилем. Оба они предсказывали ему большое литературное будущее и советовали посвятить все свои силы литературе.

Но Короленко всегда отличался исключительной скромностью и не решался последовать их совету. На

его попечении были в то время мать и сестра с маленькими детьми. Он боялся, что одной литературной работой не сможет обеспечить им безбедное существование. Да он и сам мечтал жениться на девушке, образ которой запечатлелся в его памяти еще с юношеских лет, Авдотье Семеновне Ивановской. Они встречались в Москве и в Петербурге в студенческих кружках, а потом она была тоже выслана в Повенец Олонецкой губернии, и срок ее ссылки кончался.

Дружба Короленко с дядей оживилась и еще более окрепла во время этого краткого свидания. Они полюбили друг друга и чувствовали большую внутреннюю связь и близость в основных точках зрения. Хотя со времени сидения в Вышнем Волочке они жили врозь и занимались разной работой, впечатления их о жизни русской провинции оказались сходными и привели к аналогичным выводам.

Они чувствовали, что могли бы много дать друг другу, и так грустно было опять расставаться. Им обоим очень хотелось жить в одном месте.

Короленко уговаривал дядю тоже перебраться в Нижний Новгород и предлагал ему навести справки, как обстоит дело с земской статистикой в Нижегородской губернии.

Для дяди это оказалось очень кстати. К тому времени у него испортились отношения с председателем губернской земской управы. Под влиянием крупных помещиков Аристов начал придираться к дяде. Он, мол, слишком широко ставит дело, увлекается его теоретической, научной стороной, вовсе не нужной для целей земского обложения.

Дядю эти придирки раздражали. Он не считал возможным ради интересов крупных помещиков искажать свою работу. И дядя, и его помощники, в большинстве своем, были люди принципиальные. Дядя увлек их, заразил своим интересом к существу дела. Они соглаша-

лись работать за самое ничтожное вознаграждение. Дядя готов был сводить до минимума организационные расходы, но поступаться интересами дела, суживать свою программу в угоду земской экономии, дядя не соглашался.

В конце концов, столкновения с Аристовым привели к отказу дяди от места заведующего статистическим бюро Казанского губернского земства.

Короленко уже успел тем временем завязать знакомство с нижегородскими земцами и заинтересовать их постановкой статистической работы в казанской губернии.

Из Нижнего Новгорода дяде прислали приглашение приехать для переговоров. Летом 1886 года вопрос решился. Его пригласили организовать статистическое обследование нижегородской губернии, и он дал свое согласие.

Тете грустно было расставаться с родными, но перспектива жить в одном городе с Короленками очень привлекала ее.

Я училась тогда в Казанской гимназии, но она мне не нравилась, да и с девочками я как-то не сошлась близко. В гимназию я поступила поздно, прямо в пятый класс. Тетя считала, что сможет больше дать мне, занимаясь со мной сама, дома.

ПРИЕЗД В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Наконец, все приготовления закончены, вещи упакованы и отправлены на баржу. Сами мы решили плыть на товаро-пассажирском пароходе Зевеке, чтобы не ждать в Нижнем своих вещей.

Мы распрощались с родными и знакомыми и отправились за 7 верст на пристань на двух извозчиках. На одном тетя с багажом, на другом мы с дядей и Барбоской. Ни трамваев, ни конок тогда не было. Извоз-

чика, по-видимому, удивила честь, оказанная простой дворняжке.

– Собачка-то у вас, видно, по ученой части? – спросил он дядю, оглядываясь.

Дядя не разуверял его. Очевидно, он принял нас за странствующий цирк.

Кода мы приехали на пристань, оказалось, что дядю в тамошней гостинице ждала большая компания друзей и знакомых, приехавших проводить его. Проводы вышли очень теплые. Дядя и тетя совсем не ожидали этого. Особенно близких друзей у них в Казани не было, и тетя не думала, что казанцы за пять лет сумеют так оценить дядю. Это было им обоим, конечно, очень приятно.

Несмотря на летнее время, – мы переезжали в первых числах августа – погода стояла отвратительная, мы с тетей обе за дорогу распростудились и приехали в жестоком гриппе. Между тем, квартиры у нас еще не было, а остановиться у Короленко, где останавливался прежде дядя, не представлялось возможным. В их крошечной квартирке ютились мать, сестра с тремя маленькими детьми, брат Илларион и семья самого Владимира Галактионовича. За прошедшие со времени его возвращения неполные два года он успел жениться на Авдотье Семеновне, и у него уже родилась дочь – Соня.

Не знаю, почему, но дядя устроил нас с тетей не в гостинице, а в земском геологическом музее, в кабинете заведующего. Сам заведующий, геолог Н. М. Сибирцев, удивительно милый человек, принял нас в высшей степени радушно, так что мы чувствовали себя, как дома, расположившись на мягких диванах среди геологических карт и образцов. Простуда наша в теплом помещении, с постоянным самоваром, который ставил для нас добродушный старик-сторож Федор, быстро прошла, и тетя начала энергично искать квартиру, пока дядя налаживал свою работу.

Через неделю мы уже устроились на новом месте. Тетя с дядей так привыкли к кочевой жизни, что устройство на новой квартире не занимало у них много времени. К тому же у них не было никакой привязанности к вещам. У них никогда не было того, что называется «обстановкой». Было минимальное количество необходимых вещей, по возможности удобных, но совершенно не претендующих на выдержанность стиля и даже на красоту.

Тетя, умея шить, не обладала талантом к женским рукодельям и не привила его мне, так что у нас не было никаких салфеточек, ковриков, скатерок и изящных безделушек на этажерочках и столиках. Все было просто, чисто и удобно, но очень скоро жилье приобретало их особый индивидуальный отпечаток, жили ли они в Петербурге, в провинции или в сибирском захолустье.

Такой же приблизительно тон был и в квартире Короленко, особенно, когда они устроились отдельно от матери и сестры, хотя и в одном с ними доме. У Эвелины Осиповны от ее польского происхождения сохранилась склонность по возможности украшать свое жилище, так же, как склонность соблюдать некоторые, установленные традицией, обряды. Впрочем, она давно примирилась с неверием детей.

Она была удивительно милая, любящая, по-польски тонкая, деликатная женщина, ни в чем не стеснявшая своих детей, платиших ей самой горячей любовью. Да ее и нельзя было не любить, и к ней привязывались все, бывавшие у Короленок.

Владимир Галактионович нежно любил и мать, и сестру, и своих маленьких племянников. Все, что случалось внизу, у матери и сестры, какие-нибудь неприятности, болезни детей переживались им так же, как и происходившее в его собственной семье.

Помню один характерный эпизод. Дети его сестры заболели скарлатиной. Старший, единственный

мальчик в обеих семьях, умер за одни сутки, раньше, чем доктор определил болезнь. Вслед за ним заболели две младшие сестры уже явно скарлатиной.

У самого Владимира Галактионовича были в то время две маленькие дочки, и жена его, само собой понятно, боялась для них заразы, чрезвычайно опасной в младенческом возрасте.

Все сношения между верхом и низом были прерваны. Но Владимир Галактионович придумал выход в этой трагической ситуации. Он не мог остаться в стороне, не мог не придти на помощь сестре и матери. Спускаясь вниз, он оставлял на открытой террасе все, что на нем было, включая обувь, и надевал заранее приготовленную смену. Возвращаясь, он опять переодевался и становился абсолютно безопасным для своих детей.

Его дочери не заболели, хотя он раза два в день навещал сестру, ходил для нее в аптеку, за доктором, ободрял ее и мать, ласкал племянниц и вносил тепло и свет в пораженную горем и тревогой семью.

Но дело было зимой и, несмотря на крепкое здоровье Владимира Галактионовича, переодевание на морозе в обледеневшую одежду не прошло для него даром. Он сильно простудился, не обратил на это никакого внимания и в результате потерял на всю жизнь слух на одно ухо. Наверное, если бы он и предвидел это, он поступил бы так же.

И так же или аналогично он поступал не только ради близких, кровных родных, но и ради каждого, нуждавшегося в его помощи. При виде горя или серьезной беды, постигшей кого-нибудь из окружающих, он забывал о себе, поглощенный исключительно желанием помочь.

Но не было в нем и тени сентиментальности. Растрогать его слезами и жалобами было нелегко. Он безошибочным чутьем умел распознать истинное горе и

оставался равнодушен ко всему наигранному, искусственному.

Скоро его отзывчивость стала известна многим в Нижнем. В его двери постоянно стучались разные несчастливцы, и редко кто уходил без поддержки. Жена его вскоре привыкла не находить в платяном шкафу то старого пиджака или брюк, то поношенной, но еще годной пары ботинок. И, конечно, не всегда они оказывались на плечах или на ногах человека, которого приводила безвыходная нужда. Разумеется, обеспеченный человек не шел за такими вещами – деньги Короленко давал только в исключительных случаях. Но и бедняк не всегда мог устоять против искушения. Случалось – пиджак Короленко оказывался в трактире, а злополучный владелец приходил к нему вновь в прежних лохмотьях.

В Короленко это не вызывало праведного гнева. Он знал, что человек слаб и только злостные, неисправимые пропойцы не могли рассчитывать на подмогу.

Как только он поселился в Нижнем, его заинтересовала местная жизнь и люди. Он не хотел быть в этом городе чужестранцем, случайным проезжим. Его интересовала жизнь самых разнообразных слоев населения, не только в самом городе, но и в губернии. Иногда он просил взять его на статистическое обследование, например, Павловского района, где занимались кустарным промыслом. Он как будто чувствовал, что уклад жизни кустарных артелей, картинами которого так восхищались народники, весьма далек от истины. Побывав несколько раз в Павлове, и вместе со статистиками, и один, он хорошо познакомился с неприглядной действительностью. Результатом явились его «Павловские очерки». Их трудно было читать равнодушно, такие страшные картины они изображали. Забитые, совершенно отупевшие от ужасных условий жизни и беспросветной работы, продолжавшейся чуть не круглые сутки, в которой участвовала вся семья, включая шес-

ти-семилетних детей, кустари получали за нее жалкие гроши. Скупщики эксплуатировали их ничуть не меньше, чем фабриканты рабочих. А изделия их, выработанные адским трудом, отличались скверным качеством. Их ножами и ножницами можно было только «дым резать». Борьба неорганизованных, отупевших кустарей со скупщиками была еще безнадежнее, чем борьба рабочих с предпринимателями.

Народнические иллюзии под его праведным пером разлетались в прах. Последовательные народники крайне неодобрительно отнеслись к его очеркам.

Интересовала Короленко не только материальная сторона жизни народа, но и его духовные потребности и стремления. Нижегородская губерния открывала много возможностей для проникновения и в эту область. И здесь он беспощадно разрушал прекраснодушные иллюзии народников.

В Нижегородской губернии находилась особенно чествуемая православными икона Оранской Божьей матери. Ее ежегодно приносили в Нижний. Встреча и проводы ее собирали громадные массы горожан и крестьян из окрестных сел и деревень. Стотысячные толпы сопровождали икону по дорогам, которыми несло ее духовенство и верующие.

С другой стороны, в Нижегородской губернии жило множество раскольников разных толков. Здесь располагалась их святыня – озеро Светлояр, где по преданиям затонул град Китеж.

Туда тоже ежегодно в определенный срок стекались тысячи «уклонившихся от православия», и происходили оживленные прения между представителями разных толков и вероучений.

Короленко живо интересовали и те, и другие сборища. Он провожал икону Оранской Божьей матери, прислушиваясь к разговорам православных. Он ездил в Светлояр, слушая словопрения раскольников. Но ни

среди православных, ни среди раскольников, добросовестный и беспристрастный, ни разу не подслушал он трепета живой веры. У православных проводы иконы давно превратились в повод для всяких чисто мирских целей. Духовенство смотрело на них, как на подсобный заработок. Миряне откровенно собирались веселыми компаниями для кутежей. Только немногие связывали встречу иконы Оранской Божьей матери с выполнением каких-нибудь религиозных обрядов, и то внешних, внушенных грубым суеверием. В раскольничьих сборищах дело обстояло не лучше. Там буква давно убила дух, и прения носили чисто словесный, отвлеченно-книжный характер.

Зато писатель во время этих странствий собирал богатый бытовой материал, дававший ему возможность создавать такие живые и типичные образы, как Тюлин в рассказе «Река играет» или Андрей Иванович в очерке «За иконой».

Некоторые находили, что прототипом для создания образа Андрея Ивановича, по крайней мере некоторых его черт, послужил для Короленко А. И. Богданович. Но сам Владимир Галактионович обычно отшучивался, когда речь заходила об Андрее Ивановиче, и совершенно не признавал этого.

Странствуя, Короленко свел много знакомств с людьми, каких бы он никогда не встретил, живя в городе и вращаясь в кругу местной интеллигенции. Знакомства продолжались годами. Своеобразные знакомцы посещали его и в городе, забрасываемые туда превратностями судеб. Главным образом, посещения связывались с постигшей их в пути какой-либо бедой. Короленко, если мог, охотно помогал им, не читая при этом досадных рацей.

Среди городских низов у него тоже были многочисленные знакомства и несколько постоянных клиентов.

И дядя относился с большой терпимостью к человеческим слабостям. С Владимиром Галактионовичем у них случались общие клиенты, переходившие от одного к другому, когда чувствовали, что терпение одного из них начинает истощаться.

Помню некоего Васильева, безнадежного пьяницу, которого дядя несколько раз по просьбе его жены выкупал из трактира, где он умудрялся пропить с себя все, до последней нитки.

Наконец, Короленко решил сделать опыт, не подействует ли на Васильева свежий воздух, и поручил его для вытрезвления своему зятю, Н. А. Лошкареву, капитану небольшого парохода. Но из этого ничего путного не вышло.

Лошкарев отнесся очень добросовестно к порученной ему задаче. Он дал распоряжение буфетчику не отпускать Васильеву в долг никаких крепких напитков, а на пристанях выпускал его на берег только в сопровождении матроса.

Но матрос с поручением справиться не смог.

– Идем мы, я его все к берегу отжимаю, а он норовит к трактиру причалить.

В конце концов, Васильев бросил таки якорь в одном из прибрежных трактиров, и на пароход его доставили мертвецки пьяным. Несчастный вернулся в Нижний неисправленным и продолжал терроризировать всех своих знакомых.

Зная, что ничего не получит от Короленко, пьяный, он терпеливо выжидал за углом, когда тот выйдет из дома. Затем, оттолкнув прислугу, он вламывался в столовую и заявлял Авдотье Семеновне, что не уйдет, пока не получит двугривенный, чтобы опохмелиться. Получив отказ, он сбрасывал пиджак и угрожал снять с себя все, если не получит денег. Приходилось уступать во избежание скандала.

Скоро наша жизнь в Нижнем наладилась. Тетя наняла кухарку, прожившую у нас до нашего отъезда из Нижнего. Она, правда, не пила, как старая Никаноровна, но была гораздо менее симпатична. В первую же неделю она меня страшно напугала.

Раз вечером дядя с тетей куда-то ушли, а я осталась учить уроки. Часов у нас не было, кроме дядиных, карманных, но в кухне висели ходики. Я, выйдя в коридор, крикнула?

– Степанида, который час?

– Восемь, барышня, или нет – половина девятого, – ответила она как-то смущенно.

Тогда я сама пошла в кухню, взглянула на часы и в то же время увидела искоса, что за дверью в углу, спрятавшись, стоит мужик в красной рубахе.

Сердце у меня упало. Я решила, что это разбойник, и они со Степанидой хотят меня убить. Не показывая вида, я вернулась в комнаты и стала обдумывать, что мне делать. Лечь спать я была не в состоянии. Теперь, прислушиваясь, я улавливала их шепот. Очевидно, сговариваются. Уйти из дома ночью мне тоже было страшно. Я оделась и, стоя в передней у открытой двери, позвала:

– Степанида, проводите меня. Мне нужно к Елпатьевским.

Это были наши знакомые, жившие близко от нас.

Я считала, что на улице Степанида ничего мне не сможет сделать. А дядя, вернувшись, наверное, догадается, что что-то случилось и придет за мной.

Так и было. Дядя, очень удивленный, пришел за мной. Я рассказала ему обо всем. Он успокоил меня. Привел домой и запер на ключ дверь в кухню.

Они с тетей, конечно, поняли: ни о каком разбойничьем нападении тут не было и помина. Просто Степанида в отсутствии хозяев принимала своего друга. Но тем не менее дядя сильно рассердился. Я еще никогда

не видела его таким. В кухонные дела он совершенно не вмешивался. И я никогда не слышала, чтобы он повысил голос на прислугу. Но тут он вышел из себя и потребовал, чтобы тетя сейчас же рассчитала ее.

– Мы оставили на ваше попечение девочку, – сердито крикнул он, когда она пришла объясняться, – а вы так напугали ее.

До расчета дело, правда, не дошло. Степанида просила извинения, говорила, она-де только потому и спрятала своего друга, что боялась напугать меня, и он, вот уж точно, больше никогда не переступит ее порога.

Тетя вовсе этого не требовала. Она только, как и дядя, сердилась из-за моего испуга и терпеть не могла обмана.

Степанида осталась и прожила у нас девять лет. Друг бывал у нее уже открыто, но вообще особой честностью она никогда не отличалась. Такой дружбы, как с Никаноровной, у нашей семьи с ней не завязалось.

У тети с дядей скоро образовался круг близких знакомых. Кроме Короленок, с которыми установились не просто дружеские и близкие, но, можно сказать, тесные родственные отношения, тетя с дядей сблизились с Елпатьевскими. Он был прекрасный доктор, всегда лечивший и нас, и Короленок и, кроме того, писатель, далеко не лишенный таланта, хотя и не очень крупного. В Нижнем он поселился, тоже отбыв срок ссылки.

Потом шел Соловьев – председатель земской управы, человек очень неглупый и честный, но чрезвычайно осторожный. Дальше к тесному кругу наших друзей принадлежали дядины помощники по статистике, молодые люди, окончившие Московский университет или Тимирязевскую академию.

Все они, приезжая в Нижний, приходили знакомиться с дядей и получали от него не только указания по работе, но и всяческие житейские советы и приглашения почаще бывать у нас. Дядя умел так ободрить их,

так приветливо и весело встретить, что они сразу чувствовали себя в чужом городе, как на родине, а в нашей семье, как в родном доме.

Тетя при всем своем сдержанном и замкнутом характере одной своей тихой, ласковой улыбкой ободряла людей больше, чем иной человек целой приветственной речью.

Я хорошо помню приезд почти каждого из дядиных статистиков.

Один из них, Ярослав Григорьевич Сипович, кавказец, окончивший Петровско-Разумовскую академию, приехал, когда дядя был на работе в уезде, а тетя ушла куда-то по делу. Дома оставались только тетя Маша и я.

Он оказался очень красивым молодым кавказцем, только с русыми волосами и серыми глазами. Пробыв четыре года в Москве в академии, он умудрился сохранить кавказскую непосредственность, соединенную с крайней юношеской застенчивостью. Мы с тетей употребили массу усилий, чтобы его ободрить, но это нам плохо удавалось, и он только еще больше смущался.

Мне кажется, если бы я была одна, я, несмотря на свою молодость, скорее сговорилась бы с ним. Но стоило мне взглянуть на тетю, я замечала насмешливые искорки в ее глазах, и мне приходилось думать только о том, чтобы самой не рассмеяться. Ничего смешного в нем не было, разве что некоторые неправильности языка.

– Хорошо ли доехали из Москвы? – приветливо спрашивала тетя.

– Ничэго, харашо. Только в вагоне все были набиты битками.

Я не смотрела на тетю Машу и надеялась, что она не заметила этой обмолвки.

Но она, конечно, отметила ее, и долгое время мы с ней не могли заговорить об этом милом юноше, чтобы

не вспомнить, как он ехал в вагоне, где все были набиты битками.

Слава Богу, сам он не заметил своей обмолвки и скоро стал, как и все, чувствовать себя у нас, как дома. Я до сих пор отчетливо помню слегка гортанные звуки его голоса и мягкие, немного кошачьи движения.

К несчастью, он вывез с Кавказа не только гортанный голос, но и кавказскую лихорадку, которая в несколько лет скосила этого милого, привлекательного юношу.

Совершенно другое впечатление производил могучий сибиряк В., точно вытесанный целиком из сибирской сосны не слишком умелым сибирским плотником. Он подкупал всех своим неисчерпаемым добродушием и прекрасным умением петь сибирские песни.

В особенности неподражаемо пел он свою любимую песню:

Раз сибирский генерал
Станового распекал...

При ее звуках мне невольно вспоминается мощная фигура этого простодушного сибиряка.

Дядя считал наиболее ценным помощником маленького сухощавого петровца Осипа Эдуардовича Шмидта. Ему он передал заведывание статистическим бюро, когда сам уехал в Петербург.

Осип Эдуардович при чрезвычайно маленьком росте и худобе отличался огромным носом. Дядя говорил, что, если Осипа Эдуардовича куда-нибудь приглашали, то нос его приходил накануне.

При этом Шмидт был крайне щепетильным и обидчивым. В особенности обижало его, когда по рассеянности путали его имя и вместо Осипа Эдуардовича, называли Эдуардом Осиповичем. Один молодой присяжный поверенный именно так и нажил себе в нем непримиримого врага. Шмидт в отместку неизменно и под-

черкнуто называл его Робертом Георгиевичем вместо Георгия Робертовича, думая, что наносит ему тем тяжкую обиду.

Одно из самых ярких воспоминаний оставил во мне дядин сотрудник К., несколько более взрослый, чем вся эта молодежь. Он тоже окончил Петровскую академию, но раньше. Будучи убежденным толстовцем, после окончания академии вместе со своим другом, тоже толстовцем, он поселился на Кавказе, чтобы жить трудами своих рук.

Этот друг, по отзывам всех, знавших его, был человеком чрезвычайно честным и требовательным к себе. Несколькими годами ранее он встретился с женщиной, так поразившей его, что, несмотря на свое искреннее толстовство, он без памяти влюбился. И хотя женщина была замужем и имела сына, он увез ее от мужа и стал жить с ней вместе.

Судьбе было угодно заставить К. испытать ту же участь. Поселившись вместе со своим другом и его женой, он точно так же беззаветно влюбился в эту женщину, и тоже, несмотря на искреннюю дружбу с ее мужем, не смог противостоять соблазну, и увез от него жену, как тот, в свою очередь, увез ее от ее первого мужа.

Дяде рекомендовали К. как прекрасного работника, ищущего в данное время работу. Дядя пригласил его. Не помню как, но его романтическая история предшествовала появлению его в Нижнем.

Там жил тогда сын его жены от первого брака, студент, высланный в Нижний из Москвы.

Легко себе представить, с каким интересом мы, женская молодежь, ждали появления в Нижнем этой романтической пары.

При первом взгляде на К., каждый поручился бы, что это воплощенная честность и прямодушие.

Со смуглого, покрытого несходящим кавказским загаром лица, смотрели такие младенчески ясные голубые глаза, каких мне никогда больше не случилось увидеть на мужском лице.

Всякий, без малейшего колебания, вверил бы ему самое свое драгоценное сокровище. И действительно, во всех случаях, кроме того, о котором я упомянула, он бы не ошибся.

Как работник он тоже оказался безукоризненным.

Надо сознаться, нас это интересовало гораздо меньше. Но вот «Кавказская Тамара», завлекшая в свои сети трех серьезных и глубоко порядочных мужчин, заинтриговала нас исключительно.

Впервые встретившись с нею, мы были просто чрезвычайно изумлены.

Представьте себе немолодую женщину, одетую, как одевались тогда мещанки, в гладкую ситцевую юбку и широкую ситцевую кофту, с жидкими волосами, причесанными гладко на пробор, с небольшими серыми глазами и незначительными чертами лица. При встрече с ней никому бы и в голову не пришел вопрос, красива ли она.

Прошло несколько месяцев, прежде чем ее тайна немного приоткрылась.

Она ждала ребенка. По законам того времени, с кем бы женщина ни жила, пусть и совершенно открыто, родившийся у нее ребенок записывался за ее законным мужем.

Этого ни она, ни ее фактический муж, ни в коем случае допустить не хотели.

И вот, что они придумали.

Когда подошел срок, она попросила мужа уйти из дома и не возвращаться до тех пор, пока она не выставит на окно свечу.

Наступили роды. Она проделала все совершенно одна. Затем она вымылась, вымыла ребенка, убрала

квартиру, даже вымыла пол. Запеленала ребенка, положила в корзиночку и вынесла на крыльцо. Только после этого она поставила свечу на окно.

Вернувшийся муж пошел в полицию и заявил, что ему подкинули ребенка. Он желает взять его и законно усыновить.

Явился полицейский, вошел в квартиру, где, конечно, ничего подозрительного не заметил, и тут же составил акт. Новорожденный младенец, девочка, был узаконен, как дочь своего приемного отца, получив его фамилию.

Крестила девочку моя тетя.

Мне думается, что именно в этой железной силе воли и заключалась разгадка той власти, какой неизменно подчинялись сталкивавшиеся с ней более слабые мужчины.

Тетя долго следила за участью своей крестницы. Отец ее, к несчастью, довольно скоро умер. Мать не надолго пережила его. Некоторое время Аня, по желанию матери, оставалась на Кавказе. Когда мы переехали из Нижнего, то, к сожалению, потеряли ее из виду.

Ее старший брат умер от кровотечения из носа, еще в бытность нашу в Нижнем. У него оказалась гемофилия, как у цесаревича, сына Николая II. Быть может, если бы ему возложил руку на голову какой-нибудь гипнотизер типа Распутина, не раз останавливавший кровотечение у цесаревича именно наложением руки ему на голову, он бы на этот раз и выздоровел. Но никакого Распутина в Нижнем не оказалось, и юноша постепенно угас.

Я навещала его в больнице и помню это красивое юношеское лицо, не бледное, а именно белое, как бумага. Страшно было смотреть, как капля за каплей, медленно, но неуклонно вытекала из него жизнь.

Медицина в то время не знала средств против этой страшной, но, по счастью, редкой болезни.

КРУЖКИ МОЛОДЕЖИ. ПРИЕЗД МОСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ. СПОРЫ МЕЖДУ НАРОДНИКАМИ И МАРКСИСТАМИ

В первые годы пребывания в Нижнем я не входила в круг жизни взрослых, хотя родственные отношения с семьей Короленок распространялись, конечно, и на меня. Владимир Галактионович называл себя моим содядюшкой. Он так и надписал свою первую книгу Сибирских рассказов, подаренную лично мне к моей бесконечной гордости.

Единственный человек, признававший меня взрослой и начавший называть меня по имени и отчеству, – к моему большому смущению, был мой будущий муж, Ангел Иванович Богданович.

Он был выслан в Нижний к матери после исключения из Киевского университета и привлечения к делу подпольной организации, разбиравшемуся в военном суде. Против всякого ожидания Богданович был оправдан военным судом, хотя это было в годы жестокой реакции, пожалуй, наиболее жестокой именно в Киеве. Единственным пунктом обвинения были найденные у него при обыске 23 запятые из типографского шрифта, выкраденного, по подозрению, из какой-то гласной типографии для организации нелегальной типографии.

На суде Богданович произнес речь, которая произвела даже на военных судей такое впечатление, что они вынесли ему оправдательный приговор. В основу его речи были положены преступные запятые.

Я впоследствии была несколько удивлена, узнав об ораторской победе моего мужа. Он не любил говорить публично, никогда, ни на каких собраниях не выступал и, насколько я могу судить, красноречием не обладал.

В Нижнем он жил с Короленками, так что я сразу познакомилась с ним. Я, конечно, стеснялась его, как

всех мало знакомых взрослых и смущалась, когда он заговаривал со мной. Впрочем, это случалось редко, он был замкнутым и мало разговорчивым человеком. Но в то же время, он принадлежал к распространенному тогда типу развивателей. С ними мне до тех пор еще не приходилось сталкиваться. Однажды, на каких-то именинах у Короленок была небольшая выпивка. Ангел Иванович, вообще совершенно не пивший, от двух-трех рюмок пришел в некоторое возбуждение, и язык его развязался. Его охватил развивательский жар, а объектом своей пропаганды он избрал меня. Он стал развивать мне теорию неизбежности борьбы между отцами и детьми. Я еще не читала тогда «Отцов и детей» Тургенева, но самая мысль показалась мне чрезвычайно странной. Мои «отцы» были для меня всегда такими высокими образцами всего лучшего, что я не представляла себе, из-за чего я могла бы с ними бороться. Единственное, в чем я была с ними до тех пор не согласна, это религиозный вопрос. Но я инстинктивно чувствовала, что дело идет не об этом, и что в этой области мой собеседник будет, наверное, не на моей стороне. «Отцы», в данном случае дядя, тетя и Владимир Галактионович, тихонько пересмеивались, слыша краем уха эту пропаганду, но не вмешивались. Они понимали, что с развивателями мне неизбежно придется столкнуться, и надо понемногу начинать самой разбираться в вопросах, волновавших тогдашнюю молодежь, хотя для меня, в 14 лет, это было, пожалуй, еще рановато.

Впрочем, на этом развивательские попытки Ангела Ивановича прекратились. Должно быть, почва показалась ему не слишком благодарной, а без некоторого возбуждения он не чувствовал необходимого жара. Наше неожиданное знакомство надолго прервалось.

Все мои интересы в тот период были связаны с гимназией. Нижегородская гимназия понравилась мне куда больше, чем Казанская. Тут я сразу тесно сблизилась с

несколькими подругами. Связь эта продолжалась и по окончании гимназии. Подруги стали часто бывать у меня дома и скоро полюбили тетю и, по обыкновению, были очарованы дядей.

Мы увлекались литературой, много читали, и порознь, и вместе. Кроме классиков – Толстого, Тургенева (я поняла теперь, о каких «отцах» говорил Богданович), нам начали попадаться так называемые тенденциозные романы, например «Что делать?» Чернышевского, «Шаг за шагом» Омулевского, «Знамение времени» Мордовцева. Нас заинтересовали общественные и политические вопросы.

К концу шестого класса в наш гимназический кружок попытался проникнуть развиватель, молодой поэт из семинаристов. Но нам самим хотелось разобраться в разных вопросах, а не глотать разжеванную пищу. В то же время мы сознавали, что как-то отстали, что гимназисты больше нас читали и лучше разбираются в прочитанном. Вот если бы устроить кружок вместе с гимназистами! Но, как назло, ни у одной из нас не было братьев-гимназистов и даже ни одного знакомого гимназиста. Только у одной девочки бывал дома репетитор ее младшего брата, гимназист-восьмиклассник, но она сама не была с ним знакома. Мы коллективно написали ему письмо, предлагая устроить совместный кружок самообразования и, если у них в классе найдутся желающие, придти для переговоров ко мне. У меня одной была отдельная маленькая комната.

От дяди с тетей мы не скрывали нашего замысла. С большим волнением мы, пять гимназисток седьмого класса, ждали прихода гимназистов-восьмиклассников.

Их тогда пришло трое, но всех желающих тоже было пятеро. Как мы и думали, гимназисты оказались гораздо начитаннее нас и посвященнее в дела и интересы учащейся молодежи. У некоторых были знакомые

студенты, приезжавшие на каникулы в Нижний. Они охотно согласились устроить совместный кружок.

Наше предложение вызвало у них поначалу большое волнение. Они колебались, думая, что это только предлог для знакомства с целью заняться флиртом. Правда, некоторые ничего против этого не имели. Но они сразу поняли, увидев нас, что мы относимся к делу в высшей степени серьезно и о легкомыслии нет и речи.

Гимназисты вполне одобрили наше решение не приглашать руководителя, но выработать заранее программу занятий они считали необходимым. Мы все согласились не читать на кружке художественные произведения, это займет слишком много времени, их каждый должен прочитать самостоятельно. Сообща, мы будем читать только критические и публицистические статьи. На всякий случай, они принесли с собой, ходившие тогда по рукам, программы чтения для самообразования и для занятий в кружках. Решили начать с Белинского, потом Добролюбова, прочесть обязательные тогда «Исторические письма» Миртова (Лаврова), некоторые статьи Чернышевского, Писарева, хотя против него кое-кто возражал, Ткачева, Герцена и некоторые нелегальные брошюры, вроде «Четырех братьев», «Царя-голода» и письмо Цебриковой.

Словом, оппозиционное, пожалуй, даже революционное направление будущего кружка определилось сразу без особых обсуждений.

Собираться мы решили по субботам у меня.

Тетя с дядей не стесняли меня, наоборот, всячески помогали. Чтобы не мешать нам, каждую субботу они уходили на весь вечер или к Короленкам, или вместе с ними к кому-нибудь из знакомых. В нашем распоряжении оставались две комнаты – моя и находившийся рядом с ней небольшой дядин кабинет, куда нам приносили чай и бутерброды, заранее приготовленные тетей.

Первое время большинство моих подруг стеснялись, предоставляя высказываться гимназистам. Но понемногу втянулись и мы. Сначала я, привыкшая говорить с «большими», а затем и остальные.

Наиболее речистым был один красивый гимназист, предмет моего первого, очень кратковременного увлечения, играющий роль вожака класса.

К сожалению, этот начитанный, красивый юноша в моральном отношении оказался довольно низкопробным. В университете он был изобличен в антиобщественных и нетоварищеских поступках. Он исповедовался мне на каникулах, и я – сердце не камень – была склонна простить его. Но впоследствии он покатился по наклонной плоскости, и наше знакомство прервалось.

В память о нем у меня остался мой первый и едва ли не последний не вполне удачный стихотворный опыт, скрытый мною ото всех, кроме моей ближайшей подруги Оли Чачиной.

...Под руку медленно
Шли мы вдвоем.
Он говорил о страданьях народа
И о тяжелой борьбе впереди,
И о труде, и о многом другом.
Он говорил.... И так дивно звучали
Мне вдохновенные речи его...

Пока длился наш кружок, он еще ни в чем не погрешил и казался нам будущим вождем и героем, конечно, революционным.

Как это ни странно, но, несмотря на постоянные встречи, даже помимо кружковых суббот, и на взаимный интерес и дружеские отношения между всеми, в нашем кружке не завязалось ни одного романа. Исключение составило только мое краткое увлечение, и то ограничившееся лишь взглядами и отдаленными наме-

ками во время совместных игр или катаний на праздниках.

Очень уж все мы были серьезно настроены и смотрели на наш кружок, как на подготовку к важному общественному делу. Но характер этого дела, кроме только его общереволюционного настроения, был для нас самих не ясен.

Наши разговоры носили народническую окраску, но такую неопределенную, что при первых серьезных возражениях она могла легко слинять. Это и случилось с большинством из нас довольно скоро, с теми, конечно, кто не отошел вообще от юношеских увлечений, и кого не затянула обывательская тина.

Пришла весна, и наши товарищи стали собираться в университет, но их престиж к этому времени значительно померк.

Их сменили новые герои.

В Москве в это время произошли студенческие волнения. Многих студентов исключили из университета и административно выслали.

Слухи о нижегородской интеллигенции доходили и до Москвы, и некоторые исключенные студенты выбрали Нижний своим временным местожительством.

Для Нижнего это было крупным событием.

До тех пор туда приезжали на каникулы только свои бывшие гимназисты. А тут явились новые, притом исключенные, с ореолом пострадавших политических борцов.

Гимназистки взволновались чрезвычайно. Мы ведь были единственными представительницами женской учащейся молодежи и чувствовали, что на безрыбье и нас могут заметить студенты. Была в Нижнем и одна курсистка с фельдшерских курсов, знакомая с некоторыми из наехавших студентов. Мы тоже ее знали, и она-то познакомила нас с ними.

Это было на страстной неделе. Всякие сборища в такие, отмечаемые всеми православными дни, строго запрещались традицией. Но... ждать ни мы, ни они были не в состоянии. Кроме того, мы боялись скомпрометировать себя, показавшись в глазах студентов религиозными. Лично мой религиозный кризис уже миновал, и я считала себя атеисткой.

Начались поиски помещения для вечеринки, какое соблазнительное слово, в четверг, на страстной неделе. Это всех хозяев приводило в ужас. Наконец, нашлась довольно большая низкая комната, где жили знакомые фельдшерицы. На них хозяева давно махнули рукой – все равно отпетые.

К нашему удивлению, студенты настаивали на приглашении Анненского и Короленко. О них они слышали в Москве и очень интересовались их отношением к жгучим современным вопросам.

А мы-то, глупые, не сумели оценить их, сторонились их, как «взрослых», доказывая тем, что сами себя считали детьми.

Помню, с каким трепетом собирались мы на эту первую настоящую студенческую вечеринку.

Здесь, на этой вечеринке, и вообще в этот период в Нижнем, я познакомилась с несколькими студентами, знакомство с которыми продолжалось и после моего переезда в Петербург.

Особенно сильное впечатление произвел на меня Леонид Борисович Красин, к которому в Нижний приехала его невеста Миловидова. Трудно было встретить более красивую и привлекательную пару. Оба высокие, стройные. Он – брюнет, она – шатенка. Казалось, природа специально создала их друг для друга.

При этом мы слыхали, что их не разделяют никакие принципиальные разногласия, что тогда казалось чрезвычайно существенным. Мы заранее рисовали картины их безоблачного счастья.

Приехав в Петербург, я довольно скоро встретилась с Миловидовой. Я считала неудобным спрашивать ее о Красине, но пребывала в уверенности, что он не замедлит присоединиться к ней.

Но он уехал на Кавказ, а Миловидова вышла замуж за Кудрявцева.

В чем тут было дело, я не знала, да и не старалась узнать. Я чувствовала только горькое разочарование и боль. Не такую, разумеется, как заинтересованные лица, но все же очень чувствительную.

Мои иллюзии разлетелись в прах. Я убедилась, что человеческие отношения гораздо сложнее, чем это кажется в 16 лет.

Несколько лет спустя Миловидова разошлась с Кудрявцевым, а еще через некоторое время вышла-таки замуж за Красина, не подозревая, конечно, какое удовлетворение доставила этим мне. Мы иногда встречались, но были не настолько близки, чтобы касаться таких интимных сторон жизни.

В ту же весну я познакомилась с Николаем Петровичем Ашешовым. Судьба не раз сводила меня с ним и впоследствии, во время моей журнальной работы, и я всегда встречала в нем доброго товарища.

Но его романтические дела мне тогда как-то не нравились. Он завел флирт с одной из наших одноклассниц, вышедшей из гимназии по окончании 6-го класса. Мне казалось, что флирт этот носил с обеих сторон явно несерьезный характер, а я к этому относилась крайне неодобрительно.

Однако, когда Ашешов получил разрешение продолжить университетское образование и уехал осенью в Москву, флиртовавшая с ним гимназистка поехала вслед за ним. А через некоторое время мы узнали, что они повенчались в Москве. Очевидно, дело было серьезнее, чем мы себе вообразили на том основании, что она не окончила гимназии.

Между тем мы сами вовсе не считали гимназический курс обязательным для получения общего образования.

И тем не менее наше чутье не обмануло нас, их брак не оказался прочным. Вскоре он распался, к счастью, без всяких трагедий.

Третий студент, с которым я тогда познакомилась, был Андрей Александрович Аргунов, чуть не единственный из приехавших студентов, оставшийся верным народничеству, тогда как огромное большинство пошло за вождями нового течения.

Мои подруги, уехавшие в Москву, поддерживали с Аргуновым дружеские отношения, но я в то время настолько отдалилась от народничества, что это повлияло и на охлаждение моих отношений с Аргуновым.

Кроме приезжих, на вечеринке собрались и некоторые нижегородские ссыльные. С ними мы тоже до сих пор не встречались. Пришли и дядя, и Владимир Галактионович.

Фельдшерица познакомила нас с несколькими студентами, не отказывавшимися просто поболтать с молоденькими девочками. Но большинство с презрением смотрели на желторотых гимназисток. Они были так же принципиальны, как мы сами. Их интересовали только принципиальные споры и мнения представителей другого поколения интеллигенции. Мы со страстным интересом прислушивались к завязавшимся спорам, и перед нами открывался целый новый мир. Оказывалось, что революционные стремления это еще далеко не все. Между различными направлениями революционеров целая пропасть, и они относятся друг к другу не только подозрительно, но некоторые даже враждебно, особенно молодежь. Наши «отцы», которых мы стеснялись, но в то же время ставили недосягаемо высоко, для этой молодежи действительно были «отцы», вроде стариков Кирсановых, отжившие, устаревшие народни-

ки, а мы-то считали, что название «народник» – величайшая честь.

Новое направление еще не определилось тогда вполне, намечались только его основные черты, и выяснилось оно главным образом на полемике с народниками. Причем всех, не соглашавшихся с новыми взглядами, московская молодежь стремилась свалить в одну кучу, окрестив народниками. Но даже я, при всей своей неподготовленности и наивности, знала, что и дядя, и Короленко относились к народникам крайне отрицательно.

Как же так? Почему их соединяют с теми прекраснодушными народническими писателями, которых они не признавали? Неужели за то, что и те, и другие стоят «за народ»? Это казалось нам какой-то непонятной ересью. А между тем непосредственный интерес влек нас к молодежи, проповедовавшей всегда самое новое, передовое.

Надо было непременно хорошенько разобраться в этих новых идеях. Не может быть, чтоб исключенные студенты проповедовали что-нибудь нехорошее, несправедливое.

Задача оказалась трудной. К нашим новым знакомым обращаться было неудобно. Им скучно было объяснять нам такие, с их точки зрения «азы». А наши «отцы» явно не могли быть нашими руководителями на новых путях. Я вспомнила тут своего первого развивателя, А. И. Богдановича. Я предчувствовала, и на этот раз правильно, что именно он мог бы вывести нас на правильный путь.

Это и случилось, но много позднее. В это время его не было в Нижнем. Он переехал в Казань и редактировал газету «Волжский вестник».

Так мы и остались на время со своими недоумениями. Студенты разъехались, а мы должны были кончать гимназию – мы ведь только что перешли в последний восьмой класс.

Приезд московских студентов сыграл для нас большую роль. Мы как-то почувствовали себя взрослее. Кончилось наше отрочество. Мы входили в ряды учащейся молодежи и уже не боялись так «взрослых», как до сих пор. Студенты не только не поссорили нас с «отцами», а даже как будто сблизили с ними. Они стали для нас не только кровными родными, но и близкими и, во всяком случае, очень интересными людьми.

Теперь я иногда принимала участие в их разговорах, и Владимир Галактионович стал играть в моей жизни еще большую роль.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. МЕСТНАЯ ПРЕССА

Жизнь наших «отцов» в Нижнем была очень наполнена. Короленко, хотя он тогда и бросил всякую службу и жил исключительно литературой, никогда не мог с головой уйти в художественное творчество. Кипевшая вокруг жизнь притягивала его, и он постоянно отвлекался от беллетристики, чтобы взяться за перо публициста и принять участие в местных делах и общественной борьбе. И его участие часто имело решающее значение.

Помню, как блестяще он провел операцию против воротил банка. Богатые дворяне-помещики привыкли считать себя бесконтрольными хозяевами банка. Привлекая в него в качестве вкладчиков мелкий люд, они щедрой рукой раздавали ссуды «своим» людям, высоко оценивая их имения. Банковские дела все более запутывались, а ревизионные комиссии, тоже из «своих», сквозь пальцы смотрели на отчеты правления, подвергая риску разорения всех мелких вкладчиков.

Короленко узнал о махинациях и начал кампанию в Казанской газете. К кампании он привлек А. И. Богдановича. В «Нижегородском листке» цензура не пропускала нападок на банк, а в Казани, в «Волжском вест-

нике» ничего, печатали. Опубликованные сведения произвели настоящую сенсацию. Вкладчики заволновались. Стали требовать правительственной ревизии. Дело кончилось судом над банковскими воротилами. Главный виновник покончил с собой, не дожидаясь суда, но мелкие вкладчики, вложившие в банк жалкие гроши, были спасены.

В Нижнем это произвело колоссальное впечатление. Впервые нижегородцы убедились в силе печатного слова, и название «корреспондент» перестало быть бранной кличкой, внушая даже некоторое уважение.

Ведь, действительно, ярмарочных корреспондентов купцы покупали за четвертной билет, и они, предварительно выпив с заказчиком, выхваляли потом на чем свет стоит его товары.

И вдруг появились люди, которых нельзя купить и которые стоят за правду и за интересы маленького человека. Совершился настоящий переворот в сознании общества, сразу поднявший значение провинциальной печати, роли которой Короленко всю жизнь придавал огромное значение.

Он внимательно следил за газетами, и столичными, и провинциальными, и делал из них вырезки, которые сортировал, подготовляя материал для задуманной им вместе с Анненским книги «Десять лет в провинции». После него остался целый шкаф этих вырезок, но мечты свои они так и не осуществили. Короленко написал только вводную главу, а дядя и вовсе не приступал к писанию.

Дядя вообще не любил писать. Насколько легко и хорошо он говорил, настолько трудно давалось ему изложение своих мыслей на бумаге. Часто он задумывал очень интересные статьи, с увлечением излагал их Короленко и тете, а приступить к писанию не мог, мучился, сердился, но не в состоянии был преодолеть отвращения к перу.

Однажды ему была заказана из Петербурга ответственная статья о Чернышевском для крупного издания «Эпоха великих реформ». Собрав весь материал, обдумав все до малейших деталей, он рассказал Владимиру Галактионовичу и тете весь ход своих мыслей, но писать не начинал. Несколько недель он ходил по комнате, уверял, что болен и ему придется отказаться от статьи.

Короленко называл эту болезнь, возникающую перед каждой серьезной работой, «статейная инфлуэнца».

Мы с тетей так привыкли к периодическим дядиным заболеваниям, что не придавали им значения и не беспокоились.

Тетя, напротив, хворала очень редко, почти никогда. Но если это случалось, я впадала в настоящую панику, боялась за нее невыносимо. Когда дядя уходил, я садилась возле ее постели и не отходила ни на шаг. Она много спала в болезни и притом совершенно беззвучно. Я не сводила с нее глаз, и мне казалось, что она уже не дышит. Дрожа от ужаса, я, наконец, не выдерживала, зажигала свечку и подносила ее к самому тетиному лицу. Мне хотелось убедиться, что она еще жива. Я придвигала свечу так близко, что чуть не обжигала тетю. Я хитрила сама с собой, понимая, что этим разбужу ее, но именно этого я ведь и добивалась.

Когда она просыпалась, я бросалась к ней на шею, просила у нее прощения, уверяя, что она не дышала. Она смеялась, и мир был заключен.

С дядей было иначе. Его инфлуэнца не проходила до тех пор, пока ему не удавалось написать статью.

Труднее всего ему было начать. Затем все шло легче. Так случилось и со статьей о Чернышевском. Наконец, раз, в отсутствие дяди, Короленко, зайдя к нам, сел за его письменный стол и со своей обычной легкостью набросал то начало, которое много раз слышал от дяди.

Когда дядя вернулся, Короленко сказал ему:

– Ну, садитесь же, Николай Федорович, пишите. Ведь начало вы уже написали, а теперь все напишется само собой. Отказываться поздно.

– Как написал! – вскричал дядя. – Ничего я не написал и не напишу. Говорю вам, я болен и сегодня же телеграфирую, что отказываюсь по болезни.

– Да вы посмотрите, – настаивал Короленко.

Дядя сел к столу, и, увидав полстраницы, написанные почерком Короленко, засмеялся. Затем, внимательно прочитал их и удивленно вскричал:

– Так ведь это как раз то, что я хотел сказать! Как вы узнали?

– От вас и узнал. Вы не один раз рассказывали это нам с теточкой.

– Ну, не отвлекайтесь, продолжайте. Времени осталось немного.

Дядя уже не слушал. Обмакнув перо, он быстро писал с того самого места, где остановился Короленко. Теперь ему действительно казалось, будто он сам и написал первые строки. Статью он окончил к сроку, и она была признана одним из наиболее удачных его произведений.

Раз в год, перед началом губернского земского собрания, происходило приблизительно то же самое. Только тут Короленко помочь ему уже не мог. Дяде надо было написать подробный отчет о ходе статистических работ. Ну чем его могло затруднить это? И программа работ, и план обработки материалов, и все вводные теоретические статьи были им вчерне даже набросаны, а богатый цифровой материал полностью сохранялся в памяти.

«Ведь цифры запросто со мной живут
Две придут сами, третью приведут»,

– говорил он про себя, перефразируя Пушкина.

Но это не помогало, и писать ему было все-таки тяжело. Если бы он мог сделать отчет устно перед со-

бранием, он ни минуты бы не затруднился. Отчет вышел бы блестящим и убедительным. Но писать... этого он не любил. А между тем доклад должен был быть к собранию отпечатан и роздан членам.

Существуй в то время диктофон, Анненский, наверное, написал бы вдвое больше статей и заняли бы они у него вдвое меньше времени.

К сожалению, он не только не мог сделать отчет устно, но даже не мог принять участие в прениях по его поводу, как не член собрания. Он, как и вся публика, сидел на хорах, волновался и возмущался тяжелой и неумелой аргументацией своих защитников в ответ на нападки враждебной партии из числа крупных помещиков.

Все статистики и все близкие знакомые тоже присутствовали обычно на хорах и горячо обсуждали происходившее на собрании.

Это, конечно, было ново для Нижнего. Прежде отчетные собрания проходили вяло, сонно. На хоры являлись местные губернские дамы, щеголяя сшитыми к этому съезду нарядами. В перерывах к ним поднимались их мужья или молодые земцы, чтоб немного пофлиртовать для отдыха от скучных, но обязательных прений, носивших чисто формальный характер. Все решения принимались заранее, за чашкой чая у руководителей господствующей партии.

Но с появлением в Нижнем беспокойного элемента, разных там бывших ссыльных, «неблагонадежных» статистиков, газетчиков – земское болото заволновалось. Еще до начала собрания газетчики раздобывали отчеты и материалы по делам, которые должны были обсуждаться на собрании, и выносили их на арену общественного обсуждения. В газетах печатались статьи, завязывалась полемика, звучала острая критика в адрес господствующей партии. Представители оппозиционного меньшинства получали новые аргументы и мог-

ли смелее выступать со своими возражениями, зная, что за ними стоит общественное мнение. Труднее стало урезывать ассигнования на народное образование, на земскую медицину. Ведь подобные действия неминуемо должны были вызвать нападки не только в местной, но иногда и в столичной прессе.

Нижний Новгород становился оживленным центром провинциальной жизни, привлекавшим к себе многих интеллигентов, изгнанных из столиц.

Прежде всего, оживилась местная пресса. До середины 80-х годов в Нижнем выходил только небольшой «Нижегородский листок», не столько газета, сколько листок объявлений, где восхвалялись те фирмы, которые щедро оплачивали «корреспондентов».

На время ярмарки там открывалась специальная ярмарочная газета «Нижегородская почта» – отделение известной в то время бульварной московской газеты «Московский листок» Пастухова.

Газета была большая, но самая низкопробная. В ней сотрудничали разные темные газетчики, которых богатые купцы угощали в ярмарочных трактирах, подкладывая к их приборам, под салфетку от 25 до 100 рублей, смотря по таланту.

В этой газете начинал писать знаменитый впоследствии и действительно талантливый фельетонист Дорошевич.

Короленко считал, что газета может иметь большое влияние на местную жизнь и всячески добивался возможности наладить там настоящую газету.

Разрешения на издание новой газеты давались тогда очень трудно. Боясь прессы, местная администрация всячески препятствовала появлению новых печатных изданий. А от губернатора зависело почти все. Стоило губернатору дать неблагоприятный отзыв, и управление по делам печати в Петербурге разрешения не давало.

И все-таки в Нижнем новая газета открылась. Она тоже называлась «Нижегородский листок», так как была выкуплена у прежних издателей, дела которых шли все хуже.

Прежде все местные газетные кампании проводились в казанском «Волжском вестнике». Впрочем, и после основания нового «Листка» иногда нападки на нижегородских деятелей приходилось печатать в «Волжском вестнике», а казанцев обличать в «Нижегородском листке». Местная администрация лишь изредка разрешала затрагивать «своих», умевших хорошо ладить с губернатором.

Во время жизни Короленко в Нижнем во главе местной администрации стоял знаменитый в свое время губернатор Баранов, честолюбивый, деятельный и неглупый. Он чрезвычайно стремился к популярности, но ни в малейшей степени не желал поступаться своей властью.

Он высоко ценил Короленко, как писателя, и ему льстило, что Нижний, не имевший даже университета, стал одним из центров интеллигенции. Баранов наивно полагал, что причина здесь в нем, просвещенном и либеральном администраторе.

Иногда он вызывал к себе Короленко и рассказывал ему о задуманных реформах. Однажды он сообщил ему, что хочет внести в правительство проект об уничтожении жандармерии, и просил Короленко прослушать его. Короленко выслушал.

Баранов с торжествующим видом обратился к нему:

– Ну? Что вы на это скажете?

– К сожалению, – ответил Короленко, – я должен сказать, что не сочувствую этому.

– Как, вы, Короленко, не сочувствуете уничтожению жандармерии?!

– Видите ли, ваше превосходительство, – сказал Короленко, – в нашем положении поднадзорных суще-

ствование двух параллельных властей – полицейской и жандармской – иногда является спасением. Они обычно друг с другом на ножах, и если один не дает дохнуть неблагонадежным элементам, другой, в пику ему, заступается за них и обратно.

Баранов раскатился густым генеральским смехом.

– Оригинально! – сказал он довольно кисло. – Ну, а какой проект предложили бы вы?

– Я, – сказал Короленко, – я предложил бы на первой странице Свода Законов напечатать: Эти законы должны соблюдаться».

Баранов опять расхохотался.

– Да ведь законы для того и издаются, чтобы их соблюдали.

– Может быть, их для этого издавали, но это было давно и с тех пор позабылось.

Баранов был разочарован. Из совещания с известным писателем ничего не вышло, и он почувствовал, что популярность его от этого не возросла.

И Короленко, и Анненские, и все их близкие знакомые вели очень деятельную занятую жизнь. Кроме работы по специальности, по просьбе своих молодых друзей, они организовали для них курсы образовательных лекций. Анненский читал курс политической экономии, Короленко литературы, тетя – истории педагогических учений, один их знакомый доктор А. Ю. Файт – физиологию. У каждого из лекторов была своя группа, усердно посещавшая его чтения.

Но молодежи этого было мало. Им хотелось слушать и обсуждать более современные, животрепещущие темы. Дядя вспомнил общество «Трезвых философов», в котором он участвовал в Петербурге, и предложил возобновить его в Нижнем.

Потребовалось большее помещение, притом у людей, которые не возбудили бы подозрительного внимания полиции. Получить официальное разрешение, не-

чего было и думать. При всем «либерализме» Баранов никогда бы его не дал.

Но подходящие квартиры все же нашлись. Собрания стали устраиваться в большой квартире домовладельца и присяжного поверенного С. С. Барашова, у другого домовладельца и члена городской управы Н. А. Фрелиха и не помню у кого еще.

Собрания вышли многолюдные и очень оживленные. Рефераты читали Анненский, Короленко, Елпатьевский и некоторые представители местной ссыльной колонии. Теперь новое направление революционной мысли уже определилось и получило название марксизма.

Из первых нижегородских марксистов мне особенно запомнился авторитетный и непримиримый – Сомов. С внешней стороны он был довольно верно изображен Боборыкиным в его романе «В путь-дорогу». Это был маленький человечек, с неизменной длинной трубкой, торчавшей или в углу рта или в верхнем кармане его пиджака. Но его внутреннего содержания, того жара, которым всегда горел Сомов, Боборыкин не понял и не мог понять.

Сомов с головой ушел в новое учение и стал яростным врагом народников.

На собраниях «Трезвых философов» закипели жаркие споры, продолжавшиеся и на частных квартирах, в кружках молодежи.

Кроме народников и марксистов, в Нижнем было еще несколько толстовцев, проповедовавших вслед за своим учителем непротивление злу и уход от культурной жизни. Недалеко от Нижнего основалась одна из первых толстовских колоний, где последовательные толстовцы «сели на землю», с тем чтобы кормиться трудами рук своих.

Писатель-народник Каронин (Петропавловский) описал эту колонию в повести «Норская колония».

В Нижнем можно было встретить очень различные типы толстовцев. Там жил последовательный толстовец, доктор Хабаров, один из самых благородных и морально чистых людей.

С другой стороны, туда наезжал и вел там усиленную пропаганду небезызвестный в свое время Клопский, настоящий промышленник от толстовцев. Проповедуя жизнь «трудами рук своих», сам он умел так устраиваться, что жил исключительно трудами чужих рук. Он избирал какого-нибудь наивного человека, увлеченного его проповедью, и беззастенчиво поселялся у него, предоставляя ему кормить и поить себя. На себя же он брал возвышенную роль пропагандиста новых идей. В особенности он любил проповедовать молоденьким девушкам, увлекавшимся не столько проповедью, сколько проповедником, и на этой почве разыгрывались довольно некрасивые истории.

Каронин изобразил Клопского в своей повести «Учителя жизни».

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ. СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ. УВЛЕЧЕНИЯ КОРОЛЕНКО. МОЛОДАЯ КОМПАНИЯ

Надо сказать, что помимо работы и принципиальных споров, нижегородская интеллигенция жила в те годы очень оживленно. Я даже с некоторой завистью вспоминаю, как им тогда весело жилось.

Мое поколение, когда оно достигло возраста наших «отцов», как-то утратило ту способность непосредственного веселья, какой, при всей своей деловитости и серьезности, обладали они.

Я уже не говорю о поколении моих детей. Их молодость совпала с такими трудными годами, что в них рано были убиты источники непосредственного веселья.

По вечерам, когда не было никаких лекций и общественных собраний, тесный кружок друзей собирался или у нас, или у Короленок, и веселая болтовня, непритязательные остроты, шутки, смех не замолкали.

Одно время они задумали упражняться во французском языке. Хорошо говорила по-французски только тетя, несколько хуже сестра Владимира Галактионовича Мария Галактионовна и дядина сестра Мария Федоровна, разошедшаяся к тому времени со своим мужем и жившая со своими двумя детьми и старой матерью у нас.

Впрочем, из этих занятий ничего путного не вышло: они послужили только лишним поводом для шуток и веселья. Дядя изобретал разные слова, которых не понял бы ни один француз.

Но их шуточный жаргон питался не только от французского языка. В присутствии Елпатьевского, например, чрезвычайно строго преследовавшего слово «жид», даже в шутку, дядя говорил, что чай у него что-то «евреек», вместо жидковат.

Над одной их знакомой, имевшей трех сыновей, постоянно рвавших свои штанишки, они шутили, уверяя, что у нее не «перпетум мобиле», а «перпетум штаниле», т. е. не вечный двигатель, а вечные штанишки.

Сия дама обладала очень развитой фигурой, что при тогдашних модах делало ее несколько похожей на верблюда.

Однажды, когда она уходила от нас, и дядя шел ее провожать, сестра его, Мария Федоровна, открыла входную дверь и крикнула:

– Верблюдовожатый! Воротись на одно слово!

Это заставило его действительно вернуться, чтобы прохохотаться дома.

Особенное веселье царило на семейных праздниках, на моих именинах 12 января, на дядиных 9 мая и 15 июля на именинах Владимира Галактионовича.

12 января у нас собиралась вся знакомая молодежь – мои подруги, студенты, статистики, пели хорошие песни, преимущественно украинские, устраивали разные общие игры, в которых дядя был первым заводчиком, и даже танцы, хотя у нас не было инструмента и наши «кавалеры» не отличались ловкостью и светскими манерами.

Помню, как один молодой статистик из сибиряков, отлично певший сибирские песни, но довольно-таки неуклюжий, танцуя с моей подругой Чачиной, уронил ее на пол и еще умудрился наступить ей... на нос.

Все хохотали, а дядя говорил, что за это он должен весь вечер ухаживать за Ольгой Ивановной.

Но она протестовала.

– Ну, нет, Николай Федорович, спасибо. Он и так достаточно уходил меня.

Но особенное веселье царило на дядиных именинах, 9-го мая. В это время в Нижнем уже тепло, и так как наша квартира не могла вместить всех приходивших поздравить именинника, мы устраивали загородную прогулку в ближайшую от города Марьину рощу.

Молодежь тащила корзины с провизией и скромной выпивкой, и вся наша компания с шумом, смехом и пением отправлялась за город, мимо Девичьего монастыря и вдовьего дома, устроенного купцом Бугровым, где жила мать Чачиной.

Дядины именины были единственным днем, когда Владимир Галактионович позволял уговорить себя выпить. В другое время он совсем не пил – не любил. А между тем он был удивительно мил, немного выпив. Обычная сдержанность оставляла его, он становился чрезвычайно веселым, шутил, смеялся, заражая других.

Раз, сидя у костра, он сунул руку в карман брюк, вытащил оттуда что-то и швырнул в костер.

– Владимир Галактионович, зачем вы свой кошелек в костер бросили? – крикнул кто-то.

– Какой кошелек, – рассмеялся он, – это же лягушка мокрая!

Но это, действительно, был кошелек, по счастью почти пустой и отсыревший от росы.

Дядя потом не давал проходу Владимиру Галактионовичу, спрашивая его, всегда ли он, когда выпьет, бросает в огонь свои кошельки?

Короленко же, уверял, что это возмутительная клевета и что бросил он лягушку. При этом он показывал старый, совершенно не годный к употреблению, кошелек.

Сам же дядя далеко не прочь был выпить, охотно выпивал на всевозможных именинах, и тогда его обычное веселье переходило в шумный, неудержимый каскад шуток и острот, от которых при всем их добродушии могло и не поздоровиться, особенно людям, не понимавшим шуток.

На одном таком сборище довольно нудный присяжный поверенный, во что бы то ни стало, хотел сказать речь. При малейшей паузе он вставал и начинал:

– Господа, молодое поколение...

На этом его кто-нибудь прерывал, и вечеринка продолжалась.

Но он упорно стоял на своем и вновь поднимался:

– Молодое поколение, господа...

Наконец, не выдержав, дядя, будучи уже сильно на взводе, крикнул ему:

– Да подождите! Свою глупость вы скажите в свою очередь!

Оратор обиделся и все повторял потом:

– Какой странный человек этот Анненский. Он совершенно не умеет вести себя в обществе.

Иногда, впрочем, очень редко, дяде случалось выпить сверх своей меры. Владимир Галактионович уверял, что тогда дядя начинал говорить на трех языках сразу. Во избежание неприятных последствий, он уговаривал его отправляться домой.

Дома дядя обычно засыпал, хотя Владимир Галактионович уверял, что предварительно теточка вывешивала его в окно для «просушки».

Помню, как серьезный молодой писатель, приехавший однажды в Нижний из Москвы специально для знакомства с нижегородской интеллигенцией, был шокирован, случайно попав к нам на дядины именины. В ту весну погода не дала возможности устроить загородную прогулку, и именины справлялись у нас дома и главным образом в саду, куда все перебрались после именинного пирога. Приезжий был уверен, что после завтрака нижегородские интеллигенты, наверное, ведут принципиальные разговоры.

Направленный тетей в сад, московский гость был изумлен и даже вознегодовал, когда, дойдя до середины сада, он увидел Владимира Галактионовича, которым он интересовался больше всего, показывавшего чудеса ловкости – балансировавшего на верхней балке турника, под хохот и шутки окружающих.

Гость вскоре покинул веселое общество. Больше он не возвращался, совершенно разочарованный в нижегородцах, способных убивать время в столь легкомысленных занятиях.

В это время Владимир Галактионович увлекался гимнастикой. Он был человек сильный и ловкий, прекрасно катался на коньках, хотя как раз в гимнастике особых талантов не проявлял. Но у него постоянно бывали увлечения, и им он предавался со страстью. То это была рубка дров, то чистка снега, то сапожное ремесло, то шахматы. Увлечения длились недолго, но захватывали его целиком, и он не в силах был бороться с ними.

Одно время, много позднее, он так увлекся сапожничеством, что целый шкафчик его письменного стола наполнили сапожные инструменты и обрезки кожи. Особенно высокого мастерства на этом поприще он не

достиг, но стремился чинить и шить обувь для всех своих домашних и близких знакомых.

Тем же, кто хотел более искусной починки, приходилось скрывать дефекты своей обуви, дабы не огорчать его отказом от применения его искусства.

Он и к картам в какой-то момент пристрастился. Это была невинная игра в пикет. Он заходил к нам выпить чаю после обеда и предлагал дяде:

– Ну что? Одного королька! А? Не будем терять драгоценного времени.

Дядя охотно соглашался. Они устраивались тут же, на краю обеденного стола. Один «король» влек за собой другого, третьего, и так вплоть до вечернего чая.

Я в это время как раз была больна, и мне пришлось месяца два пролежать в постели.

Придя к нам, Владимир Галактионович говорил:

– А бедная «бебе» лежит там в одиночестве. Пойдем-ка, развлечем ее, сыграем у нее «королька».

Я была, конечно, очень рада. Но один «королек» влек за собой другого, третьего, и конца им не предвиделось. Тетя как раз в это время читала мне по вечерам чрезвычайно интересную книгу, и мне было жалко пропускать чтение из-за успевших уже мне надоесть «королей», в которых я к тому же участия не принимала.

Тетя доставляла мне нередко это громадное удовольствие – читала вслух, преимущественно по-французски. Я и вообще любила чтение вслух, а тетино особенно. Проводить вдвоем вечера за какой-нибудь интересной книгой, большей частью исторической, для нас обеих было, пожалуй, просто потребностью. Я сразу отказывалась от всяких приглашений, если тетя говорила мне, что у нее свободный вечер и она может почитать мне.

Приятно было даже смотреть на ее милое лицо в то время, как она читала, немного раскатывая по-фран-

цузски свои «особенные р» – так назвал их в стихотворении «Сестре» И. Ф. Анненский.

Мне трудно передать, какую горячую нежность я питала к тете, хотя дядю я также горячо любила. Помню, однажды мой другой дядя, А. Н. Ткачев, сказал мне:

– У тебя два отца, Таня, – по крови Александр Александрович, а по духу я, как твой крестный.

– Не два, а три, – перебила я его. – Третий по любви – дядя.

Андрей Никитич несколько обиделся, но промолчал.

Наша исключительно молодая компания – гимназистки, гимназисты и студенты – тоже много веселилась. Но у нас выпивок совершенно не бывало.

Время было принципиальное, и мы сочли бы себя опозоренными, если бы кто-нибудь из наших товарищей – не говоря уж о девушках – был уличен в выпивании.

Да это и не нужно было. Мы веселились от души без всяких искусственных возбудителей.

Особенно весело было весной, когда и Ока, и Волга широко разливались, образуя вокруг Нижнего Новгорода настоящее море. Бесчисленные торговые ряды, где осенью теснились толпы покупателей, съезжавшихся со всей России, весной превращались в каналы, где вода доходила до вторых этажей. Весело было ездить по этим каналам, оглашая их хоровыми песнями. Весело было приставать к какому-нибудь балкону, и, если внутри жил сторож со сторожихой, устроить там чаепитие с привезенными бубликами и бутербродами, а иногда даже импровизированные танцы под губную гармонику.

Но не менее соблазнительны были и катания по реке с кострами на берегу, печеной в золе картошкой и ухой из купленной у рыбаков рыбы.

Одно такое катание надолго осталось у меня в памяти.

Тетя моя была человек очень спокойный и выдержанный. Ни разу я не видела у нее слез и истерик, и я даже была уверена, что у нее это невозможно. Мне она предоставляла большую свободу. Я приглашала к себе кого хотела, бывала у своих подруг и знакомых и участвовала во всевозможных совместных увеселениях.

Весной я невозбранно каталась по реке со своими подругами и товарищами, и тетя ничего не имела против этого.

Я не учла только того, что, предоставляя мне полную свободу, тетя чрезвычайно боялась за мою жизнь. Она отпускала меня кататься на лодке скрепя сердце, не желая портить мне удовольствие, предупреждая меня о своих страхах. Она просила меня только возвращаться не слишком поздно, часам к 12.

Обычно мы так и возвращались.

Но однажды ночь была такая чудесная, лунная, на реке было так удивительно хорошо, песни звучали так упоительно, что мы, и я в том числе, совершенно забыли о времени, и вспомнили только, когда луна зашла и в воздухе повеяло предутренней прохладой.

Оказалось, что уже два часа ночи. У меня немного екнуло сердце, но я понадеялась, что тетя легла спать и теперь особенно торопиться нечего.

Подъехав к берегу, мы, не торопясь, поднялись на въезд и веселой компанией пошли к городу. Наш дом в конце Полевой улицы располагался ближе других, и все, прежде всего, провожали меня. Подойдя к дому, мы уселись на лавочке и тумбах и продолжали смеяться и беспечно болтать.

И вдруг распахнулось окно, и из него высунулась дедушкина сестра, тетя Маша.

– Таня, ты с ума сошла, у тети истерика, дядя пошел на берег искать хоть какие-нибудь следы вашей лодки, а ты тут рассиживаешься как ни в чем не бывало.

Всех точно холодной водой обдало. Я почувствовала себя преступницей, не заслуживающей прощения. Ни с кем не прощаясь, я влетела в дом и с замирающим сердцем переступила порог тетиной комнаты. Она лежала вся в слезах, она, у которой я никогда не видела ни одной слезинки.

Я бросилась к ней, умоляя о прощении, обещая никогда в жизни не причинять ей больше никаких беспокойств, – обещание явно невыполнимое.

Но тетя ничего от меня не требовала и даже не сердилась на меня. Она только радовалась, увидав меня живою и невредимою. Она уверила себя, что я лежу на дне реки и она меня больше никогда не увидит.

Я тогда поняла, как безгранично привязана ко мне тетя, и как я должна бережно относиться к ней.

Дядя вернулся тоже встревоженный, но не столько моим отсутствием – ни о каких несчастных случаях с лодками он не услышал, сколько тетиным состоянием.

Меня он, конечно, пожурил, но гораздо мягче, чем я заслуживала.

ССЫЛЬНЫЕ. ЗНАКОМСТВО С ГОРЬКИМ

Кроме своей молодой компании, я свела тогда знакомство и с некоторыми из нижегородских ссыльных.

Наиболее интересной из них мне казалась Вера Дмитриевна Маслова-Стоккоз. Это была очень красивая молодая женщина с маленькой трехлетней дочкой, на которую она, по правде сказать, не обращала почти никакого внимания. Было в Вере Дмитриевне что-то странное, непонятное для меня и влекущее. Только потом я сообразила, что она была не вполне нормальна психически. Она оказывала на меня сильное влияние, выделяя меня среди моих подруг и утверждая о какой-то невидимой нити, соединяющей нас. Мол, в будущем

нам с ней предопределено столкнуться на чем-то решающем и роковом.

Долгие годы я ждала «рокового столкновения», да так и не дождалась. Будучи уже взрослой, меня потрясла весть о ее самоубийстве. Она получила работу где-то в Забайкалье. Тогда еще не было Кругобайкальской железной дороги, и через озеро переправлялись на пароходе. Из-за частых штормов пароходы, бывало, опаздывали. Вера Дмитриевна прождала парохода двое суток. К концу вторых суток она застрелилась, оставив записку: «Надоело ждать парохода. – В. Маслова».

Но в те давние годы она была еще полна жизни и сил, не помышляя о самоубийстве.

Как я говорила, она имела на меня большое влияние.

Помню один случай. У нас составился небольшой любительский хор, кочевавший по квартирам, где было пианино или рояль, и хозяева пускали нас попеть вечером.

Как-то раз ни у кого из хороших знакомых петь было неудобно, и кто-то предложил пойти к его знакомому присяжному поверенному, пользовавшемуся в нашем кругу не слишком хорошей репутацией.

Нимало не задумываясь, мы пошли к нему, попели и ушли, не обменявшись с хозяином ни словом.

На другой день я встретила Веру Дмитриевну.

– Я слышала, что вы были вечером у Х.?

– Были, – отвечала я смущенно, чувствуя себя в чем-то согрешившей.

– Как же вы могли пойти к нему? Ведь вы считаете его не вполне порядочным человеком?

Я кивнула.

– Но вы ему не сказали этого? Значит, вы все равно, что солгали, и, во всяком случае, поступили непорядочно. Не ожидала я от вас этого.

Я вернулась домой, как оплеванная, не зная, как смыть с себя позор. Я была мрачнее тучи.

Как раз в это время пришел Короленко, ежедневно навещавший дядю.

– Вы что в таком унынии, Бебе? – спросил он.

Я рассказала ему, где мы вчера были, и что мне сказала сегодня Вера Дмитриевна.

Владимир Галактионович очень удивился:

– А он разве спрашивал ваше мнение о нем?

– Нет, конечно, – отвечала я.

– Ну, так что же вы за еврейский пророк-обличитель, чтобы ходить к людям и обличать их пороки? Неужели вы сами так добродетельны, что чувствуете за собой право обличать других? Если бы вели с ним совместно какое-нибудь дело и увидели, что он поступает недобросовестно, ваш долг был бы предупредить его, что вы выведете его на чистую воду. А так, за здорово живешь, из-за каких-то непроверенных сплетен...

Тяжкое бремя свалилось с меня. Я ощутила опять радость жизни и с большой признательностью посмотрела на моего содядюшку.

Короленко относился ко мне с большим вниманием. Ему очень хотелось втянуть меня в литературу, и почему-то именно в публицистику. Впрочем, это понятно, так как он сам придавал публицистике равное, если не большее значение, чем беллетристике. Он привлекал меня к собиранию и обработке газетных материалов. Собрав материал, предлагал написать, например, для журнала развернутую статью о положении сельских учителей.

Но меня пугало такое предложение. Я никак не могла вообразить себя писательницей. Слишком высоко ставила я это звание. Тогда Владимир Галактионович предложил мне сначала попробовать свои силы в газете.

Именно таким путем он вывел на литературную дорогу А. И. Богдановича.

Ангел Иванович был в большом унынии, когда после крушения медицинской карьеры приехал в Нижний. Его чрезвычайно влекли естественные науки, химия и медицина, но все попытки поступить в какой-нибудь университет не увенчались успехом.

Короленко, во что бы то ни стало, хотел помочь ему.

Он стал побуждать Ангела Ивановича писать в местные газеты. Попытки оказались весьма удачными. Богданович, оказывается, обладал несомненным публицистическим даром. Он писал остро, горячо и желчно. Вскоре его заметили в провинциальной печати, стали приглашать сотрудничать и, наконец, ввели в редакцию «Волжского вестника».

Со мной вышло иначе. Раз я пошла на заседание окружного суда. Должно было слушаться какое-то литературное дело. Но перед тем разбиралось уголовное дело крестьянина, зарубившего топором своего сына. Оно произвело на меня глубочайшее впечатление. Я и сейчас помню жалкую фигурку мужичка, не умевшего ничего объяснить в ответ на мало для него понятные вопросы судьи.

Дома я с волнением рассказала Владимиру Галактионовичу перипетии этого мрачного преступления.

– Ну вот, и напишите о нем в «Русские ведомости».

В «Русские ведомости»! Теперь и представить себе невозможно, какую роль играла тогда в Москве и в провинции эта газета.

Напечататься там было крупной удачей. И вдруг мне, девчонке, не окончившей гимназию, осмелиться на это!

Но Владимир Галактионович был настойчив, и, в конце концов, я взялась за перо. Я добросовестно изложила дело. Но куда улетучился весь тот пыл и все то волнение, которые испытывала я, с жаром рассказывая Короленко и о бедном мужичке, и о чванливом судье? Сколько я ни билась, выходило совсем не то.

Свой первый опыт я отдала Владимиру Галактионовичу на проверку. Он указал мне недостатки, поправил и послал ... в «Волжский вестник». До «Русских ведомостей» мой очерк не дотянул.

На этом надолго закончилась моя газетная карьера. Из статьи в журнал тоже не вышло ничего путного, и я окончательно поверила, что литература не для меня.

Почему Короленко не пришло в голову предложить мне попробовать силы в области исторической беллетристики, я не знаю. Я увлеклась ею уже после его смерти. А ведь его самого история и исторические очерки влекли чрезвычайно, и у него было к этому жанру большое дарование.

К В. Д. Масловой Короленко не чувствовал никакой симпатии. Ему не нравилось мое увлечение ею и ее влияние на меня. Должно быть, его, как внутренне здорового человека, отталкивала именно ее неуравновешенность и некоторая ненормальность.

Между тем именно через Веру Дмитриевну я свела одно из наиболее интересных моих знакомств в Нижнем Новгороде – с Алексеем Максимовичем Горьким.

Горький был еще в то время совсем молодой человек, не намного старше меня, и человек еще никому не известный. Он только что вернулся из своих странствий по югу, где свел знакомство с босяками, и теперь, по-видимому, надолго поселился в Нижнем.

Он вошел в ссыльную колонию и познакомился, между прочим, с В. Д. Масловой, увлекшейся талантливым юношей и успешно пропагандировавшей его.

Он тогда писал уже свои первые рассказы, никому пока не показывая их. Но Вере Дмитриевне он их показал, и она сразу почувствовала в них задатки большого литературного таланта. Некоторым из нас, молодежи, в том числе и мне, она их читала. Мы были в восторге от них.

Один из рассказов в общих чертах я помню до сих пор. Он носил оригинальное заглавие – «Граф Нелепо-и-все-тут».

Герой его – бывший человек, закинутый превратностями судьбы в среду одесских босяков. Он жил с ними в пустом сарае за городом, ничего не рассказывая им о своей прошлой судьбе, и вообще держался особняком, но пользовался неограниченным влиянием на них. Когда между босяками возникала ссора или завязывалась драка, стоило «Графу» показаться в дверях сарая и посмотреть им в глаза, как самые неукротимые в миг затихали, и раздоры прекращались.

Чем кончался рассказ, я теперь не могу вспомнить. Очевидно, сам Горький не придавал ему значения, так как впоследствии нигде не печатал.

Впрочем, больше, чем его литературные опыты, действовали на нас его устные рассказы.

Рассказчик он был замечательный. Из его рассказов вставали, как живые, своеобразные фигуры его экзотических знакомств. Мы заслушивались его приключениями и удивительными похождениями, когда он соглашался принять участие в наших поездках на лодках по Оке и по Волге.

Благодаря ему эти прогулки тоже приобретали иногда экзотический характер.

Мы все, гимназистки, были, как говорилось тогда, девочки из «хороших» семей. Кататься на лодках и печь в золе картошку было для нас прилично, но на пароходах мы привыкли ездить, если не в первом, то не ниже второго класса. Ездить в третьем, а тем более в четвертом, среди палубных пассажиров, считалось неприличным.

Однажды тетя отпустила меня на прогулку, на всю ночь. Она считала это безопаснее, чем возвращение среди ночи. Ночью нас застала непогода. Плыть на лодке стало трудно. Мы оказались непода-

леку от пароходной пристани маленьких Кашинских пароходов.

Алексей Максимович предложил нам добежать до пристани и вернуться в город ближайшим пароходиком.

Мы вымокли, устали и охотно согласились. Перспектива посидеть в чистой рубке, напиться чаю в буфете и выспаться на мягких диванах до утра, очень нам улыбалась.

Но, когда подошел пароход, оказалось, что билетов ни во втором, ни в третьем классе нет. Горький, не задумываясь, взял для всех нас палубные билеты. Для пассажиров четвертого класса число билетов не ограничено. Никаких специальных мест им не полагается.

Мы вошли на пароход. Ночь была темная, освещения на пароходе не было, и Горький предложил нам сразу устраиваться на полу, где кто сможет. Возражать мы не могли, да и не хотели. Это ведь и было одно из приключений, о которых рассказывал Горький.

Я улеглась на маленьком свободном местечке и жалела только, что голова моя попала на что-то очень твердое.

Когда забрезжил рассвет, я увидела, что лежу головой на сапоге какого-то человека. Ночь, наконец, прошла, и нам оставалось только гордиться таким необычайным приключением, что мы и делали.

Тете я благоразумно не рассказала о нашей поездке, заметив вскользь, что из-за непогоды мы вернулись на пароходе.

Она это вполне одобрила.

Вера Дмитриевна познакомила Горького не только с нами, но и с дядей и, главное, с Короленко. В таланте юноши она была уверена и надеялась, что Короленко поможет ему, как начинающему писателю.

Короленко говорил, что Горький произвел на него с первого раза очень хорошее впечатление. В его рассказах он увидел несомненные признаки таланта и го-

тов был всячески содействовать его первым шагам в литературе. Владимира Галактионовича смущала только чрезмерная романтика, и он уговаривал Горького писать проще и как можно ближе придерживаться действительности.

Горькому это было трудно. Романтика была свойственна ему органически.

Компания, которая окружала Горького в Нижнем, не слишком была по душе Короленко. Он боялся, что молодого писателя засосет провинциально-ссыльное болото, и он уговаривал Горького переехать в Самару, куда его пригласили для постоянного сотрудничества в газете.

Короленко считал участие в местной прессе, а значит и в местной жизни, очень полезным для начинающего писателя.

Это оказалось не совсем так. Горького влекла большая литература, местная жизнь мало интересовала его, он не давал себе труда разбираться в ней, и он не оставил в ней такого следа, как Короленко в жизни Нижнего.

М. Н. ЕРМОЛОВА – Г. И. УСПЕНСКИЙ

В конце лета центром нижегородской жизни становилась ярмарка. Со всех концов России, из Сибири, из восточных пограничных государств, из Китая подвозились товары, каких не только в Нижнем, но и в Москве нельзя было достать в другое время.

Но не только купля-продажа влекла туда людей. Много народа стекалось повеселиться, покутить. На ярмарке открывалась масса гостиниц, ресторанов, трактиров и всякого рода увеселительных заведений. Правда, в трактирах и ресторанах не только кутили и веселились. Среди купечества существовал обычай все сколько-нибудь крупные сделки заканчивать выпивкой.

Кроме увеселений на ярмарке был еще один крупный магнит. Там был большой театр. В него приезжали гастролировать столичные артисты из разных театров, а чаще всего труппа московского Малого театра с Федотовой, Южиным, а, главное, с Ермоловой. Не выезжая из Нижнего, почти каждый год можно было наслаждаться игрой этой великой артистки, величайшей не только в России, но, быть может, и во всем мире.

Я видела ее во всех ее коронных ролях именно на нижегородской ярмарке. Дивные образы Орлеанской девы, Марии Стюарт, Федры, гауптмановских и зудермановских героинь с тех пор навеки запечатлелись в моей памяти.

Но я имела счастье увидеть Ермолову не только на сцене. Она пожелала познакомиться с В. Г. Короленко, и я присутствовала при этой встрече.

Нечего и говорить, что в ее присутствии я не осмелилась открыть рот, достаточной радостью было просто смотреть на нее и слышать ее голос. В жизни она тоже производила чарующее впечатление. Больше всего поражали ее простота и естественность. Ничего искусственного, приподнятого, что как-то невольно соединяется с представлением об артистах. Это была сама простота и сама скромность.

Владимир Галактионович спросил ее, привыкла ли она к сцене настолько, чтобы не волноваться, когда приходиться выступать.

– Что вы, Владимир Галактионович, – ответила она. – Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я вся дрожу, как в первое свое выступление. Если бы я перестала волноваться, – прибавила она, помолчав, – я думаю, я перестала бы быть артисткой...

Меня это поразило. Такая великая, такая знаменитая артистка – и волнуется, как начинающая.

В то же время мне это страшно понравилось. Значит, она по-настоящему переживала все, что изображе-

но на сцене. Недаром ее игра не только восхищала, но и волновала до глубины души, заставляла переживать все тревоги и волнения, изображаемых ею героинь, их радости и горе.

Долго я была под впечатлением этой незабываемой встречи, и все мои подруги завидовали моему счастью.

Нам и в голову не приходило пойти к ней и, как поступала молодежь в столицах, выразить ей свое восхищение. Нам это казалось недопустимой дерзостью.

Но на каждый ее спектакль мы неизменно являлись. Такого высокого наслаждения я больше уже никогда не испытывала в театре, хотя в течение своей долгой жизни повидала немало крупных артистов и артисток – Савину, Комиссаржевскую и даже несравненную Дузэ.

Не одно купечество съезжалось на ярмарку – некоторые из писателей тоже приезжали в Нижний, на ярмарку, чтобы набраться там впечатлений, каких не получишь в другое время.

Приезжал на ярмарку и останавливался у Короленко Глеб Иванович Успенский.

Никто, встречавшийся с Успенским, не забудет этого своеобразного и обаятельного человека. Успенский не раз приезжал в Нижний. Он вместе с Короленко одно время редактировал беллетристический отдел журнала «Северный вестник». Его рассказы о работе в журнале были полны юмора и, в то же время, были проникнуты убедительной теплотой.

Издательница этого журнала – А. М. Евреинова – отличалась большой наивностью и иногда озадачивала редакцию совершенными неожиданностями.

К первой книжке журнала редакционный коллектив долго и тщательно вырабатывал вступительную статью, которая не испугала бы цензуру и в то же время показала бы читателям общественную физиономию журнала.

Евреинова присутствовала на редакционных совещаниях и вполне одобрила окончательный текст обращения к читателям. Так он и пошел в печать.

И вдруг, когда первая книжка появилась в свет, редакторы к своему изумлению и ужасу, прочли в конце своей статьи неожиданное добавление: «А чтобы журнал был интересен для господ военных, в нем будут печататься» – и т. д.

Издательница и не воображала, что эта приписка уничтожала весь смысл выдержанного и принципиального введения редакции.

Желая попасть в тон своей народнической редакции, она приносила иногда в редакцию сунутую ей кем-нибудь статью и говорила с умилением:

– Это о мочальном производстве. Вы понимаете – мочала, это так интересно!

Успенский с непередаваемым юмором рассказывал подобные отзывы издательницы.

Сам Успенский был человек чрезвычайно увлекающийся. Как-то раз он с восторгом рассказывал Владимиру Галактионовичу, что сдал в печать для следующей книжки рассказ начинающего писателя, даже не показав его Короленко, так как сомнений в его достоинстве, быть не могло.

– Вы увидите! Вы увидите! – говорил он своим глубоким проникновенным голосом, прижимая привычным жестом к груди два пальца правой руки. – Это такая глубина, такая искренность, такая правда в каждом слове.

С большим нетерпением все ждали следующей книжки, чтобы прочесть этот замечательный рассказ. Наконец, книжка пришла и, к общему огорчению, рассказ оказался самый средний, ничем не выделяющийся из писаний начинающих авторов.

Дело было вовсе не в отсутствии критического чутья у Успенского, а совсем в другом. Какая-то нотка в

рассказе, видимо, разбудила ответную струну в душе Успенского, и он уже, читая, видел не то, что написал автор, а то, что ему самому рисовала на эту тему его богатая фантазия.

В другом настроении он, вероятно, и сам не узнал бы так превознесенного им рассказа.

На ярмарке Успенского интересовала не пестрая и яркая картина «всероссийского торжища», а быт и нравы тех несчастных, которых тит титычи заставляли служить своим ничем не сдерживаемым аппетитам.

В ярмарочных гостиницах, ресторанах, трактирах обязательно обслуживали гостей так называемые «арфистки». Они играли на арфах и других инструментах на эстраде, а в перерывах обходили гостей, собирая «на ноты». Но главный заработок и их, и хозяев трактиров был, конечно, не этот официальный. Они должны были уметь обслужить разгулявшихся купчиков частным образом, в отдельных кабинетах.

Что тут происходило, – начиная с самых роскошных гостиниц и кончая так называемым «самокатом», где ютились кутежные учреждения самого низкого разбора, – не поддается описанию!

Успенского интересовали эти парии. Он непременно хотел видеть их в той обстановке и в те часы, когда начиналась их обязательная служба, и сговорился с Короленко отправиться на ярмарку ночью.

Но тут он натолкнулся на некоторое противодействие. Авдотья Семеновна Короленко была женщина аскетического склада, и «жрицы веселья» возбуждали в ней непобедимое отвращение, пугали ее. Она не допускала и мысли, чтобы Владимир Галактионович и Успенский, которого она высоко ценила, отправились ночью в этот вертеп.

Взглянув с тонкой усмешкой на Короленко, Успенский не настаивал. В свое время все разошлись по своим комнатам спать.

Каково же было изумление Авдотьи Семеновны, когда утром Успенский явился домой с ярмарки.

Не желая вносить разногласие в семью, он оставил в покое Владимира Галактионовича, преспокойно ночью вылез в окно и отправился-таки на ярмарку.

За утренним чаем, он попросил прощения у Авдотьи Семеновны за свое непослушание и рассказал несколько комических сценок, которые ему удалось подсмотреть и которые поддавались передаче.

Авдотья Семеновна махнула на него рукой, как на человека, не укладывающегося в общие мерки.

Несмотря на такие «уклонения», она очень полюбила Успенского, как и он ее, почувствовав в ней человека глубоко искреннего, что ценилось им выше всего. Всякая фальшь, искусственность, наигранность вызывала в Успенском абсолютное неприятие.

Помню, с каким возмущением рассказывал он о полученном им письме от начинающего поэта Д. С. Мережковского.

Мережковский, еще совсем юноша в то время, избрал Успенского своим поверенным, хотя был с ним еле знаком, и написал ему, что встретил девушку, которая ему очень понравилась, но он не может решить, жениться ему на ней или нет. Он не знает, любит ли он ее, не понимает, что такое любовь и просит Успенского объяснить ему это и научить его любить.

– Научить его любить! – изумленно повторял Глеб Иванович. – Научить его, дурака, любить!

Не знаю, что он ответил Мережковскому, но вряд ли переписка между ними продолжалась – слишком это были несходные люди.

После ярмарки Успенский решил поплыть на пароходе по Волге. Дяде нужно было в то же время быть по делам в Уфе. До Самары он мог присоединиться к Успенскому. Тетя, забрав меня, надумала проводить дядю до Самары.

Эта поездка по Волге осталась в моей памяти, как одна из самых приятных и интересных. Я долго берегла веточку туи, которую сорвала в пароходной рубке на память об Успенском.

ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ. МОСКВА. В ПЕТЕРБУРГЕ

Наконец, наступил знаменательный год окончания гимназии.

Я и моя ближайшая подруга Чачина получили золотые медали. И не право на медаль, как давали потом, а тяжелые настоящие золотые кружочки.

Чачина сразу же реализовала свою медаль, я – несколько лет спустя.

В это лето в Нижний съехалось человек 12–15 бывших институток, окончивших курс десять лет назад. Так у них было условлено по окончании курса. Условие выполнили только около половины институток, но и это нас, только что окончивших гимназию, чрезвычайно удивляло. Десять лет, как кончили! Значит им теперь 27–28 лет. Какой интерес может представлять жизнь в таком, во всяком случае, не молодом возрасте? Другое дело 17–18. Это, действительно, молодость.

Две из моих одноклассниц уже успели этим летом выскочить замуж. Одна против воли родных за студента, другая – против своей воли за священника.

Наиболее близкие мои подруги уезжали осенью в Москву, на курсы. Меня тетя не пустила. Она находила, что я слишком молода – мне было 16 лет – и мне полезнее пробыть еще год дома, усовершенствоваться в языках и подготовиться по истории, которую я хотела избрать специальностью.

Я немного поплакала, но вскоре утешилась. И вот почему. Подруги мои уехали в Москву и поступили на фельдшерские курсы. А меня не привлекала ни Моск-

ва, ни фельдшерство. Я хотела непременно ехать в Петербург на Высшие женские курсы, именовавшиеся Бестужевскими, хотя их основатель Бестужев уже умер. Курсы эти были закрыты несколько лет, и прием возобновился только в прошедшем году.

А еще у меня начинался мой первый серьезный роман. Героем его был тот самый молодой статистик, который полтора года назад наступил на нос Чачиной.

Он чуть не каждый день приходил к нам к послеобеденному чаю, причем всегда заставал нас еще за обедом и неизменно говорил:

– Как вы долго обедаете.

В конце концов, не выдержав, я сказала ему:

– Почем вы знаете, что мы долго обедаем? Вы ведь не видели, когда мы начинали?

Он засмеялся своим густым басистым смехом. Ему не приходило в голову, что люди могут обедать в разное время.

Вскоре я убедилась, что заходит он главным образом не ради дяди, а ради меня. Когда мы встречались где-нибудь, я постоянно ловила на себе его взгляд, и мне это льстило. Взрослый человек! К тому же я слышала, что у него есть невеста на Рождественских курсах. Значит, он предпочел ей меня. Это тоже было лестно.

Однажды мы возвращались домой вдвоем с собрания Трезвых Философов – впрочем, не совсем вдвоем, шла вся компания, и дядя с тетей, и Короленко, и Елпатьевские, – но мы с ним ушли далеко вперед.

Когда мы подходили к дому, он сказал:

– Как на вас красиво отражается луна!

Меня смутила некоторая пошловатость комплимента, но все равно я была приятно взволнована.

Так этого мало. Дело дошло до пожимания рук, хотя прямо он ничего не сказал. Мне не нужны были слова, я и без них понимала его чувства.

Заметила ли мое состояние тетя, я не знаю. Мне она ничего не говорила, как и я ей. Но только она предложила мне поехать с ней в Петербург. Сама она ездила туда ежегодно повидаться со старой матерью. Меня в последние годы она не брала, не хотела прерывать занятия в гимназии. Теперь я была свободна, ничто не мешало ехать. Она отпускала меня неделей раньше, одну, чтобы проездом через Москву, я повидалась со своими подругами.

В Москве жил в то время мой отец с семьей, и мне было интересно познакомиться с сестрами и братом. Я видела только старшую из сестер. Отец привозил ее к нам погостить летом, чтобы мы могли сойтись.

Несмотря на свой роман, я с радостью согласилась – слишком заманчивой представлялась перспектива. А вернувшись, я успею наверстать потерянное время.

Москва встретила меня радушно. Сестры, брат и мачеха отнеслись ко мне очень тепло. Отец всячески старался меня развлечь, водил нас в театры. Мачеха подарила брошку – у меня еще никогда не было никаких украшений.

Но вот жизнь подруг-курсисток как-то не удовлетворила меня, хотя состоялось знакомство с несколькими студентами и была даже вечеринка. Ученье на курсах представлялось мне чем-то весьма серьезным и важным, а они, видимо, своим занятиям придавали очень мало значения. Недаром мне не хотелось на фельдшерские курсы. Они часто пропускали лекции, дома ничем не занимались, и почти все время у них уходило на чаепития со студентами.

Интересно было, конечно, пойти на настоящую студенческую квартиру. Хотя разговоры показались мне мало содержательными, а на вечеринке пели все те же украинские песни, что и у нас. Никаких принципиальных споров так и не затеялось. Должно быть, все присутствующие придерживались одинаковых взглядов.

Когда приехала тетя, я без особого сожаления оставила Москву и уехала с ней во влекущий меня Петербург.

Первый раз я ехала туда взрослой. Остановиться мы должны были на этот раз у дяди Иннокентия. Это меня очень интриговало. С ним жили два его молодых пасынка. Оба уже окончившие университет – один врач, другой чиновник, и сын, правда еще школьник, гимназист.

В их семье мне все сразу очень понравилось. Молодежь оказалась веселой, оживленной. Сам дядя Кеня был еще так молод и, как дядя Николай Федорович, обладал большим остроумием, хотя несколько иного характера, не таким непосредственным и непритязательным, но, пожалуй, более тонким и острым. И гости у них бывали тоже все молодежь, но молодежь уже взрослая и какая-то более интересная, чем наши милые статистики. Разговоры их отличались большим блеском и содержательностью.

Единственно, кто мне мало нравился и сильно смущал – это моя тетушка, хотя и она приняла меня приветливо и ласково. Я чувствовала в ней что-то чуждое, и мне казалось, что она пытается придать жизни семьи иной, не свойственный Анненским, тон. Не нравилось мне и то, что на стол у них подавал лакей в белых перчатках. Правда, я скоро убедилась, что этот лакей Арефа был простой и славный украинский парень, вывезенный ими из Киева. Лакейство, несмотря на все старания Дины Валентиновны, к нему совершенно не прививалось. От лакея у него были только белые нитяные перчатки. В остальном он сохранил и своеобразный русско-украинский язык, и непосредственность обращения деревенского парня.

Из всей семьи до некоторой степени усвоил тон хозяйки только младший сын Валя, и то больше по присущей ему лени.

Сидя за обедом, он вдруг заявлял:

– Арефа, налей мне воды.

Меня это возмущало.

– Валя, – вмешивалась я, – как тебе не стыдно. Ведь графин с водой перед тобой. Неужели ты не можешь сам налить?

Но Дина Валентиновна сейчас же обрывала меня:

– Оставь, пожалуйста, Таня. Арефа здесь именно для того, чтобы нам прислуживать.

Дядя Кеня отпускал какую-нибудь шутку. Остальные смеялись, и инцидент был исчерпан.

Вне обеда никто не обращался с Арефой, как с лакеем, и сам он чувствовал себя, как в родной семье. Он прожил у Анненских несколько десятков лет, женился, народил кучу детей, которые жили и воспитывались тут же. Ушел он только после смерти Иннокентия Федоровича и Дины Валентиновны.

Мне было очень весело, легко и свободно среди всей этой молодежи, никуда не хотелось уходить.

Только один совершенно неожиданный визит смутил меня. Как-то Арефа заявил мне:

– Туточки к вам, Танечка, пришла какая-то дивчина.

Никаких знакомых «дивчин» у меня в Петербурге не было. С удивлением выйдя в переднюю, я встретила совершенно незнакомую девушку.

– Я такая-то, – представилась она. – Вы, вероятно, слышали обо мне от... – и она назвала имя того, с кем у меня начинался роман.

Имя ее я, действительно, слышала, хотя совсем не от него. Он о ней никогда не упоминал.

Неприятно смущенная, я позвала ее в нашу с тетей комнату, радуясь одному – что тети не было дома.

Несколько минут мы обменивались обязательными вступительными фразами.

Наступило молчание. Не хотелось прерывать его. И вдруг она обратилась ко мне:

– Я слышала, что вам нравится Н. К. Вы ему тоже нравитесь. Ему необходимо жениться. Выходите за него замуж.

Я почувствовала прилив бурного негодования.

– Если ему почему-то необходимо жениться, так и выходите за него сами! Вы же его невеста, а не я.

Я знала, что у нее в Петербурге был роман с другим сибиряком, который увлекал ее гораздо больше. Она, очевидно, сделала отчаянную попытку избавиться от своего жениха.

Мне было и смешно, и досадно. Легкая влюбленность, сильно потускневшая за время путешествия, улетучилась в один миг.

– Да ведь он же вам нравится, – настаивала она.

– Нравился, – ответила я. – А теперь перестал. Притом я хочу учиться, а вовсе не заводить семью.

И я быстро перевела разговор на другие темы, стала расспрашивать ее, довольна ли она курсами и когда кончает их.

Она посидела еще несколько минут и стала прощаться.

Проводив ее, я вернулась, точно окрыленная.

Последние остатки какой-то связанности с недавним прошлым спали с меня, как шелуха с ореха, я чувствовала себя свободной и веселой, как никогда. Хотелось смеяться и шутить. Компания для этого была очень подходящая.

В это время всех волновало совместное самоубийство Рудольфа, наследника австрийского престола, и артистки Марии Вечера. Портреты Марии Вечера с распущенными волосами продавались в каждом киоске. Трагическая сторона этого происшествия абсолютно не затронула нас. Но густые белокурые волосы Марии Вечера дали повод называть меня ее именем и всячески дразнить.

Я отшучивалась, как умела, и время летело незаметно.

С большой грустью покидала я Петербург. Правда, следующей осенью мне предстояло приехать в него, но тогда все уже будет по-другому. Я приеду учиться, а не веселиться и не буду жить больше в этой милой веселой семье.

Иннокентий Федорович произвел на меня в этот раз совершенно другое впечатление, чем я представляла его себе по своим детским воспоминаниям. И все же я еще не способна была тогда понять его. Я должна была сама значительно умственно вырасти. Он в тот приезд показался мне просто очень милым, веселым и остроумным человеком. И я даже про себя кое в чем обвиняла его. Я считала, что он слишком подчинился своей красавице-жене и многое в своей жизни устроил в угоду ей, не так, как нравилось мне. Мне и в голову не приходило, насколько это неважно для него. Я не понимала, что живет он совсем другим и просто не замечает окружающей обстановки, не понимала, что для него единственно важное – сохранить неприкосновенной свою внутреннюю свободу.

Вернувшись в Нижний, я очень быстро дала понять моему недавнему приятелю, что нашей дружбе пришел конец.

Вероятно, он уже кое о чем догадывался по письмам из Петербурга, так как не проявил особого удивления.

Так окончился мой первый роман со «взрослым».

Не знаю, из порядочности ли, или вследствие неудачи в Петербурге, но моя «соперница» к концу зимы приехала в Нижний и повенчалась со своим женихом. Я на свадьбе не присутствовала, но слышала, что она была не слишком веселой.

ОТЪЕЗД НА КУРСЫ. ПЕТЕРБУРГСКИЕ РОДСТВЕННИКИ. А. Н. ТКАЧЕВ. БАБУШКА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Последнее лето в Нижнем прошло у меня чрезвычайно глупо. Был среди статистиков еще один молодой человек, избравший меня предметом своих нежных чувств. При этом он держался совсем иной системы. Он попробовал проявлять ко мне внимание, но мне он совершенно не нравился, и я всячески избегала его. Тогда он решил действовать напрямик. Узнав как-то, что дяди с тетей нет дома, он пришел ко мне. Это было на масленице, и у меня собралась молодежь на блины. Пришлось пригласить и его, хотя это никому не было приятно. Он отказался, но попросил у меня разрешения поговорить о деле.

Я позвала его в дядин кабинет, и там он заявил, что получил приглашение поступить преподавателем в учительскую семинарию. Его ответ зависит от меня. Если я согласна выйти за него замуж, он примет место, если нет – откажется.

Я была совершенно ошеломлена. Это было первое официальное предложение. Но он мне решительно не нравился, и я хотела непременно поступить на курсы. Конечно, лестно получить официальное предложение. Но так неожиданно! В столовой ждали гости, и я, право, не знала, как тут быть. Как можно деликатнее я заявила ему все-таки, что выходить замуж не собираюсь и не люблю его. Он ответил на это, что все равно нет и быть не может достойного меня человека, а выходить замуж как-никак нужно, так почему бы и не за него.

Но это не убеждало. А главное, меня смущало: что там думают гости? Так или иначе, надо было возвращаться к ним. Я сказала, что никак не могу быть его

женой, не могу более оставаться с ним и чтоб он меня извинил.

Он встал, крайне обиженный, и наконец ушел, а я вернулась к гостям, красная и расстроенная. Веселые блины были вконец испорчены.

Но на этом наша глупая история не кончилась.

Хоть он и грозил не принимать место, если я ему откажу, он все же принял его и, к моему большому облегчению, уехал, но просил в виде компенсации писать мне.

С этого началась история моей глупости. Я не только получала его письма, но считала своим долгом отвечать на них. Сначала он все пытался убедить меня изменить свое решение. Здесь я была тверда, и отвечала всякий раз, что мое решение неизменно. Поздней весной он сообщил, что одиночество слишком тяготит его, а на новом месте он встретил девушку, которая полюбила его и готова разделить его горькую участь. Он, разумеется, равнодушен к ней, так как вторично полюбить не в состоянии. Он все равно будет думать обо мне и свою первую дочь назовет моим именем.

Если бы во мне была капля разума, я бы очень обрадовалась и от души поздравила его. Но во мне была большая доза принципиальности и бездна наивности. Я ответила ему, что жениться, не любя, неблагородно. В какое положение он ставит полюбившую его девушку и какое мрачное будущее готовит и ей, и себе.

В ответ я получила телеграмму:

«Свадьба расстроена, выезжаю Нижний».

Меня это ударило, как обухом по голове, и я поняла, какую безграничную глупость я совершила.

У нас была уже нанята дача в Растяпине, и я малодушно стала торопить тетю скорее переезжать.

Переехать мы успели, но это не спасло меня от последствий моей глупости.

Через несколько дней злополучный жених был тоже в Растяпине и все лето тенью ходил за мной, заставляя меня тяжко искупать свою опрометчивость.

Когда он получил мое нелепое письмо, ему и в голову не пришло, что во мне говорит чистая принципиальность. Он был уверен, что умело возбудил мою ревность и что я раскаиваюсь в своем решении и хочу вернуть его. Никакие уверения долгое время не помогали. Он принимал их за уловки кокетства и продолжал убеждать меня не отказываться от своего счастья.

Только осенью мы расстались, недовольные друг другом, на этот раз уже навсегда. Вскоре я услышала, что он женился. К моему удивлению, свою первую дочь он все же назвал моим именем. Но встретились мы с ним только в Петербурге, когда не только его, но и мои дочери выросли.

Летом в воздухе стала чувствоваться тяжесть. Даже дядя, всегда веселый и жизнерадостный, приезжал к нам на дачу озабоченным. Все Поволжье охватил сплошной неурожай. Ясно было, что крестьянам не могло хватить хлеба и до середины зимы. Между тем, правительство не принимало никаких мер для обеспечения населения хлебом. Оно упорно закрывало глаза на предстоящее бедствие. Земство тоже почти ничего не делало. Надвигался голод. Но всякое упоминание о нем строго запрещалось цензурой, чтобы не смущать покой тех, кого народное бедствие коснуться не могло.

В «Русском богатстве» цензор заменил слова «голодный мужик» на «не вполне сытый крестьянин», хотя это звучало гораздо ядовитее. Либеральные газеты всячески обходили цезурные запреты и старались обиняками привлечь общественное внимание к тревожным событиям в деревне.

Правительственная пресса с «Новым временем» во главе издевалась над этим и утверждала, что все обстоит благополучно.

Я, конечно, тоже вслушивалась в разговоры о грозящем зимой голоде. Но это было еще далеко, а сейчас все мои мысли были поглощены Курсами, куда я осенью должна была, наконец, поступить.

Тянуло меня туда чрезвычайно. Но по мере того, как приближалось время отъезда, мне все труднее и труднее было думать о разлуке с семьей. Я еще никогда не расставалась с тетей надолго, и знала, что, если меня и захватит новая обстановка и новые интересы, то ей будет тяжело оставаться без меня.

Тетя не делала ни малейшей попытки отговорить меня, хотя вовсе не была уверена, что я приобрету на Курсах больше знаний, чем если бы я интенсивно занималась дома под дядиным руководством. Но она понимала, что студенческая жизнь сама по себе такой магнит, против которого в юности трудно устоять. Я исполнила ее желание, пробыла год дома после гимназии, и теперь она без всяких возражений отпускала меня, т.е. не отпускала, а отвозила – она сама ехала со мной.

Это меня немножко смущало – везут меня, точно девочку отдавать в институт, но в то же время было очень приятно пробыть с ней еще лишнюю неделю.

Теперь тетя решила остановиться не у дядиного, а у своего брата. Меня это очень огорчило.

Андрей Никитич Ткачев был чрезвычайно своеобразный человек, абсолютно чуждый по своему складу своему брату, Петру Никитичу, и сестрам – моей матери и тете, хотя всех их и меня тоже искренно любил.

Человек, безусловно, неглупый и очень способный, он обладал исключительно развитым духом противоречия и умом, не творческим, а только критическим.

Если б его брат и сестры были последовательные монархисты, он, быть может, стал бы крайним революционером. А в данном случае он считал детскими бреднями все их взгляды и стремления. Но сам он ни на чем определенном остановиться не мог.

И во всем видел только отрицательные стороны. Сам про себя он говорил:

«Он целый век искал чернил
И все чернил, чернил, чернил...»

При этом самоуверенность в нем была громадная, и спорщик он был отъявленный и крайне неприятный. Когда ему что-нибудь рассказывали, он убежденно возражал:

– Анекдот, душа моя, и бессмысленный анекдот!

Моего дядю он в спорах доводил до белого каления.

– Это ты говоришь, ты говоришь, – накидывался Андрей Никитич на дядю, – а я говорю...

Как будто то, что он говорил, было незыблемой истиной.

Жизнь его сложилась крайне неудачно. При своих больших способностях, он ничего крупного не сделал ни в одной области, хотя и брался за многое.

В ранней молодости он поступил на службу в почтовое ведомство, быстро пошел по службе, но нашел всю постановку дела никуда не годной. Вышел в отставку и решил посвятить себя педагогической деятельности. Он кончил, как и дядя, два факультета – исторический и юридический – и стал учителем истории, причем его интересовала больше всего древняя история. Он даже издал книгу для чтения по истории Греции. Взрослой я не видела эту книгу и не могу судить о ней, она у меня пропала. Он подарил ее мне, когда я была ребенком и уезжала с тетей в Сибирь. Он сделал на ней надпись:

«Да будешь ты Аспазией,
Любимой всею Азией».

Но и педагогика не удовлетворила его. Он бросил педагогическую карьеру и записался в присяжные по-

веренные. Видимо, и здесь он проявил свои способности, так как его пригласил в помощники знаменитый в то время адвокат Спасович. Но ни уголовные, ни политические дела не удовлетворяли его. Он сосредоточился на гражданских и был приглашен юрисконсультом к самому богатому человеку в России – князю Юсупову. Но состояния на этой выгодной службе он не составил, так как не умел приспосабливаться.

Скоро и это ему надоело, и он решил заняться сельским хозяйством. Он взял у матери доверенность на управление ее имением, утверждая, что при умелом управлении оно может давать хороший доход. Может быть, это и было верно, но он, во всяком случае, извлечь из имения дохода не смог. Мне случилось во время его тяжелой болезни быть там по его просьбе. Меня поразили следы его хозяйствования. Сторона это лесистая. Так он почему-то решил все надворные строения сделать глинобитными. В пожарном отношении это, возможно, и хорошо, но были они удивительной конструкции и походили на маленькие пирамиды, крайне неудобные для использования.

К земству Андрей Никитич, конечно, отнесся отрицательно, с соседями перессорился. Когда началась Государственная Дума, он был избран депутатом от монархической партии. Сидел он в Думе на крайне правых скамьях.

В спорах с дядей он приводил того в негодование, говоря о знаменитом мракобесе Пуришкевиче:

– Володя большой шалун, но славный человек.

Думаю, что и в правых он, в конце концов, разочаровался бы, но тут он умер от удара, не успев ни разу выступить в Думе.

В то время, о котором я говорю, он был еще присяжным поверенным, но жил не в Петербурге, а в Павловске, где сам выстроил себе дачу, довольно красивую и занялся... живописью. Начал он со своего портрета.

Дядя уверял, что это не он, а Пугачев в клетке перед казнью.

В этот же период он внезапно женился на женщине, в которую был влюблен в ранней юности и которая, к его несчастью, тогда овдовела, оставшись с большой семьей взрослых детей.

Семья эта была и оставалась совершенно чуждой ему, да и Андрей Никитич года через три развелся со своей женой.

Младшая падчерица, приблизительно моего возраста, очень удивилась, что я поступаю на Курсы.

– Говорят, там очень портят почерк, – единственное, что она нашла мне сказать.

Я с неприятным чувством провела у них несколько дней, пока тетя не устроила меня в общежитие Курсов.

Но вот все формальности были выполнены, и я осталась в собственной комнате на пятом этаже нанятой Курсами квартиры. С завтрашнего дня я могла начать слушать лекции – могла, не должна была, как гимназические уроки. Впрочем, пропускать лекции я вовсе не собиралась, я именно жадно стремилась слушать профессоров. Приятно было только сознание независимости. Хотя я очень скоро убедилась, что независимостью-то мы именно и не пользовались.

Как бы то ни было, моя мечта осуществилась – я была полноправная курсистка. Тетя по обыкновению сдержанно простилась со мной и уехала назад в Нижний.

Тут меня стала мучить мысль о ней. Как она перенесет разлуку со мной? Не слишком ли это будет тяжело для нее? Имела ли я право причинить ей такое огорчение?

Мне вспомнилась единственная истерика, какую я у нее видела, когда она думала, что навсегда потеряла меня. Теперь она, правда, не потеряла меня, но рассталась, быть может, тоже навсегда.

Я мучилась, мучилась и решила обратиться за советом к моему дорогому со-дядюшке, В. Г. Короленко, всегда помогавшему мне в трудные минуты.

Я изложила ему свои сомнения и стала с нетерпением ждать ответа, решив поступить так, как он скажет, даже, если придется бросить курсы.

Ответ пришел и, как всегда, снял с меня тяжесть.

Короленко писал мне, что теточка – человек выдержанный и сильный, умеющий переносить и более серьезные испытания. Ей, конечно, грустно без меня, но с ней дядя, интересующая ее работа и близкие друзья. За нее опасаться нечего. А вот если бы я сразу отступилась от принятого решения, это был бы очень плохой показатель для меня. Значит, я решилась на свой первый самостоятельный шаг без достаточной уверенности в нем. Вообще, очень плохо не уметь выполнять своих решений и отступаться от них, когда выполнение оказывается несколько тяжелей, чем мы предвидели.

Словом, раз уж я считаю нужным непременно поступить на Курсы, то я и должна на них учиться и взять от них все, что они могут дать.

Я читала это письмо, и тяжесть спадала с моей души. Если так думает Владимир Галактионович, значит, я могу спокойно отдаться новой жизни.

Мне пришлось, впрочем, столкнуться еще с одним противодействием, но его я не считала справедливым, хотя оно и причиняло мне некоторые неприятности.

Я упоминала, что в Петербурге жила моя бабушка, тетина мать. Это была оригинальная старушка, чрезвычайно независимого склада. Она не хотела стеснять никого из своих детей и предпочитала жить совершенно одна, несмотря на преклонный возраст. Тетя очень любила ее и взяла с меня слово каждое воскресение навещать ее. Мне это было трудновато, и не только потому, что жила она на противоположном конце го-

рода – под Смольным, а я на Васильевском острове. Тяжело было безмолвно выносить ее обращение со мной. Никакой нежности, какую питают бабушки к собственным внучатам, она ко мне не питала. Напротив, она сразу встретила меня, что называется «в штыки». При тете она ничего не сказала мне, но в первый же раз, как я к ней приехала уже одна, она прочитала мне целую проповедь, исполненную горечи.

– Что это ты выдумала? – встретила она меня. – Как ты смела оставить тетку? Она твоя благодетельница. Она тебя кормила, поила, воспитывала, а как только ты подросла и могла бы стать ей помощницей, ты ее бросила.

– Тетя сама отпустила меня учиться, – робко заметила я.

– Знаю я это учение! – резко прервала она меня. – Говоришь об учении, а сама думаешь о политике.

Бабушка не могла забыть о судьбе младшего любимого сына, Петра Никитича, которого по ее мнению погубила политика.

– Словом, я сказала тебе, что считала нужным; ты же делай, как знаешь. Только предупреждаю тебя. Можешь приходить или нет, это твое дело, но разговаривать с тобой я не буду.

И она слово сдержала, как и я свое, данное тете. Каждое воскресение я приезжала к ней на бесконечных «конках» и встречала гробовое молчание.

– Можно принести вам чаю, бабушка? – спрашивала я.

– Принеси, – лаконично отвечала она.

Я приносила чай из общей кухни, молча наливала ей, она молча выпивала. Я молча мыла посуду и ставила ее на место.

– Можно вам почитать газету, бабушка?

Мария Николаевна внимательно следила за политикой по своей излюбленной газете «Сын отечества».

– Почитай, – отвечала она. Я читала. Она молча слушала. Потом я молча складывала газету, вставала и говорила: – До свидания, бабушка.

Целовала маленькую сухонькую ручку, которую она неохотно подавала мне – она вся была ростом с худенькую двенадцатилетнюю девочку, и уходила до следующего воскресения.

Так продолжалось из недели в неделю два года. Попытки родных смягчить ее ко мне не приводили ни к чему. Она выслушивала их, качала головой и оставалась при своем.

Только, когда я перешла на третий курс, она вдруг смилостивилась:

– Ну, Бог с тобой, Таня, учись уж. Должно быть, ты, правда, приехала учиться. Коли тетка отпускает, учись. Только никогда не забывай, чем ты ей обязана.

И с тех пор она благоволила спрашивать меня о моих занятиях, в особенности об экзаменах. Очень ее удивило, что у нас читается богословие, и это даже отчасти примирило ее с курсами. Я, конечно, умолчала о том, что читается оно при пустой аудитории.

НАЧАЛО КУРСОВОЙ ЖИЗНИ. МОИ ТОВАРКИ. ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗНАКОМЫЕ

Вначале я добросовестно посещала все лекции и на большинстве вела записи, но вскоре убедилась, что это пустая трата времени.

Лишь немногие профессора по-настоящему заинтересовали меня. Их лекций я не пропускала. Прежде всего, профессор философии А. И. Введенский, читавший нам чрезвычайно интересно курс древней греческой философии. Потом курс русской истории с древнейших времен, читавшийся С. Ф. Платоновым. Талантливо, но как-то небрежно читал сравнительное язы-

кознание Шляпкин, пересыпая лекцию совершенно не идущими к делу анекдотами.

Остальные лекции слушала небольшая группа курсисток, относившихся к лекциям, как к гимназическим урокам. Они добросовестно, без малейшей критики, слушали все, вели подробные записи и хорошо сдавали экзамены, но таких было незначительное меньшинство. Большинство относилось к лекциям более сознательно, выбирали те курсы, которые их действительно интересовали, слушали их, беседовали с профессорами, читали книги, которые те им рекомендовали. Некоторые с самого начала явно готовили себя к научной карьере, другие просто хотели получить общее образование и взять от курсов все то, что они могли дать.

Я смотрела на дело так же, и у меня сразу образовался кружок симпатичных мне курсисток, который оставался неизменным во все продолжение курса, пополнившись только еще несколькими.

Прежде всего, я познакомилась и сошлась с М. А. Колендо, получившей, как и я, отдельную комнату, через коридор от меня. Выяснилось, что и ее интересует история. Мы с увлечением слушали с ней лекции Платонова и часто просили его указать нам, какие книги надо прочитать. Он обратил внимание на нас и даже пригласил к себе в гости.

Помню, с каким волнением отправились мы с ней к самому профессору. Путь лежал через весь город. Он познакомил нас со своей женой, которая нам тоже очень понравилась, и показал целую кучу детей, заинтересовавших нас мало.

Тогда мы, наверное, не поверили бы, если бы кто-нибудь сказал нам, что через несколько лет этот самый Платонов станет для нас не только чуждым, но даже враждебным. В первое время курсовой жизни мы еще мало знали общественную физиономию своих профессоров и оценивали только их научные силы.

Кроме Колендо, мне с первых же дней очень понравилась моя другая соседка М. Ф. Николева, хотя с ней на первых порах у меня было совсем мало общего. Она привлекала своей непосредственностью и горячей жаждой знаний. Правда, к серьезным занятиям в то время она была совершенно не подготовлена. Дочь сельского священника, она окончила епархиальное училище, где программа была гораздо уже гимназической. И читала она тоже весьма мало, так как доставать книги в училище было абсолютно невозможно. Жажду знаний заронил в нее, вероятно, ее отец, сам человек малообразованный, но к науке относящийся с большим уважением.

Не только Курсы, но и самый Петербург чрезвычайно поразил провинциальную епархиалку. Она с трудом ориентировалась в нем. Одну дорогу она, правда, сразу запомнила – от нас к Николаевскому вокзалу. Два раза в неделю, пешком, она совершала это громадное путешествие, относя на вокзал письма к отцу. Почтовым ящикам она не доверяла.

Другая наша товарка, сибирячка Кускова, напротив, настолько уверовала в столичную цивилизацию, что, как мы потом узнали, опускала свои письма в ящики с надписью «Для писем и газет». Не знаю, что думали жильцы, находя в своих ящиках письма, адресованные в Томск.

Николева, с которой я очень скоро сблизилась, охотно делилась со мной своими петербургскими впечатлениями. Я старалась, не задевая ее, распутывать ее недоразумения. Однажды она вернулась домой, очень довольная.

– Ну вот, – сказала она, – я теперь познакомилась с одним студентом.

– Как же это случилось? – вскричала я, зная ее застенчивость

– То есть не то что познакомилась, а узнала его фамилию. Я ехала на конке и ясно слышала, как один сту-

дент сказал другому: «Подвиньтесь-ка, коллега, тут и для меня найдется местечко».

Она была очень разочарована, когда я объяснила ей, что коллега, это вовсе не фамилия.

Несмотря на такую бездну наивности, Николева стала быстро усваивать все, что необходимо было знать. Своим природным умом она улавливала самое существенное в лекциях профессоров. Конечно, во многом ей приходилось догонять нас, но ее это не смущало. При своей неудержимой жажде знаний и нетронутых возможностях, она надеялась, что преодолеет все трудности. Так, в конце концов, и случилось.

Все мы жили в общежитии, и всех нас оно одинаково не удовлетворяло. Заниматься там, правда, было удобно, так как соблюдалась полная тишина. Но в остальном мы чувствовали себя институтками под надзором воспитательницы. Возвращаться требовалось к 11 часам. Принимать гостей можно было лишь в общей приемной. Если мы хотели пойти в театр, необходимо было просить разрешения у заведующей. Это тяготило, и мы решили со второго же полугодия устроиться на частной квартире. Здесь нужно было заручиться согласием родителей и разрешением директора. В то время директором Курсов состоял Кулин, вследствие чего наши Курсы прозвали кулинарными.

В сущности, по тем временам Кулин был совсем неплохим директором. Мы очень пожалели о нем, когда его сменил сын петербургского митрополита Райский, не умевший выговорить слово «лаборатория».

До своего отъезда тетя свела меня к нескольким своим литературным друзьям. Лесевичей я помнила еще по детским воспоминаниям о Казани. Пойти к ним мне было даже приятно. Меня привлекал сам Владимир Викторович Лесевич, человек совершенно отвлеченный, но чем-то, безусловно, обаятельный. Он принци-

пиально не соглашался ездить в конках, только что пред тем введенных.

– Вдруг, – с глубоким возмущением говорил он своим тонким, немного гнусавым голосом, – я сижу в вагоне, а туда входит... Чуйко (его литературный враг). Что же мне делать? На ходу я выскакивать не могу.

В самых обыденных явлениях он искал доказательств отвлеченных законов.

Однажды он с увлечением объяснял В. Г. Короленко, что нашел в уличном движении проявление «закона интервалов».

– Обращали ли вы внимание, Владимир Галактионович, на движение экипажей по Невскому проспекту? Они едут сплошной лентой, потом вдруг наступает перерыв, затем вновь сплошная лента и снова интервал, и так далее...

– А вам не кажется, Владимир Викторович, – замечал Короленко, – что на происхождение интервалов оказывают влияние городовые на углах поперечных улиц, которые, поднимая руку, заставляют экипажи останавливаться, чтобы пропустить поток из пересекающей улицы.

– Неужели? – с искренним изумлением восклицал Лесевич, хлопнув себя по высокому лбу. – А ведь это возможно, – прибавлял он, минуту подумав.

О своем тесте, дряхлом старике, почему-то не симпатичном ему, он говорил:

– Пармен Петрович уже начал сверять часы с барометром.

Сам Лесевич до конца жизни сохранял полную ясность мысли в научной области и был чрезвычайно последователен и принципиален.

Дядя мой говорил, что у него «личность» против духа святого – с такой страстностью он боролся с религиозными предрассудками.

Его чрезвычайно интересовал параллелизм мифов в разных религиях. Он изучал их тщательно и добросовестно и уверял, что миф об Иисусе Христе не что иное, как повторение одного из мифов Буддизма.

Буддизм он вообще выделял из других религий и считал его выше христианства. По его совету тетя перевела, действительно, прекрасную и очень поэтичную книгу Ольденберга «Свет Азии».

У него было собрано множество вывезенных с Востока статуэток Будды и разные буддийские символы. Дядя уверял, что Лесевич с тетей совершают тайные буддийские богослужения перед стеклянным шкафчиком, где стояли эти реликвии.

В жизни Владимир Викторович был очень привлекательным человеком, умевшим так же горячо любить своих друзей, как ненавидеть врагов.

У Лесевичей я с удовольствием бывала по воскресениям, на обратном пути из-под Смольного, от бабушки. Я отдыхала у них от тяжелого осадка, остававшегося всегда после этого обязательного визита.

Владимир Викторович искренне возмущался обращением со мной бабушки, но тем не менее не уговаривал меня прекращать визиты, потому что он любил и ценил тетю, обещание которой я дала. И если она находила нужным мои посещения – значит, надо исполнять.

Другое знакомство, оставленное в наследство от тети, были Семевские: он удаленный из университета профессор русской истории, его жена – писательница Елизавета Николаевна Водовозова, автор очень популярной в свое время книги «Жизнь европейских народов» и интересных мемуаров.

У Семевских, на их знаменитых вторниках, собирался весь либерально-литературный мир Петербурга. Тетя думала, что мне будет интересно, а может быть и полезно, бывать у них и встречаться со всеми литературными знаменитостями.

Полезным для меня было, в сущности, только знакомство с самим Василием Ивановичем Семевским. Он мог не только рекомендовать, но и давать мне нужные книги по русской истории.

Из остальных знаменитостей, наиболее интересным для меня был кумир молодежи того времени Николай Константинович Михайловский. Семевский специально представил меня ему. Василий Иванович помнил, что Михайловский очень хорошо относился к моей покойной матери. Но такие сентиментальные воспоминания для Михайловского не имели никакой цены. На молоденьких барышень он обращал внимание только с точки зрения флирта, но предпочитал более опытных молодых окололитературных дам. А я для него была уж совершенно неподходящий материал.

Из Нижнего я вынесла чрезвычайно аскетический тон отношений. В нашей юной компании аскетизм доходил до крайности, да и среди наших взрослых, хотя молодых и веселых «отцов», флирт был совершенно не принят.

Тот тон, какой я наблюдала здесь, был мне совсем не по душе. Теперь-то я, конечно, понимаю, что ничего в нем не было плохого. Собирались у Семевских действительно серьезные и, вероятно, утомленные работой люди. Ничего преступного они не совершали, когда после легкой, на самом деле легкой, выпивки за ужином немного флиртовали и даже танцевали.

Меня же это крайне шокировало. Главное, сама я очень любила танцевать, но с настоящей молодежью, с теми немногими из студентов, которые снисходили до такого легкомысленного времяпрепровождения.

Но видеть, как после ужина вальсируют почтенные люди, тот же Михайловский, Семевский, Киреев, казавшиеся мне чуть ли не стариками, мне страшно не нравилось. Они и танцевали-то весьма посредственно. Их дамы, в том числе маленькая, толстенькая Водовозова,

были с моей точки зрения еще более неэстетичны. Если бы кто-нибудь из этих знаменитостей вздумал пригласить меня, я бы сочла себя оскорбленной. Но такая опасность мне явно не угрожала.

Елизавета Николаевна на первом же «вторнике» до такой степени смутила меня, что я решила никогда больше не переступать их порога.

Когда ужин кончился, и веселые гости начали танцевать, я, по провинциальной привычке, подошла к хозяйке и робко сказала:

– Благодарю вас.

В Петербурге благодарить за обед и ужин было не принято. Но она, конечно, не могла не понять, о чем я говорю, и могла бы пощадить неопытную девчонку. Вместо этого она сделала вид, что совершенно не понимает, в чем дело.

– Что? Что такое? Что вы говорите?

– Я поблагодарила вас, – сгорая от стыда, пробормотала я.

– Поблагодарила? За что? Я, кажется, вам ничего не сделала.

– За ужин, – чуть не плача, прошептала я.

– Ах, это! Ну, у нас за это не благодарят.

И все-таки после этого конфуза я продолжала иногда бывать у них, но вовсе не из желания побыть среди знаменитостей, тем более что своих нижегородских взрослых друзей я ценила ничуть не ниже петербургских. Кроме знаменитостей, я встречала там молодых людей, в то время никому не известных, но для меня очень интересных.

У Елизаветы Николаевны оставалось от первого мужа, известного педагога Водовозова, два сына. Старшего, Василия, я почему-то в это время не помню. Может быть, он не бывал на журфиксах матери.

Зато младшего, Николая Васильевича, я помню хорошо. Он тогда еще был студентом, но по развитию,

по уровню знаний, по начитанности смело мог бы быть профессором. Он меня очень интересовал, но и несколько смущал, хотя был немногим старше меня. Значительно больше я сошлась с двумя его товарищами, тоже студентами, Николаем Дмитриевичем Соколовым и Михаилом Петровичем Миклашевским, особенно с первым. Близкая дружба с ним длилась всю нашу жизнь, до самой его смерти в 1925 году. Я сохраню о нем самые светлые воспоминания.

Тогда он был моим первым знакомым студентом, кончившим университет, а я только еще поступила на Курсы. Наружность у него была почтенная – черная окладистая борода, черные зачесанные назад волосы и всегда длинный сюртук – сначала студенческий, потом черный.

Он и его друг Н. В. Водовозов были одними из первых социал-демократов в Петербурге. Часто бывая у меня, когда я переехала из общежития, он нередко встречался в моей комнате с другим моим другом Владимиром Михайловичем Тренюхиным. До самой смерти Владимира Михайловича в 1934 году сохранялись наши с ним дружеские отношения. Тренюхин был тогда страстным народником, и почему-то его чрезвычайно огорчала моя близость с социал-демократом. Он считал их людьми сухими и черствыми, не знающими и не любящими «народ». С Н. Д. Соколовым всякий раз, как они встречались, завязывались страстные споры, а я и мои подруги-курсистки изображали весьма пристрастную аудиторию. Все мы, кроме одной, были на стороне более начитанного и красноречивого социал-демократа Соколова, с его ассирийской бородой и сдержанными, уверенными жестами. Его оппонент, тощий и длинный, как Дон-Кихот, бритый, с острым носом и страстной горячей речью, аргументировал более от сердца, чем от ума, хотя был ничуть не глупее Соколова.

Почему-то из тех споров мне больше всего запомнилась постоянно употребляемая метафора о России, переживающей сейчас муки родов. Едва ли этот образ мог много говорить двум одиноким юношам, оставшимся, кстати, до конца жизни холостяками.

Ни один из них не пошатнул воззрений другого, несмотря на всю их убежденность и страстность, подогреваемую еще больше присутствием целой плеяды увлеченных слушательниц.

К концу первого полугодия моей курсовой жизни в Петербург приехал мой отец. Вообще он нередко бывал в Петербурге. Я ему всегда очень радовалась. А когда я поселилась самостоятельно с тремя подругами, его приезд стал праздником не только для меня. Бюджеты у нас были очень ограничены, не более 25–30 рублей. Этого хватало в то время и на плату за комнату (10 р.), и на обед (9 р.), и на чай, сахар и хлеб (3–4 р.), и на конку, и на покупку лекций, и на стирку и баню (2 р.). Но лишнего не оставалось ничего. Так что позволить себе что-нибудь, кроме самого необходимого, мы никогда не могли.

Отец старался всячески побаловать нас. К чаю появлялись масло, сыр, закуски, сладости. Мы с наслаждением ели сами и угощали приятельниц. Отец мой очень меня любил и старался по возможности продлить свое пребывание в Петербурге. Но в этот его первый приезд лекции уже кончались, и я получила от тети деньги на дорогу в Нижний, чтобы провести Рождественские каникулы дома. Я невероятно обрадовалась. За три с половиной месяца жизни отдельно от семьи я так стосковалась, что не могла дождаться отпускных дней. А служебные дела отца задерживали его еще дня на два. Он уговаривал меня подождать его, чтобы мы могли вместе доехать до Москвы. Но мысль отсрочить еще на два дня свидание с тетей и дядей привела меня в такое отчаяние, что я не могла удержаться от слез. Отец

не настаивал, но я видела, как ему обидно и грустно. Мне было жалко его, и все-таки, что я могла сделать? Моей настоящей семьей были как-никак тетя с дядей. С ними я была связана такими неразрывными нитями любви, что даже кровные узы были перед ними бессильны. Отцу приходилось примириться с этим. У него была вторая семья, в которую я не входила. Он помнил, что моя мать еще при жизни отдала меня своей сестре, и он не мог возражать против этого.

Так мы и поехали врозь с ним.

Мои подруги по Курсам не уезжали на Рождественские каникулы, и, когда я вернулась к 10 января, оказалось, что три из них успели за это время уйти из общежития и устроиться на частной квартире. Они позаботились и обо мне, там же наняв комнату и для меня. Я была страшно рада. Хозяйка обещала давать нам и обед за те же девять рублей, какие мы платили на курсах.

В первый же день по приезде мы с подругами уплатили за квартиру и обед по 19 рублей за месяц вперед.

И вдруг!..

Сойдясь вчетвером к обеду, мы увидели, что у подававшей нам обед кухарки... проваленный нос. Я совсем недавно от гимназических подруг – теперь учениц фельдшерской школы – узнала, что это значит. Но, конечно, узнала далеко не все, что надо было бы знать, и меня охватила паника.

Менять квартиру было уже поздно, ведь деньги мы отдали вперед. Да и кухарка не оказывала нам никаких услуг и комнат наших не убирала. Мы сочли, что не особенно рискуем. Но есть приготовленный ею обед мы были не в состоянии. И вот начались наши мытарства, продолжавшиеся целый месяц. Мы стали лавировать. Каждый день мы сообщали, что получили «приглашение на обед». В обеденное время мы уходили из дома и бродили по Васильевскому острову, пока не находили, что пора «вернуться с обеда». Но такие прогулки не

насыщают. Просить у родных лишних денег ни я, ни мои подруги не считали возможным. Мы ограничивались покупкой французской булки и раз в два дня полуфунта колбасы. Вернувшись, мы пили чай.

Легко себе представить, с каким восторгом мы встретили моего отца, приехавшего к концу этого «постного месяца». Я, правда, постеснялась рассказать ему, в чем дело, но на закуски и сласти, которыми он нас щедро угощал, мы набросились с исключительной жадностью.

КРАСНЫЙ КРЕСТ. ВОЛНЕНИЯ НА КУРСАХ

В первый же год моей курсовой жизни Н. Д. Соколов свел меня с организацией, в которой я деятельно участвовала все время, пока она существовала, – с «Обществом помощи ссыльным и заключенным», или «Политическим Красным крестом». Я прошла в ней по всей ее иерархии. Сначала я была сборщицей пожертвований на Высших женских курсах, потом представительницей Высших женских курсов в Центральном бюро, его секретарем, казначеем и, наконец, председательницей Центрального бюро.

Эта работа меня сразу захватила. Я считала своим долгом привлечь к ежемесячным, хотя бы минимальным вспомоществованиям, всех своих однокурсниц и аккуратно собирала их взносы. Как ни странно, это мне удавалось, по крайней мере, в течение двух лет. Вероятно, я так увлеклась не только из-за симпатичной мне цели общества, но и потому, что это была первая общественная функция, которую я исполняла, и я за честь считала не ударить в грязь лицом.

В этот же первый год студенческой жизни мне пришлось принять участие в первой у нас курсовой «истории».

Время было тихое, никаких студенческих волнений ни в Петербурге, ни в Москве не происходило. Мне здесь не повезло. И до моего поступления на Курсы, и после окончания их, «волнения», как правило, сопутствовали студенческой жизни. Не могу скрыть, бабушка моя была отчасти права: надежда принять участие в настоящей студенческой «истории» играла не последнюю роль в моем стремлении на Курсы.

И вдруг – ничего. Студенчество вело себя тихо и мирно. Начальству не к чему было придраться.

Надо сказать, что социал-демократы не были сторонниками студенческих волнений и видели в них не «смотр сил», как прежние революционеры, а бесплодную их растрату. Они не пользовались поводами, какие всегда бывают для раздувания страстей.

Была небольшая демонстрация на похоронах Шелгунова осенью 1890 года, но настолько незначительная, что о ней и упоминать нет смысла.

Примириться с любезной начальству тишиной было трудно. Не поручусь, что такое настроение не сыграло роли в происхождении той маленькой, не разлившейся широко истории, которая разыгралась у нас на Курсах.

Кому-то из нас, не помню кому, пришла в голову мысль, что 19 февраля, день освобождения крестьян, должен быть признан общегосударственным праздником.

Вся наша наиболее деятельная на первом курсе группа энергично принялась за пропаганду этой мысли.

Большая часть курсисток и на нашем, и на двух старших курсах, отнеслась к затее сочувственно. Против были только «вдовы», прозванные так безо всякого отношения к их семейному положению, принадлежавшие по типу к гимназическим первым ученицам. Противодействия «вдов» мы не боялись, тем более что их было немного.

Оставались профессора. Уговорить их не читать лекций 19 февраля было труднее. Они состояли на государственной службе и манкировать ею без достаточного основания не имели права. Ведь этот день не был включен в красные дни календаря.

Но ссориться с курсистками многие профессора тоже не хотели, и большинство остановилось на иезуитском решении. На Курсы они придут, но если окажется, что аудитории пусты, читать лекций не станут.

Исключение составил, безусловно, лучший наш профессор Александр Иванович Введенский.

Он прямо заявил, что не желает идти на поводу у курсисток, на Курсы придет, и будет читать лекцию, окажись в аудитории хоть одна слушательница. Повторять лекцию он не намерен.

Мы были в полном негодовании. Введенский срывал все дело. Ведь у него, несомненно, будет не одна, а немало слушательниц. Кроме «вдов», у него были страстные поклонницы. Они ни за что не согласятся нанести обиду любимому профессору.

Мы обратились к директору, но он, конечно, отказал. Он лицо официальное и не имеет права вводить неуставные праздники.

Курсы волновались. Слухи о наших волнениях дошли и до так называемых «комитетских дам», т. е. членов комитета для доставления средств Высшим женским курсам. Комитет этот был очень деятельным. Главным образом, благодаря его хлопотам, возобновился прием на Курсы. Он же, при помощи благотворительных сборов с лекций и концертов, получал деньги для содержания Курсов.

В состав комитета входили известные в то время общественные деятельницы – Н. В. Стасова, О. К. Нечаева, А. П. Философова и др. Узнав об агитации курсисток, они тоже заволновались. Как бы чего не вышло. Как бы слухи не дошли до правительства, оконча-

тельно подорвав и так шаткую в высших сферах репутацию курсисток.

Некоторых зачинщиц, в том числе и меня, вызвали в кабинет директора, где сидело несколько комитетских дам, для родительского внушения.

Самым ласковым тоном они убеждали нас отказаться от своей затеи.

Но мы твердо стояли на своем. Мы, мол, не имеем права отказаться. Так решил коллектив.

Они пропустили мимо ушей эти доводы, утверждая, что мы подвергаем риску само существование Курсов. В правительственных кругах ждут только предлога, чтобы опять придраться и опять, уже окончательно, прекратить прием на Курсы.

Мы не слишком поверили им – уж очень ничтожным казался нам повод.

– Напрасно вы так думаете, – сказала О. К. Нечаева. – Мы знаем, что говорим. Смотрите, будете раскаиваться. Не берите на себя ответственность за существование Курсов. Иногда приходится поступаться своим самолюбием ради более серьезной цели. Вы не жили сознательной жизнью десять лет назад, и вы не знаете, на какие жертвы пришлось пойти нам. После цареубийства первого марта все учреждения и все учебные заведения должны были доказать свою благонадежность. Потребовали того же и от нас. Вы думаете, нам легко было составлять всеподданнейший адрес от Курсов и подписывать его? Но мы это сделали ради сохранения Курсов! – закончила она с торжеством.

Мы переглянулись. На лицах у всех отразилось недоумение.

Тогда я взяла на себя смелость выразить общее мнение.

– Вы считаете, мы можем быть благодарны за такую жертву? Уж лучше бы Курсы закрыли. А так на них легло пятно этого всеподданнейшего адреса.

Наша бесчувственность исполнила негодованием комитетских дам. Из их родительского увещевания ничего не вышло. Мы расстались, взаимно недовольные друг другом.

Буря в стакане воды не прекращалась. Поднялось недовольство в среде самих курсисток, усилившееся, когда в общих чертах стал известен наш разговор с комитетскими дамами. Многие поддались страху и убеждали нас дать отбой. Но хотя нас вовсе не удовлетворял ход нашей затеи, мы не считали это возможным.

Наступило 19 февраля, и тут Введенский помирил всех. Он явился, как и предупреждал, и к чему мы были готовы. Но перед началом очередной лекции он неожиданно произнес митинговую речь, оскорбившую всех курсисток.

Он обозвал курсисток стадом баранов, бессмысленно идущих за своими вожаками, а вожаков – трусами, прячущимися за спины других.

И «бараны», и «вожаки» были жестоко обижены. Некоторые из собравшихся на лекцию после этих слов выскочили из аудитории. В несколько минут весть о нанесении курсисткам оскорбления облетела все Курсы.

Пока он дочитывал лекцию, буквально все Курсы столпились на широкой лестнице, по которой он должен был спускаться.

Едва он показался из аудитории и пересек залу в направлении лестницы, из толпы курсисток раздалось шиканье, все усиливавшееся по мере того, как он спускался.

Я хорошо помню эти неприятные минуты. Помню его, теперь красное, непривычно смущенное лицо. Помню, как он остановился вверху лестницы, как будто намереваясь, что-то сказать. Но шиканье не прекращалось. Он махнул рукой и стал спускаться точно сквозь строй, намеренно неторопливо. Помню и рас-

красневшиеся лица курсисток, расстроенные, не торжествующие.

Чувствовалось, что исполнение этого, как они считали, долга совсем не было им приятно. Как-никак мы освистали лучшего из своих профессоров, хотя в данном случае и зарвавшегося.

Слух об инциденте, конечно, быстро распространился. Ему, правда, очень трудно было придать политическую окраску, но в «сферах» решили, не закрывая Курсы, в назидание исключить двух или трех зачинщиц.

Мы втроем уже готовились к интересной роли пострадавших героинь.

Но – новая сенсация!

Никого не исключили! И – что самое неожиданное – не исключили по требованию – не по просьбе, а по требованию – профессора Введенского.

Узнав на заседании комитета профессоров о предстоящих исключениях, он заявил, что, если хоть одна курсистка будет исключена по этому делу, он немедленно уйдет с Курсов навсегда.

Лишиться таким образом лучшего профессора было в высшей степени неловко. Нас оставили. Из героинь мы превращались в прощенных – пусть мы и не просили о прощении – и обязанных своему принципиальному врагу. Нам жалко было бы расставаться с Курсами. Но и положение наше оказывалось далеко не приятным.

ГОЛОД

Впрочем, наши мысли в это время были в значительной степени отвлечены другим. Худшие опасения понимающих людей осуществились. Охвативший все Поволжье неурожай вследствие не своевременно принятых мер, породил к концу зимы острый голод в ряде приволжских губерний. Отрицать это было уже труд-

но. Правительственная пресса пыталась только затушевать размеры бедствия, а администрация – по возможности городить препятствия попыткам общества придти на помощь голодающим. Но это было нелегко. Молодежь настойчиво пользовалась всяческими лазейками, чтобы пробраться на места и принять участие в борьбе с голодом.

Под Москвой вел энергичную борьбу с голодом Л. Н. Толстой, в Нижегородской губернии – В. Г. Короленко.

Во всех высших учебных заведениях, да и во многих средних шли сборы на голодающих. Наши Курсы тоже были захвачены общей волной. Многие курсистки отложили экзамены на осень и, не дожидаясь конца занятий, поехали в деревни открывать столовые.

Я со своей ближайшей подругой и сожительницей М. А. Колендо решила тоже поехать в Нижний и просить В. Г. Короленко поручить нам одну из столовых. Он нас направил в Сергачевский уезд.

Нам было очень страшно, когда мы подъезжали к селу Китаеву, где предстояло открывать столовую. Но все устроилось легко и просто. Мы созвали сход и изложили наше дело. О столовых крестьяне уже слышали. Остро нуждавшихся в селе оказалось много, и нам тут же выделили дом для столовой и избу для нас. Вызвались две бабы-стряпухи и несколько крестьян для помощи в закупках.

Контроль был взаимный и очень внимательный, так что нам удалось сделать необходимые закупки не дороже, чем в других столовых, и составить списки обедающих без особых обид и неудовольствий. С местным населением мы подружились. Бабы приносили нам лечить ребят. Правда, из нашего лечения получалось мало проку. Как мы ни бились, истощенные ребятишки не хотели выздоравливать. Наконец, приехавший земский доктор определил эпидемию скарлатины. Должно быть,

он доложил об этом в земской управе, и через некоторое время пришло постановление закрыть нашу столовую, как распространяющую заразу, а взамен ее выдавать крестьянам продукты.

Крестьяне, не верившие в заразу, очень огорчились, да и мы тоже. Мы были уверены, что в деревенских условиях зараза и без столовой будет распространяться. Но делать было нечего. Приехал земский начальник проследить за немедленным исполнением решения, и нам пришлось спешно ликвидировать полюбившееся нам дело.

Правда, наступило лето, и столовые повсюду закрывались.

Моя подруга уехала к своим, а я вернулась в Нижний. Там моя столовая причинила мне еще много волнений. Я составила подробный отчет об израсходованных суммах. Тетя просмотрела его и вдруг спросила меня:

– Почему же ты нигде не указываешь, что получила 100 рублей от Петербургского комитета грамотности?

– Да я их не получала.

– Как не получала, когда мне их прислала А. М. Калмыкова (председатель комитета), и я сразу же переслала их тебе.

Я страшно смутилась. Тетя – человек такой аккуратный, положительный, не могла ничего перепутать. Значит, вина моя.

Стали искать квитанцию, она не находилась. Тогда тетя припомнила, что поручила отправку Владимиру Галактионовичу. Он каждый день ходил на почту и по дороге заглядывал к нам. Спросили его, но он не помнил. Он получал и отправлял такую массу денег, что мог и забыть, а в аккуратности тети и он не усомнился. Вспомнив, когда все это могло быть, на почте, где все его знали, перепроверили отправки, но никаких следов

не нашли. Тетя решила, в конце концов, покаяться во всем Калмыковой, предлагая ей возместить по частям эту сумму.

Через неделю пришел ответ. Калмыкова писала, что действительно списывалась с тетей о посылке денег для моей столовой, но за множеством дел до сих пор не успела этого сделать.

Вот какие шутки играет иногда с людьми память.

Дядя и Короленко поиздевались, конечно, над теточкой, но не слишком. Уж очень она сама была смущена. Я же только радовалась, что у меня не оказалось упущения в отчете.

Дядя постоянно подсмеивался над тетей за ее обстоятельность и некоторую медлительность. Иногда даже раздражался, особенно в моменты отъездов или сборов куда-нибудь.

– Теточка ведь считает, что время должно с ней сообразовываться, а не она со временем, – уверял он.

Он припоминал, что в молодости моя мать и тетя стали учиться вместе стенографии. Мать моя стала лучшей стенографисткой в Петербурге, а об ее сестре преподаватель говорил:

– Александра Никитична пишет медленно, но четко.

От этого пошла шутка, которой они с Владимиром Галактионовичем дразнили теточку:

– Медленно, но четко выступает тетка.

Все эти шутки носили, конечно, вполне добродушный характер. Короленко чрезвычайно высоко ценил тетю и нежно любил ее.

Отношения между тетей и дядей носили до глубокой старости, лучше сказать, до смерти дяди, такой внимательный, любовный характер, какого мне не приходилось наблюдать ни у какой другой супружеской пары. И это несмотря на полное несходство характеров, на чрезвычайную самостоятельность и независимость

обоих и на неудержимую дядину горячность и вспыльчивость.

Ссоры между ними бывали вовсе не редко. Я помню, когда я еще спала в кроватке с решеткой, раскаты гневного дядиного голоса и тетины спокойные, но твердые ответы. На какой почве происходили эти столкновения я тогда, разумеется, не понимала и со страхом повторяла про себя:

– Только бы дядя не убил теточку.

Позже я убедилась, что столкновения эти происходили всегда на почве несходства во мнениях и носили чисто принципиальный характер, ничуть не лишавший их горячности.

Помню их жаркие споры в момент введения земских начальников. В ту пору эта реформа волновала многих.

Земские начальники – ближайшая к крестьянам власть, и власть почти бесконтрольная, в то же время носившая чисто сословный характер. В земские начальники назначали местных помещиков, главным образом из разорившихся или недоучившихся дворян. От них не требовалось никакого образовательного ценза. В их руках находилась и административная, и судебная власть, хотя до сих пор считалось аксиомой, что эти две власти не могут сосредотачиваться в одних руках. Но Александра III такие предрассудки не смущали.

Реформа эта вызвала большие волнения и негодование среди передового общества. И дядя, и тетя были вполне согласны в ее оценке. Но как бы к ней ни относиться, она была введена.

И тут начались разногласия. Дядя находил, что ни один порядочный человек не должен идти в земские начальники. Тетя считала, что раз закон прошел и изменить его нельзя, лучше уж, чтобы земскими начальниками становились люди честные и порядочные. Не-

счастные крестьяне, целиком зависящие теперь от них, все-таки будут меньше страдать.

Началось со споров, но ни дядя, ни тетя не уступали. Каждый твердо стоял на своем. Дядя начинал горячиться, повышал голос, осыпал тетю упреками, обвинял ее в обскурантизме, кричал на нее во весь голос, бегал в исступлении по комнате, потрясал кулаками. Но тетя не пугалась и не уступала не на шаг.

Я буквально дрожала. Я была на дядиной стороне, считала его по существу совершенно правым, но мне так страшно было за теточку, так жалко ее.

Во время одного из таких поединков пришел Владимир Галактионович

– Что такое? – вскричал он. – Супруги Анненские разводятся? У окон народ собирается, хотят звать городового.

Ничего подобного, конечно, не было.

Дядя, все еще охваченный спорщицким жаром, апеллировал к нему:

– Нет, Вы послушайте, Владимир Галактионович, какую ересь проповедует теточка. Она считает...

– Что и говорить, – прерывал Короленко, – теточка у нас известная обскурантка. Но не помиловать ли ее ввиду приближающегося времени чаепития. А?

Дядя махал рукой и подтягивал брюки. Он не любил носить подтяжек, и это был его привычный жест.

Тетя приготовляла чай, но дядя долго не мог успокоиться и все снова и снова начинал развивать свои аргументы, стараясь привлечь Владимира Галактионовича на свою сторону.

Короленко отшучивался, чтобы не подливать масла в огонь. Принципиально он был согласен с дядей, но, хорошо знакомый с жизнью в деревне, он понимал, что иногда приходится идти на компромиссы, чтобы сколько-нибудь защитить крестьян от жуткого произвола.

В конце концов, спор затихал до нового повода.

Только в самые последние годы жизни дяди эти столкновения прекратились. У него обнаружилась болезнь сердца. Тетя боялась для него всяких волнений и уступала ему во всем.

ВТОРОЙ ГОД НА КУРСАХ. НАШИ ПРОФЕССОРА. СЕМЬЯ БЕРНШТАМ. ИСТОРИЯ САШИ МЯКОТИНА. ПОЕЗДКА В НИЖНИЙ

На курсах за время нашего отсутствия состоялось постановление, согласно которому слушательницы должны были жить или в интернате или у родственников. Дядина сестра, тетя Маша, к тому времени окончательно разошлась с мужем и, так как он очень мало давал ей, стала сдавать комнаты жильцам. Приехав в Петербург, я уговорила ее сдать комнаты мне и моим подругам, подав директору заявление, что все мы пятеро ее племянницы. Директор смотрел на формальную сторону сквозь пальцы и дал разрешение.

Нам очень хорошо жилось у тети Маши, хотя особого порядка у нее в доме никогда не было. Сама она была никакой хозяйкой, а ее кухарка Матреша отличалась более любопытством, чем кулинарными талантами. Она постоянно подслушивала у наших дверей и с увлечением пересказывала хозяйке наши разговоры, как она их понимала. Счастье, что хозяйкой была тетя Маша, а то могли бы выйти для нас какие-нибудь неприятности.

Раз она прибежала к Марии Федоровне и с волнением сообщила ей:

– Барыня, тут у наших барышень студент один бывает, так ему, сказывают, объявили на выбор – или на шесть недель на отсидку или на вешалку.

А у нас в эту зиму бывало немало студентов, которые сильно рисковали если не «вешалкой», то, во всяком случае, отсидкой и не на шесть недель.

Бывали у нас и два студента Лесотехнической академии, один из которых был вскоре сослан в Нижне-Колымск и потерял в пути двух детей. Один по дороге туда замерз, а другой, родившийся в ссылке, на обратной дороге задохнулся под отцовской шубой. Его товарищ был настоящим кумиром петербургских курсисток. К нему на Лесной проспект, где находилась Академия, отправлялись на паровике целые группы поклонниц, любовавшихся его длинными кудрями и ловивших каждое его слово.

Не помню, почему он оказал нам честь, сообщив, что желает посетить нашу коммуну, хотя из нас ни одна не ездила к нему на поклон.

Мы с некоторым волнением ждали прихода такой знаменитости. Явился он часа на два позднее назначенного времени. На наши вопросы, почему он так поздно, ответил, что ему пришлось долго колесить по городу, чтобы избавиться от шпионов, следующих за ним по пятам.

– Да вы этак собрали к нам шпионов со всего Петербурга, – непочтительно заметила одна из нас.

Он промолчал и только презрительно покосился на говорившую.

Разговор долго не клеился, но, наконец, мы стали его спрашивать – тогда это считалось возможным, – к какой из революционных партий он принадлежит?

– Ни к какой, – с гордостью ответил он. – Ни одна меня не удовлетворяет. У меня свой план, как поднять революцию в народе.

– Какой же? – с интересом спросила одна из нас.

Он обвел нас внимательным взглядом своих больших черных глаз, тряхнул пепельными кудрями – именно это сочетание делало его неотразимым – и, видимо оставшись удовлетворенным общим вниманием, заговорил конспиративным тоном:

– Я решил произвести демонстрацию, которая всколыхнет всех – а не только одно студенчество.

Мы притихли. Вот оно – самое важное.

– Я устрою аутодафе на Казанской площади.

– Аутодафе? – раздался удивленный вопрос.

– Да. Я публично сожгу там свод законов.

Я не раз слышала от Владимира Галактионовича, что закон единственная защита от произвола.

– Почему же свод законов? – с недоумением спросила я. – Законы это ведь все-таки лучшее, что у нас есть.

– Так я не все тома, а только десятый, где законы против политических.

Тут недоумение стало всеобщим.

– Кто же будет знать, какая книга горит? – наивно спросила одна из наших сожительниц.

– А пропаганда? Агитация? – ответил он с апломбом.

Но все же чувствовалось, что эффект не удался. Одна из нас стала поспешно наливать чай, кстати, поданный Матрешей.

После чая разговор на затронутую тему не возобновлялся. Вскоре красавец из Лесного института ушел, явно недовольный нашей невосприимчивостью.

Мы посмеялись между собой и решили, что не войдем в новую партию.

Эта зима была вообще самой занятой и наполненной за все время нашего пребывания на Курсах.

Прибавились интересные профессора. Начал читать Иван Михайлович Гревс, вскоре ставший самым популярным из профессоров, хотя читал он довольно специальный курс – историографию средних веков.

Лектор он был очень талантливый, и в его изложении такая, по-видимому, сухая материя, как историография, оживала и даже волновала. Он рисовал прекрасные образы историков средневековья, делал экс-

курсы в их работы, захватывая внимание всей аудитории. Скоро у него образовалась группа постоянных учениц, не меньшая, чем у Введенского. Да и те, кто не принадлежал к признанным поклонницам, с удовольствием и с пользой принимали участие в его интересных семинарах.

Параллельно с ним читал историю средневековья профессор Форстен. Не особенно блестящий лектор, он совершенно не искал популярности, избегая разговоров и знакомств с курсистками. Но его лекции были так содержательны и интересны, что невольно захватывали внимание. Даже экзамены Форстен умел сделать интересными, пользуясь любым поводом, чтобы раздвинуть наш исторический горизонт.

Он развеял, как дым, вынесенный из гимназии миф о самой скучной эпохе – средневековье, да еще, что история средневековья трудная и запутанная.

С самим Форстеном у нас не завязалось никаких знакомств, но многие из нас пришли к мнению, что как раз история средневековья наиболее интересная и нет в ней запутанности и особой трудности.

Интенсивно занимаясь на Курсах, мы не хотели отставать и в понимании общественных вопросов. Прежде всего, мы решили изучить как следует труды Маркса. Пригласили по чьей-то рекомендации руководить нашими занятиями одного специалиста-марксиста.

К сожалению, рекомендация оказалась не из удачных. Может быть, сам он и хорошо знал Маркса, но передать свои знания совершенно не умел. Монотонным голосом он читал одну главу за другой, предлагал трафаретные вопросы и давал такие нудные объяснения, что к концу занятий начинало сводить челюсти.

Никак я не могу вспомнить, одолели ли мы с ним хотя бы первый том. Возможно, ему, как и большинству развивателей, пришлось продолжить свои уже оди-

нокие занятия на Шпалерной в ДПЗ, где мне приходилось бывать по делам Красного Креста.

Дома у нас тогда бывало довольно много народа, благо квартирная хозяйка ни в чем нас не стесняла.

Больше всего мы сблизились с кружком сибиряков, в который, кроме студентов-сибиряков входили известный исследователь Сибири Г. Н. Потанин, его жена и другой сибиревед Ядринцев. Это были люди, безусловно, интересные и подкупавшие беззаветной преданностью своему делу. Они горячо интересовались Сибирью, изучали ее, гордились ею, пророчили ей громадное будущее и готовы были всякого, ничем, в сущности, с Сибирью не связанного, обратить в свою веру и увлечь открывающимися перед ней блестящими перспективами.

Я начала гордиться тем, что хоть и в 6 лет, но провела чуть не целый год в настоящем сибирском городке Таре.

В этом году началась наиболее для меня ценная дружба, не прерывавшаяся до ее смерти, с Марией Вильямовной Беренштам, позже Кистяковской, одной из самых умных и интересных женщин, с которыми меня сводила судьба.

Она была несколько старше нас по возрасту и значительно развитее и начитаннее. Мне очень понравилась и вся ее семья, с которой она меня вскоре познакомила. Отец – убежденный украинофил Вильям Людвигович, его старшая дочь, Анна Вильямовна, игравшая роль хозяйки в семье, рано лишившейся матери, и два брата-студента, Владимир и Михаил. Меньше других меня привлекал только старший из братьев, Владимир, человек, правда, очень талантливый. Он был удивительный рассказчик, и своими страшными историями, всегда случавшимися с ним самим, мог доводить слушателей чуть не до нервных припадков. Я до сих пор не могу равнодушно вспоминать рассказ о человеке, укушенном бешеной собакой, и всех его переживаниях.

Младший брат, на мой взгляд, был гораздо умнее его. Он не старался все время проявлять себя, держась гораздо скромнее. И все же самой умной и интересной была Мария Вильямовна.

У Бернштамов я познакомилась в тот год с некоторыми украинцами и с русскими украинофилами, нередко собиравшимися у них: с Цветковским, с киевским профессором Лучинским, приезжавшим иногда в Петербург, и с его учеником – молодым ученым-историком В. А. Мякотиным, работавшим исключительно над историей Украины.

Впоследствии Мякотин не продолжил ученой карьеры. Он перешел к публицистике и стал одним из редакторов журнала «Русское богатство». С Бернштамами и в особенности с Марией Вильямовной он состоял в очень близких, дружеских отношениях еще с Киева, где кончил университет.

Семья Мякотиных была очень дружная, и все они, братья и сестры, обожали свою старую слепую мать.

Однажды, встретив на Курсах Марию Вильямовну, я обратила внимание на ее печальный расстроенный вид. Я стала расспрашивать ее, не случилось ли у них дома чего-нибудь.

– Не у нас, – ответила она, – а у Мякотиных. У них исчез младший брат.

– Как исчез? – спросила я. – Арестован?

– Неизвестно. Он учился в Кронштадской гимназии. Оттуда запросили, почему он не явился в класс в понедельник, уехав в субботу к родным в Петербург. От них он ушел в воскресение вечером, сказав, что едет в Кронштадт, и они были уверены, что он там. От матери они скрывают. Саша – младший сын, ее любимец.

– Ну, это еще не так страшно, – заметила я, – может быть, просто поленился и остался у кого-нибудь из товарищей.

Мария Вильямовна покачала головой, но возражать не стала.

На другое утро, когда мы еще спали, к нам неожиданно нагрянула моя нижегородская знакомая В. Д. Маслова. Она тоже казалась расстроенной и взволнованной.

– Что с вами, Вера Дмитриевна? – удивилась я. – И почему вы без вещей, ведь вы, наверное, прямо с поезда?

– Нет, – ответила она. – Я приехала еще вчера и остановилась у своей старой знакомой Элинской. Мы с ней не спали сегодня всю ночь. Арестовали ее сына, гимназиста. Ночью у них был обыск, и самое странное, что сын забаррикадировался в своей комнате и отказывался пускать полицию.

– Что за нелепость, – заметила я. – Разве их можно не впустить?

– Ну да, конечно, – согласилась Вера Дмитриевна. – Они, понятно, ворвались, выломав дверь. Он стрелял, но никого не ранил, и его увезли. Мать с ума сходит. Это ее единственный сын.

Мы стали обсуждать, чем могло быть вызвано такое его поведение и знала ли мать о возможном участии сына в какой-нибудь революционной организации. Но она ничего не знала. Мальчик учился в Кронштадской гимназии. Они жили раньше в Кронштадте. Когда он приезжал к матери на воскресение, то почти не выходил из дома. Да у него и бывали только два товарища, Сапожников и Мякотин.

– Мякотин? – прервала я. – А в эту ночь он не ночевал у него?

– Нет. Почему вы думаете? – удивилась Вера Дмитриевна.

– Он исчез и не явился в понедельник в гимназию.

– Странно, – заметила Вера Дмитриевна. – Со мной всегда случаются странные вещи. Надо же мне было оказаться у них именно в эту ночь.

Я подумала, что странные вещи случились не с ней, а с Элинским и Мякотиным.

На курсах я опять видела М. В. Бернштам, еще более взволнованную, чем накануне.

О брате Мякотина все еще ничего не было известно. Но В. А. Мякотина вызывали в департамент полиции и расспрашивали о знакомствах его брата и о товарищах брата по гимназии. В. А. мог припомнить только двух, Элинского и Сапожникова. Брат редко выходил из дома по воскресениям, больше сидел с матерью.

Тут я прервала Бернштам и рассказала ей, что произошло в эту ночь у Эллинских. Мария Вильямовна встревожилась не на шутку. Я ее успокаивала. Очевидно, Мякотин тоже арестован. Какая-либо мальчишеская история, скоро все выяснится.

Миновало несколько дней. М. В. Бернштам все время была в волнении, но я не хотела ее расспрашивать. В конце концов, она не смогла больше сдерживаться.

– Произошла жуткая трагедия, – сказала она мне. – Около станции Плюсы нашли страшно изуродованный труп Саши Мякотина, без головы. Опознали только по случайно найденному в кармане письму. Не говорите никому. Семья хочет скрыть этот ужас от матери.

Я расспрашивала Веру Дмитриевну, но она ничего не знала.

Кроме Элинского, арестовали только Сапожникова. Больше ни о каких арестах – ни в Кронштадте, ни в Петербурге – не было слышно. В газетах появилась лишь одна маленькая заметка о найденном изуродованном трупе.

Так все и оставалось тайной до судебного разбирательства. Дело слушалось в Окружном суде. Очевидно, ему не придавали политической окраски.

Но и на суде далеко не все прояснилось. Лишь картина самого преступления. Оба обвиняемые, и Элинский, и Сапожников, упорно молчали.

По данным предварительного следствия удалось установить, что в понедельник утром трое молодых людей с охотничьими ружьями сошли с поезда Варшавской железной дороге на станции Плюсы и пошли по направлению к лесу. Двое были в гимназических шинелях, третий в черном пальто. Что произошло в лесу, неизвестно, выстрелов тоже не слышали. Спустя какое-то время на станцию вернулись двое. Жандарм утверждал, что это были двое из тех, что приехали утром. Они сели на поезд и уехали по направлению к Петербургу. Третьего никто больше не видел. Только спустя несколько дней тщательных поисков недалеко от опушки леса обнаружили страшно изуродованный труп без головы. Неподалеку нашли и голову с сорванной с лица кожей.

Когда подсудимым предоставили последнее слово, Элинский встал и произнес длинную речь, весьма запутанную. Суть ее сводилась к тому, что они трое задумали великое дело, долженствующее спасти всю Россию. Для осуществления этого дела требовалась великая жертва. Выбор пал на Мякотина.

Ввиду несовершеннолетия и некоторого сомнения в их нормальности их приговорили к восьми годам каторги и вечному поселению в Сибири.

За Элинским поехала его невеста – слушательница консерватории и, по отбытии им каторги, вышла за него замуж.

Прошло 15 лет. У меня была семья, и я работала в газете «Современное слово» редактором беллетристического отдела.

Раз, когда я вернулась из редакции, дядя сказал мне:

– К тебе заходил по делу какой-то Элинский и хотел зайти вечером.

– Элинский? – удивилась я. – Ты не ошибаешься?

Дядя не жил в Петербурге во время убийства Мякотина, и ему эта фамилия ничего не говорила.

Вечером пришел несчастный оборванный человек с толстой тетрадью под мышкой.

– Вы состоите в редакции «Современного слова»? Не можете ли вы напечатать там мои записки из жизни Сахалина?

– Что вы! – сказала я. – Это маленькая газета, там печатаются очерки не больше, чем в 200–300 строк. А у вас, видимо, большое произведение.

– А как вы думаете, – продолжал он, – если я обращусь в «Русское богатство»? Там печатают много сибирского материала.

– В «Русское богатство»? – переспросила я. А вы знаете, кто там в составе редакции?

– Ах! Так вы знаете, кто я? – вскричал он с волнением. – В таком случае я прошу вас разрешить мне рассказать вам мою историю.

Вид у него был такой жалкий, что я попыталась отговорить его. Но он стоял на своем, и мне пришлось выслушать его рассказ.

Это были тяжелые, мало что выяснившие минуты.

Он говорил, что они задумали огромное дело, которое должно было поднять революцию по всей России. Они хотели организовать стрелковое общество и уже вели о том переговоры с великим князем Владимиром Александровичем. У них было множество членов и в Петербурге, и по всей России. Как только было бы дано официальное разрешение, они начали бы в широких размерах вербовку членов. Вся Россия вооружилась бы, и тогда ничего бы не стоило поднять революцию.

– А при чем же тут Мякотин? – спросила я.

Он несколько смутился.

– Видите ли, раз, когда мы все трое ночевали у Сапожникова, он встал рано утром и поспешно ушел.

Я проснулся, подошел к его постели и под подушкой нашел книжку со списком наших членов. Я быстро оделся и пошел за ним следом. Как я и догадывался, он пошел прямо в департамент полиции. Я встал на другом берегу Фонтанки и стал ждать. Через некоторое время он вышел с растерянным видом, ощупывая свои карманы. Мы с Сапожниковым решили, что его надо устранить, пока он не повторил своей попытки.

Я смотрела на него с недоумением. Это опять был какой-то бред. Убить и изуродовать товарища, ничего не выяснив. Мало ли зачем человек мог пойти в Департамент полиции. Может быть, он хотел просить о свидании с кем-нибудь из арестованных. Но спорить с ним мне не хотелось. Дело было давно прошедшее, и он тяжело искупал свою вину.

– Вы все-таки думаете, что мне лучше не встречаться с Мякотиным?

– Я думаю, что это будет тяжело и вам, и ему.

Элинский ушел, и больше я с ним не встречалась. Первое время, как я слышала, он с семьей очень нуждался, но потом дела его поправились. Он занялся покупкой и продажей дач в Финляндии.

В. Д. Маслова вернулась в Нижний, затем уехала оттуда, наши пути разошлись.

Если не считать этого трагического эпизода, не касавшегося ни ее, ни меня, у нас так и не было никакого рокового столкновения, которое она с такой уверенностью предсказывала. И мы даже как-то перестали интересоваться друг другом.

С М. В. Бернштам мои отношения, напротив, все углублялись и упрочивались. У нее был в Петербурге гораздо более обширный круг знакомств, чем у меня. Она, между прочим, вела преподавание в воскресной школе для рабочих на Шлиссельбургском тракте. Я этому сильно завидовала. Это было очень живое дело, и партия социал-демократов придавала ему значение,

вербуя через школу членов в незадолго перед тем основанный Союз освобождения рабочих.

Мне очень хотелось тоже проникнуть в Шлиссельбургскую воскресную школу, но на мою просьбу допустить меня в число преподавательниц, последовал категорический отказ. Такую же участь имели и все мои следующие попытки добиться разрешения. Должно быть, тут сыграли роль мои нижегородские связи.

Пришла весна, и меня опять неудержимо потянуло в Нижний. Я получила письмо от Владимира Галактионовича. Он писал мне, что его сестра, живущая с семьей в Петербурге, хочет прислать к ним на лето свою двухлетнюю дочку Верочку, и они просят меня привезти ее к ним. Я съездила к Эвелине Галактионовне, сказала ей, когда я еду, и сговорилась, что она привезет девочку к отходу поезда.

Надо сказать, что на этот раз я была довольно нерасчетлива и денег на дорогу оставалось в обрез. Билеты продавались только до Москвы. В Москве на извозчике надо было переехать на Нижегородский вокзал и взять билет уже до Нижнего. Притом вещи в вагон брать не разрешалось. Пришлось сдать свой небольшой чемоданчик в багаж.

И вот, когда я в Москве понесла его сдавать, оказалось, что на багаж денег не хватает. Я уже обдумывала, что бы мне продать из своего скудного имущества, как вдруг вспомнила, что, прощаясь со своей дочкой, Эвелина Галактионовна завязала ей какую-то мелочь в уголок платка. Я решила ограбить ребенка и взяла у нее ее платочек.

Там оказалось, как теперь помню, 60 копеек. Этого как раз хватило для оплаты багажа, даже осталась 1 копейка, и мы могли продолжить свое путешествие. Ночь прошла спокойно, но при подъезде к Нижнему, мной овладело сильное беспокойство. Вокзал был тогда на ярмарочной стороне Оки. Во время половодья

понтонный мост через Оку не наводился, и взять извозчика до дома, где с ним расплатятся, было нельзя. Надо было брать извозчика за двугривенный до пристани перевозного парохода, платить пятачок за перевоз и на городском берегу нанимать извозчика до дома. А у меня не было ни двугривенного, ни даже пятачка.

Я, правда, надеялась, что кто-нибудь из Короленок встретит свою гостью, но все-таки не была в этом уверена, тем более что, по ограниченности финансов, я не телеграфировала о выезде.

Сердце у меня билось, когда поезд подходил к пустынной платформе. Но вот в окна мелькнула серая барашковая шапка Владимира Галактионовича, и все страхи сразу улетучились.

Он посмеялся над моей непредусмотрительностью и благополучно довез нас до дому, сдал сначала по принадлежности меня, а потом повез домой ограбленную племянницу.

Атмосфера в Нижнем была той весной совсем не такая, как обычно. Через год после голода по всему Поволжью свирепствовала холера, и вспыхивали вызванные ею холерные бунты.

Голод народ переносил безропотно, как Божье наказанье, помощь принимал с благодарностью. Он никого не винил в бедствии, хотя как раз тут-то и нетрудно было найти виноватого. А с холерой народ не хотел мириться. Надо было найти виновного, и он нашелся. Ими были, понятно, доктора, которым выгодно распускать болезни и получать плату за лечение.

Возникали всевозможные легенды. Некоторые своими глазами видели докторов, бросающих отраву в колодцы. Другие были свидетелями, как здоровых людей хватали крючьями и волокли в холерные бараки. Неудачные полицейские меры подогревали слухи, семьи не давали увозить в больницы заболевших. Дезинфекторов встречали в палки. То тут, то там толпа изби-

вала докторов и студентов-медиков. Все это создавало тревожное настроение. Ни о каком веселье, ни о каких катаниях на лодках и думать было нельзя.

В Нижнем, правда, было относительно спокойно. Эпидемия в нем еще не вспыхнула. Губернатор Баранов мог проявить энергию, не подрывая тем свою популярность.

Предварительные меры, принятые им, оказались довольно разумны, и, когда начались заболевания, они не вызвали такой паники, как в других местах.

Помню эпизод, связанный с холерой. В Нижний приехала из Москвы курсистка, которую постигла какая-то личная неудача. Ее мрачное настроение все усиливалось и кончилось попыткой самоубийства. К своим спасителям она отнеслась крайне раздраженно и упрямо заявляла, что все равно покончит с собой.

Об этом узнала тетя и попросила познакомить ее с курсисткой. Та пришла. Тетя стала спрашивать ее, действительно ли жизнь стала ей в тягость, и она твердо решилась избавиться от нее. Девушка отвечала утвердительно. Тогда тетя спросила, знает ли она, какое разразилось бедствие, и какой ужас испытывают те, на кого обрушивается эта страшная болезнь. А ухаживать за больными, облегчать их страдания мало кто соглашается. Слишком велик страх заразиться. Уход между тем очень прост и не требует специальной подготовки.

Коли ей жизнь не дорога, почему бы ей не предложить свои услуги. Если она заразится и умрет – ну что же, она к этому и стремится. Но все-таки прежде она облегчит страдания хоть нескольких несчастных, может быть и спасет кому-нибудь жизнь.

Тетины аргументы подействовали, как это ни странно. Девушка поступила сиделкой в холерную больницу, не заразилась и вышла оттуда, совершенно забыв

о своем намерении. Она приходила к тете и горячо благодарила ее за указание пути к спасению. Она поступила на фельдшерские курсы и занялась медицинской работой.

У меня не было ни достаточной самоотверженности, ни причин для сведения счетов с жизнью, я не последовала примеру курсистки. И я не уверена, что тетя так же спокойно направила бы меня в холерную больницу.

Осенью я с обычным удовольствием вернулась на Курсы.

Этот год на Курсах не оставил таких ярких воспоминаний, как первые два. Все уже было знакомо, хотя и приятно по-прежнему.

Прибавилось два новых профессора – чрезвычайно красноречивый, но, по-моему, не особенно содержательный И. А. Котляревский, читавший нам Байрона и романтизм, и Н. И. Кареев, читавший историю французской революции.

Тема настолько привлекала, что огромная аудитория оказалась переполненной. Кареев был полной противоположностью Котляревскому. Лекции его были очень содержательны, но лектор он был не блестящий, читал таким монотонным голосом, что драматические события в его изложении тускнели и внимание аудитории постепенно ослабевало.

Помню такой случай. Кареев излагал историю якобинских казней.

– Маркиз взошел на эшафот, – повествовал профессор, – и сказал... Дайте мне стакан воды, мне что-то нехорошо...

Погруженная в гипнотическое состояние аудитория равнодушно выслушала странную просьбу маркиза.

– Дайте мне стакан воды, – повторил профессор, – мне что-то нехорошо...

Результат тот же.

– Да дайте же мне стакан воды, – несколько повысил голос профессор, – мне что-то нехорошо.

Оказалось, что нехорошо было не ожидавшему казни маркизу, на что жаловаться смысла уже не имело, а самому профессору.

По-видимому, в университете лекции Кареева проходили не более оживленно, и это сказывалось во время экзаменов.

Раз какой-то студент безнадежно молчал на экзамене по новой истории. Наконец, потеряв надежду услышать что-нибудь, Кареев сказал:

– Ну, если вы не можете ничего рассказать по билету, расскажите нам что-нибудь о Наполеоне III.

– Профессор шутит, – с апломбом заявил студент. – Уж это-то я знаю, что Наполеон был один.

Должно быть, он благополучно проспал всю историю Наполеона III.

Тем не менее и курсистки, и студенты очень хорошо относились к профессору Карееву. Он импонировал своими обширными знаниями, подкупал прекрасным отношением к слушателям и внушал уважение неизменным благородством, какое он проявлял во всех столкновениях студентов с начальством, и своим твердым поведением во время всех студенческих историй.

Год промелькнул как-то незаметно, и я снова очутилась дома.

На этот раз мне не повезло. Перед самым отъездом в Петербург осенью я серьезно заболела, и мне не пришлось уехать.

Я проболела почти все первое полугодие, и тетя советовала мне не комкать занятий на 4-м курсе, а лучше пропустить весь год и в будущем году прослушать весь курс с начала. Я согласилась, тем более что тетя с дядей собирались поехать на весну в Крым с компанией знакомых нижегородцев.

ПОЕЗДКА В КРЫМ

Дядя заканчивал обследование нижегородской губернии и собирался уезжать из Нижнего. Он получил предложение от петербургской городской управы взять на себя заведывание петербургской статистикой и организацию в этом году всеобщей переписи в Петербурге.

И то, и другое было для него очень заманчиво. Кроме того, его привлекало в Петербурге участие в редакции незадолго до того образовавшегося журнала «Русское богатство». И редакционный коллектив, и ближайшие сотрудники были его хорошие знакомые, и люди, с которыми он был тесно связан идейно. Главное, в редакцию был приглашен и Короленко, давший согласие с условием, что будет часто наезжать в Петербург, но работу вести в Нижнем. Он не хотел порывать с Нижним, столичная жизнь его не привлекала. Дядя все же надеялся, что Владимир Галактионович, втянувшись в редакционную работу, сам увидит, что вести ее из Нижнего трудно, и даст себя убедить переехать в Петербург.

Момент для поездки в Крым выдался очень удобный. Дядя закончил работу в Нижегородском земстве. А служба в Петербургской управе начиналась только с августа.

Вся наша компания не бывала в Крыму и ожидала большого удовольствия от этого путешествия. Из Нижнего с нами ехали наши хорошие знакомые Гориновы, муж и жена, и С. Д. Протопопов, побывавший незадолго до того с В. Г. Короленко в Америке на Чикагской выставке. В Москве мы на несколько дней останавливались у моего отца и прихватили с собой мою сестру.

Поездка вышла замечательной. Ни у кого не было особых забот, все находились в прекрасном настроении и с наслаждением любовались восхитительной крымской природой. Сестра и я быстро научились верховой езде на хорошо выезженных крымских лошадях и вмес-

те с С. Д. Протопоповым сопровождали фаэтон, в котором ездили дядя с тетей и Гориновы. Мы посетили все лучшие места Крыма от Алушты до Алупки, и никогда потом они не казались мне такими чудесными, как той весной.

В половине лета Гориновы возвращались в Нижний. Дядя с тетей решили ехать с ними для последних сборов и приготовлений к переезду в Петербург. Сестру отец тоже звал домой, а меня приглашали погостить под Алуштой мои знакомые Винберги. Вместе с их младшей дочерью я училась на Курсах.

Винберги жили в так называемом профессорском уголке, между Алуштой и Аю-Дагом. Это место освящено воспоминаниями о Пушкине, гостившем там в имении Раевских. Там до сих пор был жив платан Пушкина. Под ним он любил сидеть по вечерам.

Я прожила у Винбергов около месяца, а на обратном пути собиралась остановиться в Москве у отца, в ожидании, пока дядя с тетей не устроятся в Петербурге. По дороге в Москву я предполагала заехать в Екатеринослав к своей гимназической подруге, служившей учительницей в местном железнодорожном училище. Она усиленно звала меня навестить ее.

Я написала ей перед отъездом, попросив известить телеграммой, если ей почему-либо неудобно будет увидеться со мной сейчас.

Телеграммы я не получила, но смело пустилась в путь. Железная дорога не шла через Екатеринослав. Со станции Синельниково пересаживались на другой поезд и ехали еще часа два. В Синельникове меня обокрали, вытащили из сумочки портмоне со всеми моими деньгами. Билет, по счастью, лежал отдельно. В Екатеринослав поезд приходил поздно ночью.

Я, конечно, была уверена, что моя подруга встретит меня. Каково же было мое удивление, кода перрон оказался пуст.

Я спросила у сторожа, где железнодорожное училище. Оно было против вокзала, и я пошла туда. На мой настойчивый стук вышла сторожиха и сказала, что учительница давно уехала в Нижний к матери. Не оставила ли она письма мне, спросила я. Сторожиха провела меня в ее комнату. На столе лежало мое нераспечатанное письмо. Она, значит, и не подозревала о моем приезде.

У меня сохранился только обратный билет от Екатеринослава до Синельникова и еще бесплатный билет первого класса от Курска до Москвы. И ни копейки денег. В Синельникове я решила посоветоваться с начальником станции и зашла к нему. Войдя в мое положение, он приказал выдать мне билет третьего класса до Курска. Я записала его фамилию, чтобы отец смог вернуть ему деньги за билет.

Но хуже всего было то, что я страшно проголодалась, а купить съестного не могла. С завистью смотрела я на пассажиров, развязывающих узелки с хлебом, яйцами и огурцами. Вероятно, многие из них угостили бы меня, но я стеснялась попросить даже корочку хлеба. Наконец, мы приехали в Курск, и я пошла показать мой билет. Начальник станции знал отца и сейчас же велел носильщику перенести мои вещи в отдельное купе первого класса. Я пыталась отказываться, вещей у меня было совсем немного. К тому же двугривенного дать носильщику не имелось. Пришлось и тут объяснять мои обстоятельства. Начальник станции успокоил меня и все же послал носильщика с вещами. Одно ему не пришло в голову: что я умираю от голода. Я же опять постеснялась сказать.

Последовала еще одна голодная ночь в роскошном купе первого класса. Поутру, проснувшись, я увидела, что мы уже подъезжаем к Кускову, где жил на даче отец с семьей. И он, и все дети встречали меня – оказалось, начальник станции был так любезен, что послал телеграмму отцу.

Едва выйдя из вагона, я простонала:

– Ради Бога, поскорей накормите меня, я умираю от голода.

Как теперь, помню поставленную передо мной большую кринку с простоквашей и увесистый кусок черного хлеба.

Я очистила всю кринку под любопытными взглядами всей семьи и только затем рассказала свои приключения.

Отец посмеялся надо мной, найдя, что во всем я сама и виновата. Как можно было заезжать в Екатеринослав, не зная наверное, что меня ждут там. Если бы я не заезжала, меня бы и не обокрали. А уж если так случилось, надо было сказать начальнику станции, что голодна, и он бы с радостью покормил тебя.

Но теперь все неприятности миновали. В их семье я провела очень приятный месяц.

ПРИЕЗДЫ В. Г. КОРОЛЕНКО В ПЕТЕРБУРГ. НЕУДАЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ЧЕХОВЫМ

Кончать Курсы мне приходилось уже не со своим курсом, а со следующим. Мои однокурсницы кончили еще весной. Я не очень жалела пропущенный год. Мне казалось, что Курсы уже дали мне все основное. Но тетино предположение, что я смогу лучше заниматься, если начну с начала учебного года, тоже не оправдалось. Прежде всего, я жила теперь не в курсовой обстановке. Тетя с дядей переехали в Петербург, и я, конечно, поселилась с ними, а они нашли квартиру в одном доме с Лесевичами, на Лиговке, очень далеко от Курсов.

Часто являлось искушение не ездить ради одной лекции на другой конец города, теряя три часа на переезд. Кроме того, мне не с кем было поделиться своими впечатлениями. Тетя с дядей охотно слушали мои рас-

сказы, но сами они жили другими интересами и невольно втягивали в них и меня.

Дядя подготовлял сложное дело организации переписи в таком огромном городе, как Петербург. Затем, он деятельно сотрудничал в «Русском богатстве», и его скоро уговорили войти в состав редакции. Тетя увлеченно занялась литературной работой.

В доме у нас стали бывать сотрудники «Русского богатства» и другие писатели. Курсовые дела и лекции постепенно отступили на второй план. Почти каждый месяц из Нижнего приезжал Короленко и останавливался у нас. А он вносил с собой такое оживление, столько интересных рассказов, что думать о Курсах и лекциях стало просто скучно.

В середине зимы Владимир Галактионович приехал месяца на два и заявил, что они с дядей только мешают друг другу работать. У него накопилось множество непрочитанных рукописей, и он чувствует себя в неоплатном долгу. Поэтому он переедет в отдельную комнату. Но ему не сразу удалось осуществить свое намерение. Комнату он, правда, нанял недалеко от нас, в конце Невского, но переехать в нее не успел. Он захворал тяжелой инфлуэнцией, и тетя, конечно, не отпустила его. Несколько дней он пролежал в сильном жару, даже бредил, потом жар немного спал, и он потребовал, чтоб ему дали рукописи, мол, скучно лежать без дела. Рукописи ему дали, но едва ли в них что-нибудь могло сильно взволновать его. Читал он главным образом по утрам. Он привык рано просыпаться, а дядя с тетей вставали поздно.

Как-то утром, еще лежа в постели, я услышала движение в кабинете, где помещался Владимир Галактионович. Неужели он встает? Я не поверила своим ушам, ведь он еще болен. Но, спустя несколько минут, раздался скрип шагов, направлявшихся в переднюю.

Быстро накинув на себя платье, я выскочила в переднюю. Там стоял Владимир Галактионович и натягивал шубу.

– Владимир Галактионович! Что с вами? Ведь вы больны!

– Ах, бросьте! Чепуха. Не задерживайте. Боюсь опоздать. Вернусь – расскажу.

И он решительно вышел на лестницу.

Я разбудила тетю с дядей. Они терялись в догадках. Что такое могло быть в рукописях, что заставило его, еще совсем больного, так спешно помчаться куда-то?

Прошло часа полтора. Мы сидели за чаем, когда вернулся Владимир Галактионович, видимо, несколько сконфуженный.

Мы не приставали к нему. Выпив первый стакан чая, он сказал:

– Глупая история. Выходит, что я, действительно, мог так не торопиться. Но кто же мог знать?

– Да в чем же дело? – нетерпеливо спросил дядя.

Оказалось, автор одной из присланных в редакцию рукописей писал, что ему во всем в жизни не везет и этот рассказ – его последняя ставка. Если он годится, автор еще будет бороться. Если же до такого-то срока он не получит ответа, он покончит с собой. Назначенный им срок истек накануне.

Прочитав письмо, Короленко вскочил, как пружиной подброшенный. Из-за его небрежности, из-за непрочитанной во время рукописи человек, может быть, покончил с собой.

Не медля ни секунды, забыв о себе, он помчался на извозчике по указанному адресу.

И застал благополучного молодого человека, спокойно увязывающего чемодан.

Оказалось, за несколько дней перед тем, он получил приглашение на какое-то место и уезжал, не подумав даже известить редактора, на которого с такой легкостью возложил ответственность за свою жизнь.

Дядя добродушно подсмеивался над доверчивостью Владимира Галактионовича, а мне этот случай глубоко запал в память.

Ни секунды не колеблясь, он рисковал своим здоровьем ради совершенно неизвестного ему человека.

К счастью, преждевременный выход не повредил здоровью Короленко. Спустя несколько дней он объявил, что совсем здоров и переезжает в собственную комнату, чтоб вплотную заняться редакционной работой.

Комната эта памятна мне из-за одного досадного эпизода.

Это было во время наивысшей славы знаменитого отца Иоанна Кронштадского. К нему со всей России стекались верующие, жаждущие исцеления.

Приехала и из Нижнего одна несчастная женщина, семью которой знали и мы, и Короленки. Они очень бедствовали, все их дети росли болезненными и хилыми. Наконец, младший, двухлетний мальчик, стал слепнуть, и врачи объявили его болезнь неизлечимой. Тогда матери со всех сторон стали советовать свезти ребенка к о. Иоанну Кронштадскому.

Как ей удалось собрать нужную сумму, не знаю, но она привезла ребенка в Петербург и отправилась в Кронштадт. Ей удалось попасть в церковь, где о. Иоанн принимал жаждущих исцеления. Но оказалось, что это было еще не все. Следовало уплатить трешницу дьякону, тогда он допустит за решетку, где принимал о. Иоанн. А вот этой-то трешницы у нее как раз не оказалось, или, может быть, не оказалось с собой в Кронштадте.

Она стала на колени у самой решетки и поставила с собою рядом слепого мальчика. Она была уверена, что о. Иоанн услышит ее жаркие молитвы, увидит незрячие глаза ее сына, возложит на него свою исцеляющую руку. О. Иоанн несколько раз проходил мимо, не мог не слышать ее слезных молений, но ни разу не взглянул на нее и сына и не подал ей никакого знака.

Она вернулась в безысходном отчаянии. Не в негодовании, в какое пришла я, а только в отчаянии. Она и думать не смела осуждать о. Иоанна. Ей все было ясно. Он духовным взором проник в судьбу, ожидающую ее сына, и не хотел молиться за него, видя тщетность всякой молитвы.

Выслушав несчастную, я захотела сейчас же рассказать об ее горе Владимиру Галактионовичу и побежала к нему на Невский. У него кто-то был. Я окинула беглым взглядом худощавую фигуру, бледное продолговатое лицо и заметила только особенный мягкий взгляд лучистых голубых глаз.

Владимир Галактионович назвал меня и, переведя взгляд на своего гостя, сказал:

– Антон Павлович Чехов.

Чехов привстал и пожал мне руку.

Тут-то мне бы сесть в уголок и послушать их разговор, благодаря судьбу за счастливый случай.

И ведь я знала, кто такой Чехов, читала его рассказы, восхищаясь ими.

Но меня переполняло благородное негодование на Иоанна Кронштадского, и я с жаром стала передавать Владимиру Галактионовичу историю нашей нижегородской знакомой.

Окончив, я почувствовала, что Владимир Галактионович как-то менее горячо, чем обычно, отозвался на такую возмутительную историю. Я подумала, что, должно быть, явилась не вовремя. Посидев для приличия, еще несколько минут, я встала и попрощалась.

Меня не удерживали.

Я ушла, не понимая, какой единственный случай упустила по своей вине.

В эту зиму у меня была еще одна серьезная неудача – мой первый самостоятельный литературный опыт. Это должно было быть удачей, но вышло не так.

Однажды в середине зимы Бернштамы предложили мне поехать с ними осмотреть одну высшую финскую народную школу. Я с радостью согласилась.

Поездка вышла очень интересная.

А. И. Богданович, бывший теперь редактором «Мира божьего», передал мне через тетю предложение описать поездку и самую школу для их журнала.

Я сейчас же принялась за работу, жалея, что не записала тогда хотя бы главных цифр, но надеялась вспомнить все и без записей.

Наконец, я прочитала тете написанное. Она одобрила. Как раз приехал Короленко. Прочитала и ему. Он тоже не сделал никаких возражений и очень обрадовался, что я вступила на путь, которого он желал для меня.

Все хорошенечко переписав, я с трепетом понесла рукопись в редакцию. Ангел Иванович взял ее у меня и сказал, что ответ в ближайшие дни передаст через тетю.

Можно себе представить, с каким волнением я ждала ежедневно ее возвращений из редакции.

И вот в один действительно прекрасный для меня день, вернувшись, тетя сказала, что мой очерк принят и будет напечатан в ближайшем номере журнала.

Я была в полнейшем восторге, я ведь совершенно самостоятельно писала его, никто меня не исправлял. Значит, я могу писать. Какое счастье!

Самое появление моего имени в печати не взволновало меня в такой мере, как героя чеховского рассказа, которого переехала телега и который прочел в заметке упоминание о себе. Несколько переводов, подписанных моим именем, появилось уже в «Русском богатстве» и в «Мире божьем». Но то переводы, а это мой собственный очерк – и сразу принят, и сразу же будет напечатан.

Мне не приходило в голову, что если очерк и в самом деле оказался подходящим, то такая быстро-

та напечатания все же объясняется знакомством с редактором. Я знала многих редакторов и ясно видела, что знакомства никогда не оказывали на них никакого влияния. Они руководствовались только интересами своего журнала. Ангел Иванович был, говорили, строже всех. С чего бы он стал делать для меня исключение?

И я, отогнав все сомнения, с нетерпением ждала корректуры. Наконец, она пришла. Настоящая корректура, адресованная на мое имя из конторы.

Я раскрыла ее с гордостью. «Поездка в высшую финляндскую школу». Ну да. Это она и есть. Но что это? У меня не было такого начала. Откуда же оно взялось? Точно я его сейчас не помню, но что-то вроде:

«Не хотите ли Вы поехать посмотреть финский народный университет? – спросили меня друзья. – С большим удовольствием, – отвечала я».

Дальше шло то, что писала уже я.

С отчаянием я позвала тетю и пожаловалась на свою горькую участь.

– Ну что уж тут такого, – хладнокровно ответила тетя.– Редактор, очевидно, нашел нужным оживить немного начало.

– Да нет, теточка, ты подумай только, – продолжала я роптать. – Во-первых, это не университет, а высшая школа.

– А очерк и называется: «Поездка в высшую народную школу», но в просторечии можно назвать и народный университет.

– Вовсе нет, – настаивала я.– Там есть и народные университеты. Но главное не это. Ведь Бернштамы засмеют меня из-за этого беллетристического начала. Прохода мне не дадут.

– Не понимаю, что тут смешного, – сказала тетя.

– А вот увидишь. Нельзя ли уничтожить эти первые строчки и начать, как было у меня?

– Видишь ли, Ангел Иванович человек очень обидчивый, это его право, как редактора. Думаю, это неудобно. Советую тебе оставить все, как есть. Прочитай корректуру и отошли в контору.

Я так и сделала. Но всю мою радость как ветром сдуло.

Теперь я не с гордостью, а со страхом ждала появления ближайшего номера журнала и, конечно, была уверена, что все сразу набросятся на мой очерк.

Наконец, свершилось. Очередная книжка «Мира божьего» разослана подписчикам. Я знала, что Бернштамы получают журнал. Возможно, они как раз сейчас и читают мой злополучный очерк. И как все было бы хорошо, если бы не эти первые строки. Захотела беллетристкой сделаться!

Долго я не решалась пойти к Бернштамам. Но пришлось, наконец.

Мои худшие опасения оправдались.

Каждый из членов семьи, правда, кроме Мумы – она меня пощадила, встречал меня несчастной фразой:

– Не хотите ли проехаться в финский народный университет?

И только Муме под страшной тайной я рассказала, как это произошло.

Уж раз я не вычеркнула этих строк, то отвечала за них, и мне не хотелось прятаться за чужую спину.

Очень долго эта фраза не давала мне покоя, но в конце концов она забылась, как и все забывается.

МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО. СМЕРТЬ ЛЕЛЕЧКИ

Той зимой Короленко был весь поглощен делом мултанских вотяков. Дело само по себе самое обычное. Недалеко от селения Мултаны был найден труп старого нищего, убитого или в ссоре, или из-за нескольких грошей прохожими.

Но местным судебным властям пришло в голову сделать на нем карьеру. Следствие велось крайне небрежно, и подделать грубое подобие следов ритуального убийства ничего не стоило.

Сейчас же по всей России прогремела весть, что в Казанской губернии живут до сих пор вотяки-язычники, которые приносят в жертву своим богам человеческую кровь.

Черносотенные газеты подняли невероятный шум. Под этот шум прошел суд над несчастными, ничего не понимавшими вотяками, и им был вынесен обвинительный приговор. По счастью, защита подала кассационную жалобу. Сенат кассировал приговор и назначил новое разбирательство.

Но результат оказался тот же. Правые газеты подняли такую мракобесную агитацию, что и присяжные, и суд, совершенно задуренные раздававшимися со всех сторон криками и угрозами, опять обвинили вотяков в ритуальном убийстве.

Приговор опять был кассирован, и назначено третье разбирательство.

Местные адвокаты решили на этот раз мобилизовать все силы, так как едва ли Сенат кассирует третий раз. Они пригласили знаменитого столичного адвоката Н.П. Карабчевского и вместе с ним решили обратиться к В. Г. Короленко. Короленко давно с напряженным вниманием следил за кампанией правых газет и вступил в полемику с ними.

Он ни на секунду не допускал мысли, что у нас на пороге 20-го века могли сохраниться человеческие жертвоприношения.

Короленко еще никогда не выступал в суде, но Карабчевский убедил его, что одно его имя произведет самое благоприятное впечатление на присяжных. Да и умение Короленко говорить горячо и убедительно не подлежало сомнению.

Короленко стал деятельно готовиться к выступлению, продолжая в то же время вести энергичную полемику с правыми газетами.

Тогда же Короленко принял окончательное решение поселиться в Петербурге. Не только редакционная работа в «Русском богатстве» требовала его постоянного присутствия в Петербурге. Он не мог уже удовлетвориться участием в провинциальной прессе. Его влекла влиятельная столичная печать.

Ранней весной Короленко поехал в Нижний, чтоб ликвидировать там свои дела и перевезти семью. У него было в то время три дочери – две старшие восьми и шести лет и восьмимесячная крошка, очень похожая на Владимира Галактионовича.

Вернулся Короленко один, оставив семью в Москве. Он хотел непременно подготовить к их приезду дачу, не желая оставлять их летом надолго в Петербурге.

Дачу они с дядей сняли в Куоккале по Финляндской железной дороге, у самого моря. Весна стояла прекрасная, теплая, солнечная. Одно смущало Владимира Галактионовича: ему уже время было ехать в Нижний и оттуда в Мамадыш, в суд. Он не сможет пробыть хоть в первое время на даче, помочь Авдотье Семеновне устроиться, осмотреться.

Мои экзамены в это время уже кончились, и я была совершенно свободна.

Я предложила Владимиру Галактионовичу поехать с Авдотьей Семеновной и помочь ей на первых порах с детьми и с хозяйством.

Владимир Галактионович был очень рад, а я тем более – мне удалось хоть в таком пустяке оказать ему маленькую услугу.

Через день приехала Авдотья Семеновна с детьми. Но все обстояло хуже, чем представлял себе Владимир Галактионович. Малютка была нездорова. Она очень сильно кашляла.

Позвали знакомого доктора. Он внимательно выслушал ребенка, сказал, что пока у нее только небольшой бронхит. Потом он спросил, не соприкасалась ли она с детьми в коклюше.

Авдотья Семеновна вспомнила, что по дороге из Нижнего в Москву в их вагоне, правда в другом конце, ехало двое детей в коклюше. Но они и близко не проходили мимо Лелечки.

Доктор сказал, что в таком случае опасности никакой.

Но вдруг Авдотья Семеновна спросила, бывает ли коклюш у взрослых?

Доктор ответил, что хотя и редко, но бывает, если не было в детстве. А в чем дело?

Оказалось, что племянник Владимира Галактионовича болел коклюшем, но его уже не было в Москве, когда они приехали. А его мать, ухаживавшая за ним, страшно кашляла и заходилась, как при коклюше. Она много возилась с Лелечкой.

Доктор неодобрительно покачал головой.

Владимир Галактионович, со своим обычным оптимизмом, стал успокаивать Авдотью Семеновну, уверяя, что это, конечно, был не коклюш, иначе тетка никогда не притронулась бы к Лелечке.

Как бы то ни было, если даже это коклюш, надо как можно быстрее перевозить детей в Куоккало. Воздух и солнце – единственное лечение при коклюше.

На другой день мы уже были в Куоккале, а еще через день Владимир Галактионович уехал в Нижний.

На даче удалось хорошо устроиться. Старших девочек с привезенной няней поместили внизу, а Авдотья Семеновна с Лелечкой и я устроились наверху в большой, залитой солнцем комнате со стеклянной террасой. Трудно было представить себе лучшие условия для больного ребенка.

Но несмотря ни на что, болезнь продолжала развиваться, и скоро уже не было никаких сомнений, что это коклюш.

Потянулись мучительные дни. С тех пор прошло больше сорока лет, а передо мной до сих пор стоит это прелестное трогательное личико. Каждый приступ кашля был для нее тяжким страданием. Она чувствовала его приближение и расширенными от ужаса глазами смотрела на нас, точно умоляя помочь ей, избавить ее от страданий. Невозможно забыть этот взгляд. От него щемило сердце, и безумно хотелось взять на себя муки безвинного ребенка.

Владимир Галактионович часто писал Авдотье Семеновне, описывал ход судебного следствия, выражал надежду, что на этот раз им удастся спасти несчастных, измученных трехлетним заключением, и снять гнусную клевету со всего вотятского народа.

Но, правду говоря, из всех, кто с волнением следил за ходом этого нашумевшего дела, мы с Авдотьей Семеновной были, пожалуй, одни из наименее взволнованных.

Маленькая, но такая жгучая для нас трагедия, разыгрывавшаяся перед нашими глазами, заслонила для нас более важную, но более далекую трагедию.

Доктора посещали нас аккуратно, но что они могли сделать?

Наконец, наш петербургский доктор сказал, что болезнь близится к концу. Если еще трое суток не произойдет никаких изменений, то можно надеяться на благоприятный исход.

Прошли сутки, прошли вторые сутки, наступили третьи. Никакой перемены не было.

Авдотью Семеновну доктор увел вниз пообедать.

Я сидела над колыбелькой, не сводя глаз с похудевшего личика. И вдруг какая-то синева начала заливать его со лба, и вместе с этим судорожные движения стали сводить ручки и ножки.

В полном отчаянии я стала стучать в пол. Через минуту прибежал доктор и сказал, что именно этого он и боялся. Маленький мозг не вынес непосильных сотрясений и произошел острый менингит.

Применили все известные в медицине средства, но ничто не помогло, и через два часа все было кончено.

Авдотья Семеновна совершенно окаменела.

Я послала письмо и телеграмму в Нижний сестре Владимира Галактионовича, чтобы она сообщила ему на обратном пути о смерти Лелечки.

Не помню, в какой именно день мы получили телеграмму, извещавшую об оправдательном приговоре вотякам.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦУ

В конце первого полугодия после этого печального лета Мума Бернштам рассказала мне об одном проекте. Брат ее, окончивший университет тогда же, когда она курсы, жил с тех пор за границей, продолжая образование и совершенствуясь в языке. Он уговаривал Муму, пока она еще не принялась ни за какую работу, приехать к нему в Берлин, где он тогда жил, и предпринять вместе с ним путешествие по Европе. Она решилась и предложила мне поехать с ними.

Меня это очень соблазняло, только это должно было, по-моему, стоить очень много денег. Но Мума уверяла, что у них с деньгами тоже не густо. Они предполагали путешествовать самым экономным образом.

Все-таки я не считала себя в праве брать у дяди денег не на необходимое, а на удовольствие.

И вдруг тетя вспомнила, что у меня есть свои, хотя и небольшие деньги.

Когда я родилась, дядя Андрей Никитич положил в банк на мое имя сто рублей. За протекшие с тех пор годы мой «капитал» все рос и достиг теперь четырех-

сот пятидесяти рублей. Я могла воспользоваться им по своему усмотрению. Я была в восторге. Лучшего употребления этих денег и придумать было невозможно.

Недовольна оказалась только моя бабушка. Ей пришлось рассказать о моем отъезде. Тетя объяснила ей, что я поеду на собственные средства, думая, что она успокоится. Но она потребовала, чтоб я приехала к ней, и прочла мне целую лекцию.

– Что я слышу, Таня? – начала она. – Ты вздумала, и твоя баловница тетка разрешает тебе истратить деньги, какие твой дядя и крестный положил на твое имя?

Я кивнула, все еще не понимая, в чем же мое преступление. Ведь деньги мои, и бабушка не отрицала этого.

– Подумай сама, – продолжала она убедительным тоном. – Ты девушка бедная. Неужели ты рассчитываешь, что твои приемные родители смогут дать тебе приданое?

Я еле сдержала смех. Так вот что заботило бабушку.

– Бабушка, уж если кто-нибудь захочет на мне жениться из-за приданого, он едва ли польститься на мои 450 рублей.

– Конечно, это небольшой капитал, – согласилась бабушка, – но все-таки, хоть бельишко себе сделаешь, шубу справишь. Ну да, я знаю, что все вы теперь верченые и о серьезных вещах не думаете. Да и тетка твоя потатчица. Смотри только, не раскайся потом.

Я пообещала бабушке еще раз все обдумать и, успокоенная, пошла домой.

Все препятствия были устранены, и мы с Мумой стали деятельно готовиться к путешествию.

Выехать мы решили в конце февраля, чтобы провести за границей все лучшее весеннее время.

Мы ехали прямо в Берлин и собирались пробыть там около месяца.

В те годы никто не мог себе представить, во что превратится эта страна, и как падет этот народ.

Деятели германской социал-демократической партии пользовались большой популярностью и в своей стране и за границей. Имена Бебеля, Зингера были знакомы каждому студенту. Мы были счастливы при мысли, что, может быть, нам удастся увидеть и услышать их самих.

Кроме того, в Берлине было собрано много художественных сокровищ.

Как только мы переехали границу, на нас пахнуло другим воздухом. На первых же станциях в киоске можно было купить запрещенные русской цезурой книжки, и почти каждый русский спешил приобрести их.

В Берлине издавались рабочие газеты, и чуть не каждый день устраивались рабочие собрания, где выступали социал-демократические ораторы. Это никого, кроме нас, русских, не удивляло. Самая обстановка этих собраний поражала нас.

Они устраивались всегда в каких-нибудь пивных, хозяева которых охотно предоставляли бесплатно свои помещения. На собрания приходило много народа, и все спрашивали себе кружки пива. На эстраде помещался выбранный присутствующими президиум, и выступали ораторы, а за столиками сидели рабочие, приходившие с женами и детьми. Перед каждым стояла кружка пива и какая-нибудь примитивная закуска. Женщины часто вязали чулки.

Вскоре после нашего приезда праздновался день берлинской революции 18 марта 1848 года. В одном из самых крупных берлинских залов должны были выступить Бебель и Зингер. Нам удалось попасть туда, и наша мечта осуществилась – мы услышали их речи и увидели, с каким энтузиазмом встречали их рабочие.

Нам с непривычки казалось, что они произносят настоящие революционные речи, и мы с недоумением

поглядывали на обязательного шуцмана, спокойно сидящего тоже перед своей кружкой пива.

Запрещен был только призыв к восстанию и ниспровержению существующего строя. Ораторы хорошо это знали и умели говорить по существу крайне опасные для монархического строя вещи, не беспокоя шуцмана.

Через четверть века история показала, как правы были германские власти, относясь с таким философским спокойствием к германским социал-демократам.

Когда пришло время не говорить, а действовать, их влияние рассеялось, как дым. На месте убежденных социал-демократов оказались «верноподданные», с энтузиазмом поддерживающие сначала Вильгельма, а потом, страшно сказать, Гитлера.

Но в те годы трудно было предвидеть это.

Днем мы обычно посещали выставки и музеи. Немало времени мы провели в этнографическом музее, где были собраны экспонаты со всего мира, и там можно было изучить жизнь и быт народов всего земного шара. Очень нас заинтересовала «Урания», где в наглядном виде было показано все мироздание – звезды, планеты, земля в их взаимных положениях и движении.

Особенно много времени поглотил у нас осмотр Берлинской национальной галереи и ее художественных сокровищ.

Что нам очень не нравилось в Берлине – это стол. Противные сладкие супы, мясо под сладким соусом, все очень неаппетитное.

Из Берлина мы поехали в Дрезден, первый раз в четвертом классе – там, говорили нам, везде чисто, и дорога не длинная. Дрезден – прелестный городок, со знаменитой, по Тургеневу, Брюлловской террасой. Но нас более всего привлекала картинная галерея, богатейшая в Германии.

Меня совершенно очаровала Сикстинская мадонна Рафаэля. Я просиживала перед ней часами, не отво-

дя глаз. Иногда я проходила за картину, стоящую на особом постаменте. Меня поражало, что, когда смотришь на нее сзади на свет, она вся ровная и прозрачная. Ясно, что художник писал ее, не отрываясь, охваченный вдохновением, ничего не исправлял и не переписывал. О писателе говорят в таком случае, что он пишет с пера.

Достоевский так писал в том же самом Дрездене своего «Игрока», отсылая в редакцию «Зари» неисправленные черновики.

Из Дрездена мы поехали до Майнца, а оттуда спустились по Рейну до Кельна.

Очень хотелось полюбоваться рейнскими видами, увидеть своими глазами замок Лорелеи и другие знаменитые развалины замков.

Кельнский собор поразил меня своим величием, но, не задерживаясь в Кельне, мы отправились прямо в Амстердам, затем в Брюссель и уже без всяких остановок в Париж, имевший для русских особую привлекательную силу.

Первое впечатление было неожиданное, и не от Парижа, а от встречи, ожидавшей нас. На дебаркадере нас встречали двое русских студентов, с которыми мы познакомились еще в Берлине, с двумя огромными букетами цветов.

Этим двум юношам и в голову не пришло бы ни в Петербурге, ни в Берлине встречать знакомых курсисток с букетами цветов. Это было очень приятно, но както смутило нас.

Они сообщили о нанятых уже для нас двух комнатах с полным пансионом за 5 франков в месяц, цена умеренная, и мы не возражали. Фиакры в несколько минут доставили нас в Латинский квартал, и это тоже подходило нам. Именно там, в студенческом квартале, хотелось пожить.

Показав комнаты, они предложили, не раздеваясь, пойти с ними на бульвары, в кафе. И это тоже было и

интересно, и необычно. Бульвары, кафе! В Петербурге тогда никаких кафе не было, да если бы и были, курсистки не заглядывали бы в них. Мы нисколько не были бы удивлены, позови они нас сразу, с дороги на какое-нибудь рабочее собрание... но в кафе!

Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и мы быстро согласились. Наши спутники усадили нас за свободный столик и что-то заказали. Блеск, шум, громкий говор, смех ошеломили нас. Совсем не было той сдержанности и чинности, к какой мы привыкли на улицах Петербурга. Было видно, что люди чувствуют себя совершенно свободно, перебрасываются фразами от одного столика к другому. Иногда над головами пролетал цветок, ловко брошенный на столик какой-нибудь дамы, надо думать – знакомой, хотя, кто его знает.

Когда мы чуточку осмотрелись, то стали замечать, что наш столик почему-то привлекает особое внимание публики. Мы с Мумой внимательно осмотрели друг друга, нет ли у нас какого-либо упущения в туалете. Нет, вроде бы все в порядке.

Наконец, Мума, более смелая и знавшая наших спутников еще в Петербурге, обратилась к Кистяковскому, за которого впоследствии вышла замуж. Она спросила его:

– Почему это на нас все оглядываются? Это ужасно неловко.

– Вас принимают за членов Армии Спасения, а те редко заходят в кафе. Не обращайте внимания.

– Да почему же? – продолжала настаивать Мума.

– Из-за ваших костюмов. Вы посмотрите кругом. Увидите ли вы еще на ком-нибудь черную фетровую шляпу и темное пальто. Темные костюмы вообще не приняты, а ведь теперь весна. Если вы не хотите, чтобы за вами бегали парижские гамены и дразнили вас, вам надо первым делом одеться более по сезону и по моде.

Мы переглянулись. По сезону еще туда-сюда, но «по моде» – это нам никогда не приходило в голову.

Но... с волками жить, по-волчьи выть. А «волки», по правде говоря, были довольно элегантны и интересны – и мужчины, и дамы, несмотря на непривычные для нашего глаза кричащие цвета туалетов и сногсшибательные шляпы.

– А кто эти дамы? – продолжала спрашивать Мума.

– Эти? – переспросил Кистяковский. – Да по большей части студентки.

– Ах, студентки! Это интересно, – заметила Мума. – Как они не похожи на наших курсисток. Хорошо бы познакомиться с кем-нибудь из них.

Мужчины с улыбкой переглянулись и перевели разговор на другую тему.

Я почувствовала, что Мума совершила какую-то неловкость, но в чем она заключалась, мне пока было не ясно.

Дома мы спросили Муминого брата, почему они улыбнулись, когда Мума выразила желание познакомиться со здешними курсистками.

– Не надо никогда говорить о том, чего не понимаешь, – сентенциозно заметил он.

– А ты что же, понимаешь? – с некоторым раздражением спросила Мума.

– Конечно, понимаю, – ответил он.

– Ну, так объясни.

– Сами поймете, – ответил он и ушел в свою комнату.

Но Мума не удовлетворилась этим и пошла за ним.

Вернувшись, она сказала, что Миша не хотел говорить при мне, что так называют в Париже женщин легкого поведения, которые живут со студентами, и им показалось смешным, что мы захотели с ними познакомиться.

На другой день мы с Мумой решили потратить немного денег, чтобы приобрести вид, не привлекающий общего внимания. Кистяковский пожелал непременно

сопровождать нас, так как считал себя знатоком по части женских туалетов.

Он повел нас в универсальный магазин «дешевые покупки», описанный в романе Золя «Дамское счастье».

Там мы действительно довольно дешево купили себе по шляпке и по накидке, какие тогда носили.

Я до сих пор хорошо помню и могла бы описать наши покупки, так они отличались от того, что мы носили раньше, в Петербурге, и во что облеклись по возвращении. Мумина шляпа была сиреневая с зеленым пером, моя темно-зеленая с сиреневым пером, возвышающимся над нею, как султан.

Этот султан сослужил мне некоторую службу. У меня было поручение заказать в Париже печать для Общества помощи ссыльным и заключенным (Политический Красный крест). Прежнюю отобрали при одном из обысков.

Заказать там можно было любому граверу, но затрудняла перевозка печати через границу. И вот мне пришло в голову воспользоваться своей экзотической шляпой. Я укрепила ее сбоку, на поле, замаскировав ее сиреневым эспри.

Печать приехала вполне благополучно, но носить в Петербурге парижскую шляпу у меня не хватило смелости. Цветные шляпы были у нас абсолютно не приняты. Я купила в Пассаже прямую английскую шляпочку из желтой соломы с черной бархоткой. А свою зеленую шляпу я оставила в том же магазине, сказав, что зайду за ней потом.

Уличная жизнь Парижа настолько отличалась не только от петербургской, но и от берлинской, что мы ощущали себя точно на другой планете. Мы чувствовали, что нравы этой планеты действуют на нас не в том направлении, какое казалось нам правильным.

Лично я чувствовала, что, если бы осталась там жить, то стала бы другим человеком. В Берлине рус-

ские студенты и курсистки в общем вели такую же жизнь, как в Петербурге. Тут все было иное, иные интересы, иной тон отношений между студентами и курсистками. В Петербурге это были товарищи, здесь молодые люди и девушки, заинтересованные друг другом, ведущие между собой флирт.

Нас пригласили как-то принять участие в небольшом пикнике, который устраивала наша знакомая молодежь. Мы с удовольствием согласились. Интересно было побывать в парке Сен-Клу. Мы много слышали о его красоте. Но когда мы туда приехали, оказалось, что никто не собирается гулять и любоваться природой. Выбрав уединенную полянку, наши спутники вынули большой запас бутылок и закусок, и началась заправская выпивка. К вечеру не только молодые люди, но и девушки были сильно на взводе, и мы с Мумой, конечно трезвые, чувствовали себя очень неловко.

По возвращении в Париж, они стали приглашать нас к себе, чтобы продолжать вечеринку. Но мы решительно отказались к большому неудовольствию Муминого брата, находившего, что мы наносим им незаслуженное оскорбление. Сам он, проводив нас, продолжил веселье в компании.

Но на другой день он вынужден был признать, что мы, пожалуй, правильно поступили, такой характер приняла в дальнейшем эта «вечеринка».

В Париже у меня были родственники, которых тетя поручила мне посетить. Впрочем, мне и самой это было любопытно. О моей тете Любови Федоровне я много слышала от ее сестры, Марии Федоровны, очень мною любимой. Представление о ней я составила по ее рассказам и по шуточным стихотворениям, которые помнила наизусть. В полной уверенности, что почувствую себя в ее семье, как дома, я шла знакомиться со своими парижскими кузенами и кузинами.

Каково же было мое удивление, когда я увидела настоящую парижанку, чертами лица напоминавшую тетю Машу, но по всему складу совершенно чуждую Анненским.

Встретила она меня очень ласково, но попеняла, что я не прислала ей письмецо, тогда она пригласила бы меня к обеду.

Я поспешила сказать, что обедаю в другом месте, хотя предупредила Бернштамов, чтобы они не ждали меня, – до того мне казалось естественным, что родственники оставят меня обедать.

Но оказалось, что там это не делается так просто, как у нас.

Раз я была еще более удивлена. В тот день я обедала у них, и только мы сели обедать, как раздался звонок, служанка Мари пошла открывать и, вернувшись, сказала, что это такой-то, и она просила его подождать в гостиной, пока ее господа пообедают.

– Это ваш знакомый? – спросила я тетю, пользуясь тем, что ее дети не понимали ни слова по-русски, а муж был поглощен газетой.

– Да, знакомый, – ответила она.

– Так почему же вы не позовете его обедать, ведь мы только начинаем? – довольно бестактно спросила я.

– Он не был приглашен к обеду и сам виноват, что пришел в неуказанное время. Да его бы и самого это затруднило. Он очень ограничен в средствах, а ему, как холостяку, пришлось бы после этого пригласить нас обоих на обед в ресторан.

Я с недоумением посмотрела на свою тетю, ту самую, которая, получив жалование, говорила извозчику:

– Извозчик, вези меня на двугривенный!

Я два-три раза получала приглашение на обед и должна была без всякого удовольствия отбывать эту родственную повинность.

Однажды я получила даже приглашение в театр Одеон на пьесу Ростана «Бродяга».

Пьеса показалась мне банальной мелодрамой. Я слушала ее равнодушно, несмотря на прекрасную декламацию знаменитого Муна Сюли.

Пьеса кончалась трагическим монологом героя, не получившего руки дочери богатого мельника.

«А ты, бродяга, иди бродяжничать».

Оглянувшись на своего дядюшку, известного ученого и члена Академии, я увидела, как из-под двух пар очков, надетых в театре, катятся крупные слезы.

Я с трудом сдержала улыбку, вспомнив, кстати, как накануне они с женой обсуждали, можно ли отдать его рубашку другой прачке, лучше крахмалившей белье, но берущей на два су дороже.

Нет, это были совсем другие люди, у меня с ними не было и не могло быть ничего общего. Типичные парижские буржуа. И этой психологией прониклась прежняя хохотушка, щедрая и легкомысленная русская девушка.

Был у меня в Париже и еще один родственник, сын дяди, Петра Никитича Ткачева, от его второй жены-француженки из зажиточной рабочей семьи. После смерти сначала отца, а потом и матери мальчик, по желанию матери, воспитывался в семье ее брата, рабочего инструментального цеха, Преверэ.

Маленький Пьер писал иногда тете официальные французские письма, благодарил за присланные подарки.

Тетя просила меня непременно побывать у этих Преверэ и посмотреть, как там живется мальчику.

Я поехала туда тоже без предупреждения и застала всю семью дома, собирающуюся обедать.

Мне очень понравилось у них. Посреди комнаты стоял большой круглый стол, покрытый чистой белой скатертью, и особые приборы для каждого члена се-

мьи. Посредине стола бутылка красного вина и перед каждым прибором по стакану. Когда я назвала себя и мы посчитались родством, мадам Преверэ позвала Пьера и представила мне его. Мальчик был очень похож на карточки Петра Никитича в молодости и сразу мне понравился. Хозяйка радушно пригласила меня пообедать с ними, а Пьер – ему было тогда лет 12–13 – не сводил удивленных глаз со своей новоявленной кузины.

Я спросила его, чем он больше всего интересуется. Оказалось, лошадьми. В это время как раз происходили бега в Longs Champs. Я предложила ему съездить туда со мной, и он весь просиял. Его воспитатели дали согласие, и мы условились, что в день ближайших бегов он заедет за мной и мы отправимся за город.

Мне и сейчас приятно вспоминать, какое искреннее удовольствие это доставило мальчику. Я приглашала его с собой в некоторые музеи и галереи, но такого удовольствия они уже ему не доставляли.

Несколько раз он принимался робко расспрашивать меня о своем отце. Я охотно рассказывала, что знала, но лично мое знакомство с дядей относилось к такому раннему моему возрасту, что я мало интересного могла сообщить ему.

По возвращении в Петербург, я переписывалась с ним некоторое время, но нас соединяли слишком слабые нити. Переписка постепенно заглохла, и я, к сожалению, даже не знаю, жив ли еще, после двух войн, мой кузен, Петр Ткачев.

В Париже мы не были ни на одном рабочем собрании, но исходили город вдоль и поперек. Затем съездили во все освященные историей окрестности, осмотрели Версаль, Трианон, и Мальмезон. Толкались среди парижской толпы на бульварах, ходили ранним утром на прославленный парижский рынок Halle и любовались горами капусты, моркови, огурцов, томатов и других овощей, которые нигде не достигают такой

величины, как в Париже. Со смешанным чувством удивления и отвращения наблюдали парижских торговок (fame de la Halle). Побродили по латинскому кварталу, зашли даже в Парижский университет, в знаменитую Сорбонну, куда вход свободен для всех и среди посетителей бывают даже хозяйки с корзинами провизии – погреться в холодные дни. Тем не менее, наше посещение, наши расспросы о лекциях и занятиях произвели пренеприятную сенсацию. В то время женщины не посещали университет и не допускались к экзаменам. Только в Швейцарии русские девушки своими настойчивыми усилиями завоевали себе право гражданства в университетах и широко пользовались им.

Оставалось нам только подняться на Эйфелеву башню. Мы все откладывали подъем, очень уж нам не нравилась сама башня. Она как-то нарушала стиль Парижа. Но, поднявшись на нее, мы любовались бы не ею, а все тем же прекрасным Парижем с его площадями, бульварами, живописными берегами Сены и ее зелеными островами.

Словом, мы решили подняться. На первые два яруса подъем происходит на лифте. На последний, окружающий верхушку башни, ведет довольно крутая чугунная лестница.

Наконец-то мы на самой вышке, и перед нами величественная панорама огромного мирового города. Но ведь мы пока смотрели все на одну часть Парижа. Мне захотелось обойти кругом верхушку башни. Я пошла, держась за перила, – высота там такая и притом никакого ската, сразу обрыв до самых улиц, – что все время немного кружится голова.

Не успела я обойти половину башенки, как вдруг передо мной очутились... два моих знакомых нижегородца – Кюлевейн и Кондратов. Я не имела понятия, что они в Париже и вообще за границей. Обоюдное изум-

ление не имело границ. Надо же было проехать всю Европу и подняться на вершину Эйфелевой башни, чтобы встретиться с земляками.

Чтобы отпраздновать это событие, они пригласили меня позавтракать с ними. Я, понятно, согласилась, предупредив только Бернштамов.

Им захотелось угостить меня наиболее по-парижски, и они прежде всего заказали устриц. Но как мне ни хотелось быть с ними как можно любезнее, я не смогла заставить себя попробовать эту экзотическую закуску. Они были очень огорчены, но остальной завтрак вполне вознаградил меня за отказ от устриц, которых я так и не попробовала за всю свою жизнь.

В конце концов, мы добросовестно изучили внешний Париж, но совершенно не заглянули в его внутреннюю жизнь. Парижская толпа производила очень приятное впечатление, оживленная, с тонкими нервными лицами у мужчин и женщин. Легко было поверить, что эта толпа могла совершить большие дела. Но в отдельности те французы, с которыми нам приходилось встречаться, отталкивали нас своей расчетливостью и отсутствием общественных интересов. Когда они в массе, их ничего не стоило зажечь, но дома весь их пыл улетучивался, и их интересовали только самые будничные дела, прежде всего стремление заработать лишнее су и не переплатить ни одного сантима. И это можно было наблюдать во всех слоях общества от академиков до фабричных рабочих.

Париж нас поразил и восхитил, но не привлек, и мы без особого сожаления покидали его, направляясь в Италию через Ниццу.

По Франции мы ехали в третьем классе, не рискнув ехать в четвертом, главным образом из-за бородатых торговок, стекающихся по всем дорогам на центральный парижский рынок и разъезжающих во всех направлениях.

В Ницце мы не останавливались, только полюбовались ее чарующей красотой из окон вагона.

На границе Италии нам посоветовали взять билеты второго класса, такая грязь встретила бы нас не только в четвертом, но даже в третьем классе. Кроме того, нас предупреждали, чтоб мы узнали стоимость билета в нужном нам направлении и тщательно проверяли сдачу, выдаваемую кассиром. Этого даже в России не делалось, не говоря о культурных государствах Европы.

Мы хотели совершать небольшие переезды по пути в Рим, останавливаясь во всех чем-нибудь примечательных городах.

Первым поразившим нас городом была Генуя. Она чрезвычайно живописно расположена на прибрежных скалах, точно это не выстроенный людьми город, а птичьи гнезда, разбросанные где придется. Большая часть домов со стороны моря возвышается на несколько этажей, спускаясь к самой земле со стороны суши. Здесь в них не более одного этажа, где ютятся лавчонки или магазинчики.

Перед каждым домиком торчало несколько апельсиновых деревьев, в это время года осыпанных душистыми цветами. Тем не менее апельсины были везде, и на их корки постоянно наступал неосторожный прохожий, рискуя сломать себе ногу на крутых, узких, извивающихся улочках. Через улочки от дома к дому протянулись веревки, на которых сушилось белье и... обязательные макароны. Макаронами питалась вся Италия, поливая их оливковым маслом.

Из Генуи наш путь лежал в Пизу с ее знаменитой склонившейся на бок башней и не менее знаменитым кладбищем.

Что итальянцы прирожденные художники, нигде не ощущается так ясно, как на кладбищах. Их храмы расписали гениальные живописцы и скульпторы, а памят-

ники на кладбищах ставили никому неведомые ремесленники. Но каждый памятник – высокое произведение искусства.

Вспомните наши кладбища, наших толстомордых ангелов и тяжелые безвкусные часовни. Проходя по пизанской скульптурной галерее, именуемой кладбищем, как-то совестно было вспоминать Волково кладбище, где только в виде исключения на литературных мостках можно увидеть прекрасный, выразительный портретный бюст Успенского и др.

Из Пизы мы проехали во Флоренцию, воспетую всеми поэтами мира, а оттуда в Рим.

Рим был кульминационным пунктом путешествия. Из него, к нашему большему огорчению, начинался обратный путь.

Путешествие длилось уже три месяца, и финансы наши были на исходе, а хотелось заехать еще в Венецию, Милан и хоть мимоходом побывать в Швейцарии.

Все-таки мы не торопились с осмотром Рима, слишком неизгладимые, ни с чем не сравнимые впечатления он навевал. В нем можно, конечно, прожить и год и не насытиться им, но это уж для тех, кто поставил себе целью изучить его основательно, а не для таких поверхностных туристов, какими были мы.

Для нас довольно было увидеть своими глазами эту вечную красоту, ощутить эту не умирающую в веках жизнь.

О ней громко говорили самые камни вечного города, развалины его Форума, озаренный луной грандиозный Колизей.

Днем надо было видеть эти тысячелетние камни, увитые только что распустившимися розами, розами сегодняшнего дня, дивными, царственными розами, которыми благоухает весь вечный город.

В нем хрупкая прелесть сегодняшнего дня неразрывно сочетается с неумирающей красотой вечности.

После Рима была Венеция. Кто не читал сотни раз ее описания, и мы, конечно, тоже? Но, когда мы вышли из вагона, прошли через вокзал и очутились перед водной гладью, то не поверили своим глазам. Ведь это же город, а мы не можем ступить в нем ни шагу.

Благодетельный Деникер объяснил нам все заранее – куда сдать вещи, чтоб их доставили в указанный нами отель, что сказать гондольеру и даже какими словами торговаться с ним. И все-таки, когда подъехала таинственная, беззвучная гондола, мы заняли места в ней, и гондольер одним взмахом длинного весла вовлек нас куда-то в черное ущелье узкого канала, невольно подступила жуть. Все черно было кругом, с обеих сторон, точно скалы, возвышались темные стены домов. Иногда впереди мелькал приближающийся огонек-фонарик на носу встречной гондолы. Неужели в этом узком коридоре можно не столкнуться и не погрузиться навеки в черные бездонные глубины?

Но вот гондольеры обменялись какими-то гортанными криками, не то приветствиями, не то предостережениями, и мимо борта нашей гондолы промелькнула, как тень, не прикоснувшись к нам, другая гондола. Заметьте, что гондолы чрезвычайно длинны, и гондольер и правит, и гребет стоя, одним длинным веслом. Но о случаях столкновения никто никогда не слышал.

Наконец, из сети узких каналов мы неожиданно вынырнули на широкий водный поток, ярко освещенный окнами прекрасных дворцов. Взад и вперед мимо нас сновали гондолы, некоторые пышно разукрашенные, сияющие огнями пароходики, буксиры с баржами.

Ловко лавируя среди всего этого движения, наш гондольер уверенно причалил к отелю, где мы решили остановиться.

Через минуту Мума и я очутились в мрачной средневековой зале. Не успели мы разобрать свои вещи, как к нам постучался Михаил Вильямович.

– Разве вы не хотите пройтись, посмотреть площадь св. Марка, Дворец дожей?

– Как это пройтись? – спросила Мума. – Когда тут и ступить-то некуда. Мы же не утки.

– Ну, не так уж безнадежно, – засмеялся Михаил Вильямович. – Вдоль всего Canale Grande идет узенькая набережная. По ней можно дойти до площади св. Марка.

– Да ведь весь город спит, – продолжала возражать Мума.

– Если все спят, так мы и вернемся. Ну, идемте же!

Мы надели шляпы и отправились.

Как только мы очутились на блещущем огнями канале, усталость как рукой сняло. А на площади св. Марка мы почувствовали себя, точно в бальной зале. Гремела музыка. Вокруг открытые двери кафе, пред дверями столики, за которыми сидят нарядные дамы и мужчины. По мозаичному полу двигается оживленная праздничная толпа. Местами образуется как будто островок, вокруг которого завивается людской поток. Здесь кто-то кормит крошками голубей св. Марка. Ручные голуби доверчиво клюют крошки у самых ног гуляющих, а люди осторожно обходят этот островок, чтобы не помешать птицам.

Там в ущельях средневековых каналов спит Венеция, а здесь международная толпа туристов чуть ли не всю ночь напролет под бальную музыку сменяющихся оркестров танцует, закусывает, флиртует и в виде дани местным традициям кормит голубей св. Марка.

Несмотря на шум толпы, на звуки музыки, мы вскоре почувствовали, что больше всего в Венеции поражает ее тишина, отсутствие привычных звуков большого города – топота копыт, грохота колес, звонков конок, трамваев тогда еще не было. Точно какой-то волшебник заколдовал этот чудесный город, погрузив его по пояс в море.

В Венеции мы провели три дня. Ездили на Лидо, осматривали дворец Дожей, его бесконечную портретную галерею, стояли в задумчивости перед пустой рамой, откуда вырезан портрет дожа-изменника.

Но все же самое сильное впечатление оставила первая поездка по узким темным каналам среди мрака спящих средневековых громад.

Из фантастической, вынырнувшей прямо из средневековья Венеции, мы мгновенно перенеслись в шумный современный Милан, хотя главный его магнит – великолепный, беломраморный, тоже средневековый собор.

В Милане надо было принимать решение – или ехать прямо в Женеву, или попытаться совершить переход пешком через перевал Мон-Сени.

Все опытные, знающие, благоразумные люди уверяли нас, что сезон пеших восхождений на горы еще не наступил и все равно придется вернуться. Но мы упрямо стояли на своем. Ждать было некогда, а отказываться никак не хотелось. Разумных соображений мы привести не могли, а только твердили, что нам хочется этого. И так как известно, что «против глупости сами боги борются безуспешно», то мы и победили. Мы сели на поезд, доставивший нас на станцию Домодасола, откуда идет фуникулер до начала пешеходного перевала.

Мы были единственными пассажирами, вышедшими на этой станции. Люди не смогли удержать нас, теперь очередь была за небом, и оно добросовестно исполнило свою обязанность. Только что мы вошли на станцию – большой, совершенно пустой, скудно освещенный сарай, как началась одна из тех горных гроз, которыми пугают путешественников. Голубые молнии во всех направлениях пересекали небо, освещая таинственным светом сарай, раскаты грома раскалывали небесный свод, обрушивая на нас окружавшие нас горы, убеждая бежать, спасаться. Но куда? Безвыход-

ность рождает смелость отчаяния. Мы предались воле разбушевавшихся стихий и заранее радовались при мысли о том, как будем рассказывать о своей неустрашимости.

Наконец, гроза стала понемногу стихать, и одновременно послышался свисток игрушечного паровозика, спешившего за нами. Быстро переступая карликовыми ножками, он подвез к площадке пустой крошечный вагончик, мы вошли в него, и он повлекся куда-то в горное ущелье, все озаряемое молниями и глухо ворчащее навстречу нам.

Вот и конечная станция. Трудно описать изумление содержательницы постоялого двора, когда мы вошли к ней и объяснили наше желание.

– Сезон еще не наступил, – повторяла она, вслед за другими.

Помимо того, ее чрезвычайно удивили наши легкомысленные, совсем не альпинистские костюмы.

Пользуясь необыкновенной легкостью и удобством пересылки вещей в Швейцарии, сначала мы отправили вперед чемоданы, потом ручной багаж и, наконец, даже жакеты, оставшись только в юбках и батистовых блузках. И действительно в долинах было уже жарко, но в горах температура совсем иная, а этого мы и не рассчитали.

– Что же мне с вами делать? – ужасалась участливая швейцарка.

В конце концов, она нашла выход. Все равно нам необходим проводник до Шамони, куда мы направлялись. Ну, так она закутает нас в платки, а мы отдадим их проводнику, и он принесет их обратно.

Выходить надо было до рассвета, так как солнце, теперь уже жаркое, растапливало днем замерзший за ночь снег, и тогда идти было опасно. Насколько глубок был снег, мы поняли, увидав телеграфные столбы, от которых торчали только самые верхние чашечки.

Хозяйка накормила нас и уговорила все-таки немного прилечь, чтоб поберечь силы. Мы уже начали немного смущаться – силы! Неужели нужны в самом деле какие-то особенные силы?

В три часа утра хозяйка пришла за нами, закутала каждую в несколько платков, заколола как можно выше наши юбки и передала с рук на руки проводнику, пожелав нам всего самого доброго.

Несколько десятков обычных шагов в гору, в продолжение которых мы успели подумать: «Что же тут такого особенного?», как внезапно это «особенное» началось.

Перед нами была почти совершенно отвесная снежная стена, покрытая настом, т. е. оттаявшим за день и заледеневшей за ночь снегом.

Мы в недоумении оглядывались, уверенные, что где-нибудь есть тропинка, хоть и крутая, но доступная. Но тропинки не было.

– Что ж, назад? – насмешливо спросил Михаил Вильямович.

– Ни за что, – ответила Мума. – Идите же. Пусть он покажет, что надо делать, – кивнула она в сторону проводника.

Проводник укрепил в снегу свою палку, потом с легкостью шагнул наверх, укрепил ее выше и шагнул еще. Затем он вернулся, протянул руку Муме и объяснил ей, чтоб она ставила ногу в его следы, поддерживаясь с другой стороны своей палкой.

На мою долю остался весьма мужественный и достаточно сильный, но совершенно неопытный проводник. Мы с ним значительно отстали, но все-таки кое-как подвигались вперед.

Сколько времени длилось это восхождение, не могу сказать, но что ничего подобного мы себе не представляли – это верно.

Наконец, мы достигли вершины перевала и перед нами открылся изумительный вид на переливающуюся всеми лучами восходящего солнца горную цепь, сверкающие ледники, гигантский Монблан. Этот дивный вид вознаградил бы нас за всю невероятную трудность восхождения, если б можно было вдосталь полюбоваться им.

Но нас ждала неожиданная неприятность.

Проводник вдруг заявил, что если он пойдет провожать нас до Шамони, то уже не успеет в этот день возвратиться назад, а ему это необходимо. Другой дороги тут нет, Шамони прямо перед нами. Стоит только спуститься с перевала, а там проезжая дорога.

– Спускаться совершенно все равно где, – убеждал он нас. – Идите себе прямо. Предупреждаю об одном, не подходите близко к телеграфным столбам. Они нагреваются всего сильнее, и можно провалиться. А извлечь оттуда довольно трудно. Ну, решайтесь скорее, ни вам, ни мне не стоит терять времени. Снимайте платки, я отнесу их хозяйке.

И это еще! На перевале дул ледяной ветер, а нам так хотелось насладиться еще всей этой божественной красотой.

Но... что поделаешь! Мы сняли платки и сразу точно окунулись в ледяную ванну. В одну минуту наш коварный проводник исчез. Мы остались одни на снежной верхушке перевала.

Посидеть и отдохнуть – о чем мечталось – нечего было и думать.

Надо было сейчас же спускаться вниз. Ну, все-таки вниз, а не вверх, утешали мы себя.

Вскоре пришлось убедиться, какое это плохое утешение. Если мы не хотели скатиться кубарем с перевала до самой долины, надо было употребить не меньше усилий, чем при подъеме. По счастью еще альпийские

палки мы купили в собственность, чтоб сохранить на память, а то худо бы нам пришлось.

Обливаясь потом под жгучими лучами солнца, увязая в рыхлом снегу, всеми силами удерживаясь, чтобы не скатиться, мы ползли, карабкались, хватаясь друг за друга и чуть не плача.

Наконец, мы добрались до более покатого склона и смогли хоть выпрямиться. Но тогда оказалось, что наши с Мумой юбки на аршин от подола до того набухли от таявшего снега, что превратились в огромную, непосильную для нас тяжесть. Самоотверженный брат предложил выжать Мумину юбку. Мума великодушно выжимала мою. Когда вместо пуда, каждая стала весить полпуда, мы продолжили путь.

В маленькой деревушке у самого подножия Альп мы зашли в деревенский трактирчик, попросили себе с Мумой комнату, молока с хлебом и отдали просушить наши юбки чулки и ботинки.

Оставалось только вооружиться терпением, но именно терпения у нас и не хватило. Чулки высохли очень быстро, юбки тоже, хотя вид, какой они приняли, испугал бы и самого невзыскательного человека.

Но кожаные ботинки и не собирались сохнуть, а когда мы попытались натянуть их на сухие чулки, задача оказалась непосильной.

Пришлось в Шамони идти босиком, в надежде, что там найдется сапожник, который возьмется поставить ботинки на колодки и так просушить их.

По счастью, это удалось сделать, но настроение оказалось вконец испорченным. Мы мечтали только об одном – лечь и отдохнуть.

Омнибус в Женеву отходил рано утром.

Только назавтра днем, въезжая в нарядную, блещущую чистотой Женеву, мы вполне поняли, какую огромную глупость совершили, не послушавшись советов разумных людей.

Когда нас высадили у конторы омнибусов, мы буквально не знали, куда деваться. Зайти в том виде, в каком мы были, даже в самый скромный отель, представлялось немыслимым.

Михаил Вильямович пошел доставать наш багаж и остальные вещи, мы же с Мумой, как неприкаянные, бродили около конторы.

Но вот он явился и сказал, что все сделано. Вещи в отеле, комнаты наняты, остается возможно незаметнее проскользнуть мимо швейцара.

Так мы и поступили. И только переодевшись с ног до головы, мы осмелились выглянуть из своего номера и пойти осматривать красавицу Женеву.

Утром следующего дня мы прокатились по женевскому озеру, осмотрели знаменитый Шильонский замок и живописные окрестности Женевы.

Через день мы отправились в наш последний совместный переезд. В Берне приходилось расстаться. Бернштамы решили провести еще месяц в Женеве, а мои финансы не позволяли мне этого. Надо было торопиться домой. Ехать прямым поездом я, конечно, не могла. Первая продолжительная остановка должна была быть в Вене.

С грустью распрощалась я с милыми моими спутниками и с тяжелым сердцем одна пустилась в обратный путь.

Равнодушно смотрела я на красоты Тироля, удивляя своим бесчувствием соседей по вагону, любезно обращавших на них мое внимание.

Наконец, доехали мы и до Вены. В Вене у меня была одна знакомая курсистка. Мне очень хотелось повидать ее, она как бы опять связывала меня чем-то с Бернштамами – она была приятельница Мумы, а главное, очень тоскливо было скитаться целый день одной по чужому городу.

Но тут начались затруднения. Адрес я помнила довольно приблизительно. Было воскресение, и адресный стол был закрыт.

К тому же, в Вене я оказалась «без языка». Хорошим знанием немецкого языка я не могу похвастать, но все-таки в Берлине и я понимала всех, и меня все понимали.

А тут туземцы смотрели на меня, раскрыв рот, и качали головами, точно я говорю по-китайски. Когда же они пытались объяснить мне что-то, я тоже не понимала ничего.

Население во всех южно-германских странах говорит на диалекте, больше отличающимся от северо-немецкого, чем украинский от русского. В конце концов, я махнула рукой и решила, что это только начало моих злоключений.

И вот я брела в самом унылом настроении по прекрасному кольцу бульваров Ring'y, как вдруг я увидела... Кого бы вы думали? – Именно ту, которую я тщетно искала.

Как тут не убедиться в особой ко мне любезности провидения. В многомиллионном городе встретить на улице единственного человека, которого я там знала и который, кстати, не подозревал о моем приезде.

Она отдала себя в полное мое распоряжение на весь день, хотела показать мне все достопримечательности, но я взмолилась. Я была сыта достопримечательностями, и мы с ней просто погуляли по парку, пообедали в каком-то ресторанчике, а затем она проводила меня на вокзал.

День, суливший мне тоску и уныние, прошел приятно и незаметно. Отъезжая, я видела приветливое лицо, как будто не была сейчас так одинока на свете.

До границы не предстояло больше продолжительных остановок.

Не могу сказать, чтобы «дым отечества» мне показался хоть сколько-нибудь «сладок и приятен». Я с

удовольствием отсрочила бы свидание с ним и на месяц, и на два.

А уж вонь в наших отечественных вагонах после чистеньких австрийских просто доконала меня.

Родина готовила мне на первых же парах весьма неприятный сюрприз. Край, по которому мы ехали, населен главным образом евреями. Он входил тогда почти весь в так называемую «черту оседлости», т. е. местность, где евреи могли жить беспрепятственно, тогда как в других местах, не входивших в эту черту, они или вообще не могли проживать, или, по крайней мере, по предъявлению особых каждый раз разрешений местных властей.

По правде сказать, я знала об этих порядках весьма мало.

Я видела только, что почти все мои соседи по вагону были евреями, причина же подобного положения меня не интересовала. Поезд подходил к какой-то крупной станции. И вдруг сидевшая рядом со мной еврейка вскочила и, волнуясь, стала о чем-то просить меня на ломанном русско-еврейском языке. Она протягивала мне своего, по-видимому, новорожденного младенца. С трудом я разобрала, что она просит меня подержать ее ребенка пока она сходит в буфет купить ему молочка. А у нее молоко пропало.

Я не сумела отказать и без особого восторга взяла запеленатого красненького малыша.

Мать моментально выскочила за дверь вагона.

В ту же минуту меня буквально оглушил хор насмешливых, даже злорадных голосов:

– Хэ, хэ! Вот вы и с сыночком, барышня!

– Только вы ее и видели!

– Она уж, наверное, далеко теперь!

– То-то рада, что нашла такую...дуру, – видимо хотела сказать говорившая и закончила: – ...такую добрую барышню.

– Это у нас сплошь и рядом бывает, – вмешался почтенный еврей, видя, что я ничего не понимаю. – Дает подержать в вагоне, а сама – бежать. Ну, а поезд-то не ждет. Уйдет, как полагается. Вот потом и ищи ветра в поле. Да вы не огорчайтесь, барышня, может, на ваше счастье, и вправду за молоком побежала.

Время шло, и мое положение становилось все безнадежней. Я бы могла тоже выскочить на станции и поискать мою соседку, но я даже лица ее как следует, не разглядела. Но кто возьмет теперь у меня мою живую ношу? Прозвонил второй звонок, я потеряла уже всякую надежду, как вдруг отворилась дверь и вошел жандарм, ведя за руку мою сбежавшую соседку.

– Не в этом ли вагоне ехала эта жидовка? – спросил он грубо, поворачивая ее во все стороны.

– В этом! В этом! Как же! – раздался хор радостных голосов.

– Вот и младенчик ейный, – прибавил кто-то. – Вишь, барышне подержать дала, а сама наутек!

– А! Вот оно что! – крикнул жандарм, тряхнув злополучную еврейку и толкая ее ко мне. – А я было думал, стянула чего, да и тягу.

Не знаю, что бы он еще прибавил, но, по счастью, раздался третий звонок, и он вышел, выразительно погрозив моей несчастной соседке.

Начались насмешки, издевательства, пока, наконец, схватив ребенка и тощий узелок, она не перешла в другое отделение.

Оказалось, спас меня на этот раз закон о «черте еврейской оседлости». Моя соседка, сбыв мне сына, сейчас же направилась через вокзал к выходу в город. Но по какой-то прихоти судьбы именно этот городишко не входил в «черту еврейской оседлости». Евреи не имели права останавливаться в нем, иначе чем по особому разрешению.

Железнодорожный жандарм, приставленный следить за соблюдением этого закона, сейчас же заметил попытку еврейки пробраться в город, схватил ее и, подозревая какую-нибудь преступную причину попытки ее бегства из поезда, потащил ее по вагонам, предъявляя для опознания соседям.

Мне повезло, он успел дойти до нашего вагона. Я избавилась от подкидыша, который мог сильно осложнить мою жизнь, не говоря уже о том, что возвращение после четырехмесячного отсутствия с новорожденным младенцем, породило бы много разговоров.

Но... и «закон о черте оседлости» может иногда пригодиться. Если бы не он, я возвращалась бы с сыном.

А теперь я ликовала. Меня очень мало смущала мысль о несчастной еврейке, у которой, возможно, и вправду пропало молоко и которую, наверное, ждут дома еще пять или шесть голодных ртов.

На этом мои дорожные приключения закончились.

Через день утром я была уже в Петербурге, там меня встретил дядя и повез прямо в Павловск, где они с тетей и с бабушкой жили на даче Андрея Никитича Ткачева.

Тетя вышла встретить нас на Павловский вокзал с большим букетом дивных роз. Я страшно удивилась. Это не было принято у нас. Оказалось, моя приятельница М. Ф. Николева, находившаяся в ссылке, написала тете, прося ее встретить меня с цветами, чтобы я не так ощутила переход из цветущей Италии в наш хмурый Петербург. Из Швейцарии я уезжала в июне, жарким летом, а в Петербург приехала в разгар цветущей весны.

ЗАМУЖЕСТВО. А. А. ДАВЫДОВА

То лето – 1897 года – когда я вернулась из-за границы, прошло для меня очень приятно. Мы жили в Павловске, который я люблю больше всех петербургских

окрестностей, главным образом за его великолепный парк. Вечером в Павловском вокзале играл симфонический оркестр, а днем можно было уйти в глубь парка, где он переходит в густой лес. Я очень любила уходить в парк с утра до самого обеда.

После обеда к нам обычно приезжали знакомые.

Особенно часто навещал нас Ангел Иванович Богданович. К нему все у нас относились очень хорошо. Все, кроме моей бабушки, жившей у нас летом.

Тетя убедила свою мать поселиться с нами. Ей было уже 89 лет, и тетя боялась, что ей уже не по силам жить одной, особенно при ее упрямом характере.

Она считала, например, своим долгом молиться по часу утром и вечером. Тетя не возражала, но уговаривала ее молиться, сидя в кресле. Бабушка на это ни за что не соглашалась. Она непременно должна была стоять перед киотом с образами и даже класть земные поклоны.

Два раза во время такой продолжительной молитвы ей делалось дурно, и она падала на пол. И оба раза она так неудачно падала, что у нее делалась пневмония. Но и это не сломило ее характера. Она готова была скорей умереть, чем поступиться тем, что считала своим долгом.

В своих суждениях о людях она была также непоколебима, хотя часто крайне пристрастна и несправедлива. Она очень любила дядю Николая Федоровича, но сразу почему-то невзлюбила моего отца. По-видимому, за то, что он носил синие очки, – это она считала несомненным признаком революционера. В семье существовал такой анекдот.

Когда моя мать вышла за моего отца, обе сестры с мужьями поселились вместе, и мать их с ними. Мужчины ходили на службу, причем мать моя, любившая рано вставать, всегда поила мужа чаем. Тетя моя, напротив, любила утром поспать и предоставляла дяде пить чай одному.

Бабушка возмущалась обеими дочерьми.

– Уто, Сонюшка, батенька, неужто твой-то и чаю сам не умеет напиться? Ты должна еще вскакивать ни свет, ни заря.

А тете она говорила

– Сашенька, голубчик мой, неужто ты не можешь встать проводить Коленьку, что он, как неприкаянный, должен один, как перст, чай пить. Нехорошо это, мой батенька.

Она осталась при глубоком убеждении, что мой отец втягивал мою мать в революцию и, если бы она не умерла, он все равно погубил бы ее. В действительности было как раз обратное.

Революционные убеждения моей матери были гораздо определеннее и глубже, и влекли ее к непосредственному участию в революционном движении.

В то время, о котором я пишу, такое же подозрение неизвестно почему навлек на себя А. И. Богданович.

В первый же раз, как бабушка увидела его, она лаконично спросила меня:

– Из Сибири?

– Нет, бабушка, почему? Он и не бывал никогда в Сибири.

– Ну да, рассказывай. А синие очки зачем?

– Он близорук, бабушка.

Она недоверчиво покачала головой, но спорить больше не стала.

Мы с Ангелом Ивановичем, напротив, очень сблизились после того лета, когда умерла Лелечка.

Меня очень трогало его бережное, участливое отношение к Авдотье Семеновне, искренно его любившей.

Я чувствовала, что дело движется к решительному моменту, но какие-то неясные сомнения все еще бродили во мне. Нужен был еще какой-то толчок, что-то,

что победило бы мою нерешительность, мое нелепое стремление сохранить свою независимость.

И тут этот недостающий толчок, совершенно против своего желания, дала тетя.

Ей больше всего хотелось, хоть она и не высказывала этого, чтобы я вообще не выходила замуж и прожила всю жизнь с ними.

Поэтому она подозрительно относилась ко всем молодым людям, бывавшим у нас.

Такое же подозрение навлек на себя и Ангел Иванович.

Мои возражения, что все это только ее фантазия, на нее не действовали.

Наконец, видя ее тревогу, я сказала ей:

– Теточка, да пусти ты слух, что у меня жених в Китае, по крайней мере, все твои воображаемые претенденты отступятся.

Но это не понадобилось. Когда поздней осенью мы приехали в Петербург на новую квартиру, тетя вернулась как-то из редакции «Мира Божьего» в прекрасном настроении.

– Ну, слава Богу, – сказала она, – ты была права. Ангел Иванович и не думает о тебе. Он явно ухаживает за Н. Н. – барышней, часто бывавшей в редакции.

Результат вышел совсем не тот, какого ожидала тетя.

Ее слова оказались именно тем толчком, какого мне недоставало.

Через день Ангел Иванович был уже моим женихом.

Свадьбу пришлось немного отложить, наступал рождественский пост, когда православные священники не имеют права венчать.

Весть о моем замужестве быстро распространилась среди наших знакомых, и первая горячо поздравила меня издательница «Мира Божьего» Александра Аркадьевна Давыдова.

Александра Аркадьевна, безусловно, самая интересная женщина, какую я встречала в жизни.

Очень красивая, она рано вышла замуж за знаменитого виолончелиста и директора консерватории К. И. Давыдова и сразу вошла в высшее светское и музыкальное общество Петербурга. Она имела, как женщина, исключительный успех. За ней ухаживали, с одной стороны, такие знаменитости, как А. Рубинштейн, с другой – русские великие князья. Но ее не удовлетворяла светская жизнь, она искала чего-то другого, более содержательного.

Ее успехи еще и не начинали идти на убыль, когда у одной своей приятельницы, баронессы Варвары Ивановны Икскуль, она столкнулась с людьми другого рода. У баронессы Икскуль бывали в то время многие видные литераторы, в том числе Николай Константинович Михайловский. Александре Аркадьевне тогда было 40 лет, но она была по-прежнему хороша. Как только они встретились, между ними вспыхнул самый страстный роман. К несчастью, оба они обладали слишком сильной индивидуальностью, что не сулило прочности их отношениям.

Их роман длился около года и кончился так же внезапно, как начался.

Но в жизни Александры Аркадьевны он сыграл крупную роль.

Хотя она и не смогла ужиться с Николаем Константиновичем, она, тем не менее, ценила его высоко. Это был человек, живший абсолютно иными интересами, чем те люди, среди которых она вращалась всю свою молодость.

Она подумала, что именно он смог бы указать ей дело, которое заполнило бы ее жизнь.

Со своими женскими успехами она решила покончить сразу и бесповоротно, хотя ее внешность и блеск прекрасных глаз еще далеко не обязывали ее к этому.

Но она была женщина решительная и, как сказала, так и сделала. В качестве внешнего символа начала новой жизни она перестала «одеваться», облекшись в длинную широкую кофту, надев наколку на голову и постаравшись придать себе вид старухи.

Ее прежние поклонники, если они хотели поддерживать с ней отношения, а такие оказались, в том числе один герцог, должны были беспрекословно усвоить себе новый тон.

Михайловский – что было едва ли не единственным случаем в его жизни – сохранил с ней самые близкие дружеские связи до самой ее смерти.

И он действительно указал ей дело, какого она искала. Он посоветовал ей основать журнал. Но, учитывая отсутствие у Александры Аркадьевны систематического образования и ясно выраженных общественных стремлений, он предложил ей основать журнал для юношества и самообразования, содержание которого было бы вполне доступно ей самой.

Но второй его совет, которому она тоже последовала, по-видимому, совершенно неожиданно для него самого, – взорвал ту крепость, которую он соорудил.

Первый, приглашенный Александрой Аркадьевной редактор, оказался очень неудачным. Михайловский порекомендовал ей Ангела Ивановича Богдановича, который вел до тех пор внутреннее обозрение в «Русском богатстве», но разошелся во взглядах с остальной редакцией и ушел.

А. А. Давыдова охотно согласилась, но Михайловский коренным образом ошибся, вообразив, что Богданович – подходящий человек для того, чтобы вести чуждый политике спокойный журнал для самообразования.

Он, что называется, «рвался в бой». Будучи убежденным материалистом, он мечтал о полемике с народниками. Естественно, что в народническом жур-

нале («Русском богатстве») это было невозможно. Вести безразличный в общественно-политическом отношении журнал ему было совершенно не интересно.

Михайловский, рекомендуя Богдановича в редакторы «Мира Божьего», подготовлял себе убежденного противника, чего Александра Аркадьевна тоже совершенно не предвидела, так как не слишком хорошо разбиралась в направлениях.

Она поначалу и не заметила, как постепенно стала изменяться физиономия журнала. Она видела только, что журнал все больше привлекает внимание, о нем много говорят в литературных кругах, и подписка на следующий – 1896 год – сразу значительно возросла. И все это благодаря напряженной, просто самоотверженной работе Ангела Ивановича. Правда, полемики он пока не начинал, хотел, чтобы журнал прочно встал на ноги, завоевав себе положение в журнальном мире. Нападки со стороны никому неведомого журнала «для юношества и самообразования» могли показаться смешными.

Александра Аркадьевна начинала чувствовать, что это уже не тот небольшой журнальчик для юных читателей, которым она могла в значительной степени руководить. Ему нужен был иной, более подготовленный, широко и систематически образованный руководитель. И этот руководитель был налицо. Лучшего она и не желала.

А она сама стала вовсе не так уж необходима журналу. Энергичная и деятельная, она вовсе не хотела сдерживать естественный рост своего детища, но одного этого журнала ей стало мало.

И вот она понемногу начала подготавливать новый журнал, именно такой, каким должен был быть «Мир Божий» по первоначальным чаяниям ее и Михайловского, но каким он быть перестал.

Инстинктивно, она в начале ничего не говорила Ангелу Ивановичу. Она желала все подготовить, а уж потом передать «Мир Божий» с рук на руки Богдановичу. Самой же вплотную заняться новым журналом с новым названием – «Юный читатель».

В конце концов, волей-неволей пришлось посвятить в свой замысел Ангела Ивановича.

Но того, что произошло, она отнюдь не ожидала. А произошла настоящая буря с громом и молниями. Ангел Иванович казался Анне Аркадьевне спокойным выдержанным человеком, никогда не повышавшим голоса, с головой ушедшим в работу.

И вдруг... Он как будто стал выше ростом, глаза его сверкали, голос гремел по всей редакции. Он источал ярость, негодование.

Рассказывая об этом мне, Александра Аркадьевна не могла не волноваться.

– Голубушка моя, – говорила она, беря меня за руку. – Вы не боитесь его? Ведь он убить может.

Я улыбнулась.

– Пока еще никаких покушений не было. Ведь вы же, Александра Аркадьевна, понимаете, что его взорвало до такой степени? Он и мысли не допускает, чтобы вы отошли от журнала. Мы много говорили с ним об этом, и я его упрекала, что он так накричал на вас. Но он говорит, журнал погибнет, если вы вдруг его покинете.

– Да в чем дело? – удивлялась Александра Аркадьевна. – Чем я ему так нужна?

– Он говорит, что вы душа журнала, он захиреет без вас.

– Не понимаю, – повторяла она. – Журнал давно перерос меня. Ну что он говорит? В редакции он так кричал, что я перепугалась и ничего не соображала.

– По его мнению, – да это и верно, – люди идут не в редакцию «Мира Божьего», а именно к вам. Вас зна-

ют и любят. Вы умеете привлекать сотрудников. Словом, вы душа всего дела. Не говоря уж о вашем прекрасном знании иностранных литератур. И если вы отойдете от журнала, он решил тоже уйти и искать другой работы.

– Он с ума сошел! – вскричала Александра Аркадьевна. – Да разве я когда-нибудь отпущу его.

– Тогда придется и вам оставаться, – засмеялась я.

В результате все уладилось. Александра Аркадьевна, хотя и с грустью, передала новый журнал своей приятельнице Малкиной и все-таки, тайком от Ангела Ивановича, следила за новым журналом и давала советы его редактору.

Александра Аркадьевна была необыкновенно деятельным человеком. Проекты рождались в ее голове, как грибы после дождя. То она затевала приложение к «Миру Божьему», то народную газету. Жизнеспособным оказался только детский журнал «Всходы», тоже возникший тайком от Ангела Ивановича. Потом он был официально перепродан издателю Монтвиду. Его редактором долгое время была моя тетя А. Н. Анненская.

В своем первом разговоре со мной Александра Аркадьевна дала мне очень разумный совет, на который я в начале не обратила большого внимания, но со временем поняла и оценила.

– Только не вздумайте ревновать Ангела Ивановича к журналу. Этим вы испортите жизнь и себе, и ему. Не улыбайтесь. Эта очень обычная ошибка молодых жен. Будьте заранее готовы, что все свои силы он отдаст журналу. Это его жизненная задача. Сумейте поддержать его в минуты неудач, помочь, разделить его интересы.

Мне казалось это настолько простым и естественным, что я не слишком вдумывалась в совет Александры Аркадьевны. А журнал и меня интересовал, и я была уверена, что никаких разногласий с мужем не возникнет.

БОГДАНОВИЧИ.
ОТЪЕЗД КОРОЛЕНКО ИЗ ПЕТЕРБУРГА.
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КАЗАНСКОЙ ПЛОЩАДИ.
КЕНАН

Скоро я убедилась, что это не так просто. Ангел Иванович, чуть не с детства привыкший к одиночеству, был человеком крайне замкнутым. Отец его, уездный судья, сначала в Литве, потом на северных окраинах, мог уделять многочисленной семье очень незначительные средства. С пятого класса гимназии Ангел Иванович поселился отдельно и содержал себя на собственный заработок, благо он прекрасно учился, и учителя охотно рекомендовали его в качестве репетитора. Если б не арест, разбивший его карьеру, он бы, вероятно, стал выдающимся ученым в области естественных наук. Его работа по химии на третьем курсе университета привлекла внимание всего факультета и была напечатана.

Надо сказать, что все члены семьи Богдановичей отличались исключительными способностями, равнявшимися только их же исключительной скромности.

Никто из них не пользовался ни поддержкой, ни покровительством сильных мира сего. Кроме того, они были поляки и католики, что в те времена сильно мешало всякой карьере.

И все-таки, младший брат Ангела Ивановича, Осип Иванович, окончивший Нижегородский кадетский корпус, пойдя по военной дороге, стал полковником во время русско-японской войны, а в Первую мировую – уже бригадным генералом. И, наконец, одним из четырех на всю армию инспектором артиллерии.

Другой брат, Карл Иванович, тоже окончивший кадетский корпус, не заинтересовался военным делом. Он самостоятельно подготовился и поступил в Горный институт, окончил его, стал там профессором,

потом директором и председателем Геологического комитета.

Замечательной была и судьба их сестры Софьи Ивановны. Ее, в виду чрезвычайно стесненных обстоятельств семьи, взяла на воспитание старая дева, поклонница их дяди, монаха-доминиканца. Воспитательница была еле грамотна и не дала никакого образования своей воспитаннице, выдав замуж против ее желания за больного человека, умершего через год после брака. Оставшись совершенно одинокой и ни к чему не подготовленной, Софья Ивановна вторично вышла замуж за пожилого банковского служащего, тоже умершего через два года.

Товарищ ее второго мужа предложил ей устроить ее счетчицей в Государственный банк, на абсолютно механическую работу.

И вот эта полуграмотная женщина сделала в банке головокружительную карьеру. Постепенно повышаясь по службе, она стала заведующей счетным отделом, единственной в банке штатной служащей женщиной. Она имела под своим началом 100 служащих и 200 рабочих. При этом она пользовалась таким авторитетом, что ни одно увольнение или назначение в ее отделении не проходило помимо нее. И она всегда умела отстоять несправедливо обиженных. На своем юбилее она получила трогательный адрес от сослуживцев, чрезвычайно лестное письмо от директора банка Плеске и от министра финансов Кауфмана.

С Ангелом Ивановичем она состояла в большой дружбе и часто приходила к нам, когда ей нужно было составить затруднявшую ее официальную бумагу. Я очень жалела, что она умерла, когда мои дети были еще так малы, что не могли понять и оценить этот характер.

Сам Ангел Иванович во всем и всегда привык полагаться только на самого себя, ни с кем не деля ответственности.

Мне потребовалось много усилий, чтобы приучить его к мысли, что пристальный интерес к его труду не является посягательством на его права.

Далеко не сразу он стал делиться со мной всем, что его тревожило и волновало в журнальной работе. Зато, когда эта привычка установилась, я имела громадное удовольствие видеть, как после рассказа о тревогах и случайных неприятностях, он успокаивался и овладевавшая им мрачность рассеивалась.

Особенно радовало меня, что Ангел Иванович очень скоро сблизился с моими родными, и не только с тетей и дядей, но даже с Иннокентием Федоровичем, с которым у меня к этому времени установилась тесная близость, усиливавшаяся с годами. К этому мне еще придется вернуться. Тут я отмечу только, что Иннокентий Федорович скоро понял и оценил Ангела Ивановича и охотно давал в его журнал свои переводы из Еврипида.

Сначала это меня даже несколько удивляло. Я видела, что, несмотря на горячую братскую любовь, оба брата, Николай Федорович и Иннокентий Федорович, остаются далеки друг от друга и моему дяде совершенно чужды и даже непонятны интересы, которыми живет Иннокентий Федорович. Мне казалось, что по своему внутреннему складу Ангел Иванович должен чувствовать себя ближе к Николаю Федоровичу, чем Иннокентию Федоровичу. Но это была ошибка. Не говоря о том, что Ангел Иванович был человеком другого поколения, что делало для него понятнее интересы Иннокентия Федоровича, направление, какого он придерживался (что я только со временем поняла) было значительно шире народничества и открывало большой простор мысли.

В то время я об этом не думала. Мне просто было приятно, что Иннокентий Федорович, которого я сама незадолго до того стала по-настоящему понимать и

ценить, встретил такую высокую оценку со стороны Ангела Ивановича.

Несмотря на тяжелые воспоминания, связанные для меня с Куоккалой, я все-таки считала, что это самое здоровое место под Петербургом для детей. На даче в Куоккале мы прожили 15 лет, и за это время ни у одного из моих четырех детей не было летом даже насморка. А единственный раз, когда мы изменили Куоккале для Сиверской, моя вторая дочь все лето проболела там малярией.

Надо сказать, что переезд Владимира Галактионовича в Петербург не оказался для него удачным. Отчасти, может быть, тут действовало самовнушение. Во всяком случае, он чувствовал себя в Петербурге много хуже, чем в Нижнем. Войти в местную жизнь в столице было и много труднее, и значительно менее интересно, чем в Нижнем. А те интересы, какими жила петербургская интеллигенция, не захватывали его. Споры марксистов с народниками казались ему отвлеченными. Он часто говорил, что не увлекается высшей математикой, когда еще не усвоена таблица умножения. Он считал, что первое, что должно усвоить себе все население во всех слоях, это осознание своих прав и умение их отстоять. Этого у нас нет нигде – ни у академиков, ни у крестьян, ни у рабочих. Поэтому полемика по теоретическим вопросам оставляла его равнодушным. Он не чувствовал своей непосредственной необходимости в Петербурге, что он постоянно ощущал в Нижнем. Это порождало в нем чувство неудовлетворенности, действовавшее и на его физическое состояние. У него начались упорные бессонницы, крайне мешавшие его работе.

Кроме того, ему казалось, что и на дочерей его столичная жизнь вредно влияет и они больше хворают тут, чем в Нижнем.

Словом, по всем этим причинам его стало неудержимо тянуть вон из Петербурга.

Дядя, наоборот, чувствовавший себя в Петербурге, как рыба в воде, истощил все свое красноречие, доказывая Владимиру Галактионовичу, что он сам себе внушил неприязнь к Петербургу, и стоит ему отказаться от этой ложной идеи, как он сразу почувствует себя иначе. Но, в конце концов, он должен был признать, – предубеждение против Петербурга настолько овладело его другом, что удерживать его – значит ломать его жизнь и делать его несчастным.

На общем совете выбор нового местожительства остановился на Полтаве, и в 1901 году осенью, к нашему общему огорчению, Короленки всей семьей переехали в Полтаву. Мы около этого же времени решили поселиться вместе с тетей и дядей. На этом особенно настаивал Ангел Иванович, совершенно по-родственному сблизившийся с моими родными.

Я, конечно, ничего лучшего не желала, а о тете и говорить нечего, тем более, что, кроме меня, у нее был теперь и другой магнит в моей семье – моя первая дочь.

Мы так и сделали и нашли общую квартиру в так называвшемся тогда «доме Мурузи», на углу Литейного и Пантелеймонской – одинаково близко от обеих редакций – и от «Русского богатства», и от «Мира Божьего». Квартира была прекрасная, и мы надеялись, что устроились в ней прочно и надолго.

Но... человек предполагает, а начальство располагает. Ему же, по-видимому, наша совместная жизнь почему-то пришлась не по душе, и оно ее разрушило. Вот как это случилось.

На курсах я все время горевала о том, что не происходит никаких студенческих волнений, а стоило мне кончить, как вспыхнули волнения и довольно серьезные.

Студенты решили устроить политическую манифестацию на Казанской площади – этом излюбленном месте манифестаций в Петербурге.

Ангел Иванович не сочувствовал этой манифестации и не только сам не пошел, но решительным образом запротестовал против моего намерения пойти туда. Я в то время кормила ребенка, и он считал совершенно недопустимым всякие рискованные мероприятия в такое время. И тетя, и дядя были на его стороне, и мне пришлось скрепя сердце подчиниться.

Но сам дядя, хотя его здоровье не позволяло ему участвовать в уличных манифестациях, и слышать ни о чем не хотел.

У студентов были самые мирные намерения, никакого оружия они с собой не брали, но разнесся слух, что полиция готова на самые решительные меры, чтобы не допустить сборища.

Дядя воображал, что вмешательство лиц почтенных, которых нельзя заподозрить в желании устроить уличное побоище, может предотвратить столкновение.

Ангел Иванович возражал ему, что полиция будет только рада, если к студентам присоединятся посторонние люди.

Тогда студенческой манифестации можно будет придать более опасный характер с точки зрения властей.

Но дядя ни с какими аргументами не согласился и пошел на площадь.

События развернулись быстро. Во всех дворах, окружавших площадь, спряталась конная полиция, и как только показались первые группы манифестантов, на них были направлены полицейские войска, их окружали, избивали и загоняли в соседние дворы.

Командовал военными действиями полицмейстер Клейгельс.

Дядя попробовал подойти к нему и заявить, что манифестация студентов носит совершенно мирный характер. Нет никакой надобности пускать в ход холодное оружие.

Но в то самое время как дядя пытался убедить Клейнгельса, на него набросились конные городовые и начали форменным образом избивать.

Клейнгельс и не пытался прекратить это побоище, что вызвало страшное негодование всех, кто это видел. К дяде кинулись на помощь, завязалась настоящая свалка.

С большим трудом удалось наконец вырвать его из рук озверевших городовых и привезти домой.

Легко представить себе наш ужас и возмущение, когда мы увидели дядю, избитого, с черным распухшим лицом.

Все благоразумие Ангела Ивановича мгновенно испарилось. Он готов был немедленно мчаться на площадь и принять участие в драке. Мы с тетей еле удержали его, доказывая, что бросаться безоружным на полицейских безумие. Да и драка, когда дядю увезли, уже явно стихала, а арестованных студентов развозили по участкам.

Тогда у Ангела Ивановича явился другой план. Он не считал возможным оставить без протеста такое возмутительное насилие над мирным гражданином.

В то время в Петербурге существовало литературное общество, устраивавшее разного рода собрания, рефераты, лекции.

Литературное общество не может не отозваться на такое надругательство над одним из его членов. Надо во что бы то ни стало, сегодня же, заявить гласный протест.

Сейчас же стали всеми способами извещать членов общества о том, что вечером назначается экстренное собрание. Телефонов в то время почти ни у кого не было, и дать знать всем, кому нужно было, не удалось.

Собрание вышло не очень многолюдное, но очень дружное. Появление дяди делало излишней всякую агитацию.

Немедленно был выработан текст протеста и подписан всеми присутствующими. Их оказалось сорок четыре. Протест этот так и стал известен под именем «протеста сорока четырех».

Он был переписан во многих экземплярах и широко распространялся не только в Петербурге и Москве, он даже и в провинции.

Нельзя сказать, чтобы Ангелу Ивановичу удалось оградить меня от волнений, о чем он так заботился. Разве только я избежала давки и возможных толчков и ударов со стороны городовых.

Прошло несколько дней, и полиция стала перебирать участников «протеста сорока четырех».

Ангел Иванович был одним из его инициаторов, и я не сомневалась, что это не пройдет для него без последствий.

Действительно, как-то вечером, когда я уже легла, а Ангел Иванович сидел еще у себя в кабинете за работой, ко мне вбежала наша перепуганная няня и трагическим шепотом сообщила:

– Барыня, у вас в квартире полиция. В кабинете двое, барина не выпускают. Что с нами будет?!

Я хорошо знала, что «с нами» ничего страшного не будет, но все-таки быстро оделась и пошла в кабинет. Там происходил обычный обыск. Ничего «преступного» найдено не было. Жандарм хотел было забрать нож для разрезания книг, сделанный в форме кинжала, определив его как «холодное оружие». Мне с некоторым трудом удалось убедить его, что такое «оружие» не представляет опасности не только для человека, но даже для мышонка. В конце концов, он согласился и оставил в покое разрезальный нож.

Когда обыск закончился, я была уверена, что тем дело и кончится, ведь никакой «крамолы» не обнаружили. Но я ошиблась: Ангелу Ивановичу предъявили ордер на личное задержание независимо от результатов обыска.

Не скрою, что это произвело на меня самое тягостное впечатление, тем более что нельзя было предвидеть, к чему приведет этот арест. Если к высылке, то вся жизнь Ангела Ивановича могла быть испорчена.

Но этого не случилось. Его продержали две недели в Петропавловской крепости и выпустили без всяких ограничений в правах.

Довольно оригинальные последствия имела демонстрация на Казанской площади для моего дяди. Казалось бы, с него было достаточно физических воздействий, каким он подвергся, а протеста он, как пострадавший, разумеется, не подписывал. Но начальство «признало за благо» выслать его из Петербурга и при том выслать в Куоккалу, в ту самую дачу, где мы жили летом.

Дядя смеялся, что в прежнее время людей высылали в их собственные поместья, но чтобы людей поселяли принудительно в чужие дома, с этим он сталкивается впервые.

Тем не менее, тете с дядей так и пришлось поселиться в Куоккале на даче П. В. Анненкова, которую мы из года в год нанимали летом.

В ближайшее лето у нас в Куоккале состоялся неожиданный и приятный визит известного исследователя Сибирской ссылки Жоржа Кенана. Он много лет не бывал в России и успел забыть русский язык. То есть понимал он и теперь легко, но говорить совсем не мог.

Положение наше оказалось довольно затруднительным. Тетя моя, хорошо знавшая английский язык, как назло уехала из Куоккалы на несколько дней. А ни дядя, ни Владимир Галактионович не знали ни слова поанглийски. Я, правда, читала по-английски и даже переводила с английского, но практически я совершенно не знала английского языка и ни разу не встречалась ни с одним англичанином.

И все-таки, нельзя же было допустить, чтоб такой интересный человек, как Кенан, уехал от нас, не получив ответов на интересующие его вопросы.

И вот у нас началась любопытная беседа. Кенан говорил по-английски, я внимательно прислушивалась и, к собственному удивлению, все понимала. Это, вероятно, объяснялось тем, что Кенан был опытный лектор и привык говорить отчетливо, чтобы его понимала многочисленная, не всегда подготовленная, аудитория.

Выслушав его, я переводила дяде и Владимиру Галактионовичу то, что он сказал, и один из них отвечал ему, тоже стараясь говорить возможно отчетливее.

Как любезный человек, Кенан счел своим долгом выразить удивление, что я так легко понимала его, не имея раньше никакой практики.

Человек он оказался очень разговорчивый, веселый и смешливый, причем для нас не всегда была понятна причина его веселости.

Он рассказывал, между прочим, о приемах и обедах, какие устраивал в посольстве русский посол, очень радушный и гостеприимный человек.

Заливаясь искренним смехом, Кенан несколько раз повторял, что, разливая суп по тарелкам, посол спрашивал гостей:

– Вам погуще или пожиже!

Так для нас и осталось непонятным, что в этом вопросе до такой степени смешило Кенана.

ВЫСТРЕЛ КАРПОВИЧА.
ВЫБОР ГОРЬКОГО В АКАДЕМИЮ.
КОРОЛЕНКО У ТОЛСТОГО. МИЛЮКОВ.
РЕДАКТОР «МИРА БОЖЬЕГО».
РЕДАКЦИЯ «РУССКОГО БОГАТСТВА»

Студенческие волнения, вылившиеся в демонстрацию на Казанской площади, породили отклик и в других университетских городах – Москве, Киеве, Одессе. Одновременно с этим по всей России прокатилась вол-

на рабочих стачек. Хотя не было никаких указаний на связь того и другого движения, тем не менее, правительство было сильно испугано и решило расправиться со студентами так, чтобы отбить у них охоту солидаризироваться с рабочими. Обычно после студенческих волнений следовало исключение зачинщиков и временное удаление из университета еще несколько десятков участников.

Теперь этого показалось недостаточным. Назначили особую следственную комиссию, которая должна была выяснить степень виновности тех или других студентов и определить меру наказания.

В состав комиссии в Петербурге вошло несколько профессоров, и это первое время давало надежду, что особенно жестких мер принято не будет.

Заседания комиссии обставлялись, конечно, тайной, но постепенно слухи о происходившем там стали просачиваться и порождали сначала недоумение, а потом негодование.

Наконец, стало известно: комиссия предлагает, как высшую меру наказания, сдачу студентов в солдаты.

Это вызвало настоящий взрыв негодования. Говорили, что даже Николай I не доходил до того, чтобы принудительно сдавать студентов в солдаты. Недовольны были и военные, находившие, что не следует укоренять мнение о службе в армии, как наказании.

Я хорошо помню то время и то настроение подавленного негодования и бессильного раздражения, какое все шире разливалось тогда. Если бы была возможность дать какой-нибудь выход этому негодованию, оно, быть может, несколько рассеялось бы, но такой возможности не было, и у всех назревало ощущение, что дальше так продолжаться не может и что непременно произойдет какой-нибудь взрыв.

И взрыв произошел. Никакого решающего значения он не мог иметь. Террор плохой путь для полити-

ческой борьбы. Он только яркий симптом общественного настроения.

Во время приема у министра народного просвещения Боголепова один из посетителей, подавая министру бумагу, выстрелил в него в упор из револьвера.

Боголепов упал, тяжело раненный в живот, а стрелявшего Карповича, разумеется, схватили.

Боголепов умер через несколько дней. Карповича судили и, как тогда говорили, по просьбе Боголепова, смертная казнь была заменена ему каторгой.

Выстрел Карповича прокатился эхом по всей России и вызвал какое-то неясное ощущение удовлетворения. Его восприняли, как ответ на сдачу студентов в солдаты.

Во всяком случае, как бы ни оценивать этот выстрел с точки зрения его целесообразности, можно сказать только, что он прозвучал, как раскат освежающей грозы среди гнетущей духоты. Стало как-то легче дышать. Это ощущали все, даже Ангел Иванович, хотя он, как марксист, был принципиальным противником террора.

С этого момента, хотя, конечно, никак не связанное с ним, но вызванное отчасти теми же причинами, началось оживление революционного движения и в городах, в рабочей среде, и в деревнях среди крестьянской массы. Наиболее значительные крестьянские волнения с поджогами помещичьих усадеб и с убийствами помещиков и управляющих, разыгрались на Украине, особенно в Полтавской губернии.

Короленко, незадолго до того переехавший в Полтаву, с волнением рассказывал нам о крестьянских бунтах.

В это самое время в Петербурге разыгралась позорная история с выбором Горького в Академию. Когда выборы состоялись, результат их был представлен на «высочайшее благовоззрение» и вызвал царскую резолюцию, что-то вроде «оригинально!»

По уставу выборы академиков не требовали никаких утверждений. Тем не менее, высочайшее неодобрение произвело среди академиков крайнее смущение. Обеспокоился и президент Академии, вел. Князь Константин Константинович и не нашел ничего более достойного, чем предложить Академии кассировать выборы.

Короленко, тоже незадолго до того избранный в Академию, не только возмутился, но даже оскорбился, так как в качестве академика должен был в какой-то мере нести ответственность за позорный акт президента.

Он послал заявление в Академию, слагая с себя звание почетного академика. Чехов, узнав о поступке Короленко и разделяя вполне его чувства, решил приехать в Полтаву, чтобы поговорить об этом деле с Короленко. Но Короленко, зная о болезни Чехова, сам поехал к нему в Ялту. После разговора с Владимиром Галактионовичем Чехов тоже послал отказ от звания почетного академика. Таким образом, Академия, отвергнув Горького, лишилась одновременно и Чехова, и Короленко.

Но мне поездка Короленко в Ялту запомнилась не только этим.

В Крыму в Гаспре жил тогда, поправляясь после тяжелого воспаления легких, Л. Н. Толстой.

Узнав о приезде Короленко, он передал ему просьбу повидаться.

Вернувшись в Петербург, Владимир Галактионович с некоторым изумлением рассказывал нам о своем впечатлении от посещения Толстого.

Лев Николаевич был при встрече настолько еще болен, что все время лежал с закрытыми глазами. Но он настойчиво просил Владимира Галактионовича подробно рассказать ему, что происходит сейчас на Украине.

Короленко не счел себя вправе что-нибудь смягчать и затушевывать в разговоре с Толстым и рассказывал ему во всех подробностях о грабежах, поджогах

и убийствах, производимых крестьянами, доведенными до последней степени ярости возмутительными преследованиями помещиков и земских начальников. Сами крестьяне называли эти свои набеги на помещичьи усадьбы по-украински «грабижками».

Лев Николаевич слушал молча, с закрытыми глазами, и Владимир Галактионович невольно вспоминал проповедь его о непротивлении злу насилием.

И вдруг, когда Короленко замолчал, окончив свой рассказ, Толстой повернулся к нему и, сверкнув на него своими пронзительными, широко раскрытыми глазами, громко и отчетливо произнес:

– Молодцы!

Короленко говорил, что никогда еще Толстой не производил на него такого потрясающего впечатления, как в этот момент, когда глубоко взволнованный страшной жизненной трагедией, он забыл свои теории и откликнулся на нее со всей силой своей могучей натуры.

Толстой в этот период, видимо, переживал какой-то кризис. Он совершенно неожиданно реагировал не только на рассказ Короленко о крестьянских «грабижках», но и на рассказ о террористическом покушении.

Он опять-таки внимательно, с закрытыми глазами слушал спокойный рассказ Короленко. И снова, когда Короленко окончил, он сверкнул на него глазами и закричал:

– И ц-е-л-е-с-о-р-а-з-н-о!

Только Толстой со своим безграничным мужеством и бестрепетной искренностью мог так сказать, зная, что его взгляды и теории известны каждому и уж, конечно, хорошо знакомы Короленко.

Мне тоже в этот период посчастливилось несколько раз видеть Толстого и даже довольно близко.

Мы с Ангелом Ивановичем жили в это лето на даче Александры Аркадьевны Давыдовой в Мисхоре. Мисхор расположен на берегу моря между Гаспрой и Алуп-

кой. Толстой, к этому времени уже выздоровевший, каждый день ездил верхом из Гаспры в Алупку на почту.

Было большой радостью, завидев его издали, выйти на дорогу и поклониться ему.

Горький в своей характеристике Толстого, лучшей, на мой взгляд, из всего написанного о Толстом, несколько раз упоминает о маленьком росте Толстого. «Маленький, седенький и все-таки – Бог».

Мне не пришлось видеть Толстого ни стоящим, ни даже сидящим. Я видела его только верхом на лошади. И на лошади, вероятно, вследствие уменья прекрасно держаться в седле, он производил впечатление скорей высокого человека. Впрочем, раз я могла видеть Толстого и сидящим в коляске. Не помню, почему нам стало известно, что Толстые всей семьей собираются в коляске в Алупку.

Мы решили поднести Софье Андреевне букет роз, удивительно красивых в Мисхоре.

Увидев группу людей, стоящих на краю дороги с большим букетом цветов, кучеру велели остановиться. Букет мы передали Софье Андреевне, и она любезно поблагодарила нас, но я до такой степени волновалась, что не могла заставить поднять глаза на самого Толстого и уж, конечно не смогла бы судить о его росте.

Очень приятно было видеть, как все рабочие каменщики, чинившие шоссе, при проезде Толстого, вставали и низко кланялись ему.

Когда мои дети подросли, моей мечтой было поехать с ними в Засеку и там, укрыв их где-нибудь в кустах, недалеко от Ясной Поляны, подождать прохода Толстого. У меня и мысли не было подводить детей к нему. Мне просто хотелось, чтоб в глазах у них запечатлелся образ величайшего писателя мира.

Но этой мечте не суждено было сбыться. Толстой умер прежде, чем это можно было осуществить. И я

благодарна судьбе, что хоть сама сохранила в памяти его образ.

Дела редакции требовали возвращения Ангела Ивановича в Петербург, но меня тетя уговорила остаться еще месяца на полтора в Крыму, так как у меня обнаружился упорный плеврит.

На смену Ангелу Ивановичу приехал дядя, и мы с ним, переехав в Ялту, пробыли там до конца октября.

Тетя по моей просьбе присылала мне каждый день открытки о здоровье детей. Пред отъездом я попросила ее телеграфировать в Севастополь, чтобы я не беспокоилась в дороге. В Севастополе я получила телеграмму, что все здоровы и успокоилась.

Приехала я в Петербург в очень холодный день, и Ангел Иванович встретил меня с шубой и ботами. Одеваясь, я спросила, все ли благополучно дома.

– Только ты, пожалуйста, не пугайся...– начал он.

– Что такое? – вскрикнула я, чувствуя, что вся холодею от ужаса.– Говори скорей!

– Шура не совсем здорова...

– Значит, вы обманули меня.

– Нет, она заболела, как только мы послали телеграмму.

Дома я нашла Шуру в сильном жару, и у нее начался тяжелый бронхит со всякими осложнениями. Кончился он, правда, благополучно, но я не могла простить себе, что так надолго осталась в Крыму, хотя тетя, конечно, не хуже меня заботилась о детях.

В этом году Александре Аркадьевне удалось побывать в Мисхоре только поздней осенью, и то ненадолго, когда нас там уже не было.

Эта осень была очень бурной для «Мира Божьего». Ангел Иванович всячески старался привлекать к журналу сотрудников, которых считал для него полезными. Одним из таких сотрудников был приват-доцент по русской истории П. Н. Милюков.

И Александра Аркадьевна, и Ангел Иванович были очень довольны своим новым сотрудником. Но Ангелу Ивановичу казалось недостаточным простое его сотрудничество. Милюков становился все более популярным, и Ангел Иванович стал убеждать Александру Аркадьевну, что его имя, поставленное во главе журнала, в качестве редактора, чрезвычайно повысит авторитет журнала. Александра Аркадьевна довольно долго колебалась, но, в конце концов, согласилась, с тем условием, чтоб это ни в какой мере не повлияло на роль в журнале Ангела Ивановича. Пусть имя Милюкова стоит на обложке, как имя официального редактора, если его утвердят – фактически он будет только членом редакционной коллегии, а решающий голос по-прежнему останется за Ангелом Ивановичем. На том и порешили, и Ангел Иванович был чрезвычайно доволен.

Первый месяц все шло прекрасно, и Александра Аркадьевна решила поехать отдохнуть в Мисхор.

Вскоре после ее отъезда начались первые недоразумения.

Милюков, прежде всего, был профессор, и сотрудничество профессоров он считал наиболее ценным для журнала. Ангел Иванович держался несколько иного мнения. Профессора люди почтенные и знающие, но если они станут главными сотрудниками журнала, они могут совершенно засушить его.

Милюков не уступал. Он оказался чрезвычайно властным человеком. А раз его имя стояло на обложке, он находил неудобным не давать окончательного ответа своим товарищам профессорам, показывая тем, что он не единоличный хозяин журнала.

На первом же труде одного из профессоров, котором Ангел Иванович нашел специальным и не интересным для читателей, произошло столкновение.

Но Ангел Иванович продолжал считать сотрудничество самого Милюкова необходимым журналу. И он,

не колеблясь, решил, что если журналу приходится выбирать между ними двумя, то весы неминуемо должны склониться в сторону Милюкова.

В таком смысле он и написал Александре Аркадьевне, что, мол, она прекрасно сумеет и при Милюкове поддержать прежние традиции «Мира Божьего», а отсутствие Ангела Ивановича не отзовется вредно на журнале.

До получения ответа, Ангел Иванович считал своим долгом продолжать работу, стараясь по возможности уступать новому редактору, не создавая конфликтов.

Прошло три дня, и от Александры Аркадьевны пришла пространнейшая телеграмма на адрес Ангела Ивановича.

Прежде всего, она категорически требовала, чтоб он и думать не смел об уходе из журнала. Потом она заявляла, что во всем совершенно солидарна с ним и не чувствует никакого особого пристрастия к профессорам, кроме самого П. Н. Милюкова. И в конце она сообщала, что немедленно выезжает, и через два дня будет в Петербурге.

Ангел Иванович не счел необходимым показывать Милюкову телеграмму Александры Аркадьевны, сообщив ему только, что она в ближайшие дни возвращается.

В день ее приезда я с утра была как на горячих угольях.

Чем все это кончится? Уход Милюкова был бы действительно большой потерей для журнала, а для Ангела Ивановича, хоть он и бодрился, уйти из «Мира Божьего» значило бы по существу утратить цель жизни.

Обычно Ангел Иванович возвращался из редакции в 5 часов, но прошло и 5, и 6, а его все не было.

Я чувствовала, что просто не в силах больше терпеть и, несмотря на энергичные отговоры тети и дяди, взяла извозчика и покатила в редакцию.

Когда я вошла, я застала и Ангела Ивановича, и Милюкова одевающихся в передней.

Ангел Иванович встретил меня грозным взглядом, а я пробормотала что-то вроде того, что боялась, не попал ли он под конку.

Александра Аркадьевна, понимая мое неловкое положение, обняла меня и повела в столовую, приветливо кивнув Милюкову.

Не дожидаясь Ангела Ивановича, Милюков вышел и затворил за собой дверь. Ангел Иванович снял пальто и тоже вошел в столовую.

– Что это за глупость, Таня! – обратился он ко мне самым строгим голосом. – С какой стати ты явилась?

– Ну-ну, будет, строгий муж, – откликнулась Александра Аркадьевна. – Разве вы не понимаете, что она пережила за сегодняшний день? Хотя, – обернулась она ко мне, – это не делает чести вашей проницательности. Ну, неужели вы могли вообразить, что я променяю Ангела Ивановича даже на весь исторический факультет.

– Да как же будет? – спрашивала я.– С Милюковым ведь очень трудно сговориться.

– Это я уже ясно оценила. Что поделаешь, не умеет сговариваться, обойдемся и без него. Ведь жили же до сих пор и без его имени на обложке, авось проживем и дальше. А вот без вашего мужа не проживем.

– А как же очерки по истории культуры? – не унималась я.

– Я его спросила, – отвечала Александра Аркадьевна. – Он так благороден, что оставляет «Очерки» нам.

– Ну, идем, – торопил меня Ангел Иванович. – Мы и так замучили Александру Аркадьевну. Она ведь сегодня с дороги.

– Завтра приходите пораньше, Ангел Иванович, – сказала Александра Аркадьевна на прощанье, – у нас с вами много накопилось о чем поговорить.

И по дороге муж еще журил меня за мою несдержанность, поставившую его в неловкое положение пред Милюковым. Дома тетя с дядей тоже посмеялись надо мной. Но, в общем, все были довольны и удивлялись чутью Александры Аркадьевны, так хорошо разбиравшейся в людях и не давшей себя ослепить профессорским званием. Даже неприятная необходимость хлопотать о новой смене редактора не остановила ее, раз она убедилась, что данный человек, очень ценный как сотрудник, совершенно не подходит в качестве редактора.

Так эпизод с редакторством Милюкова и промелькнул, оставив след только на обложке одной книжки журнала.

После неудачи с Милюковым Александра Аркадьевна Давыдова решила не делать больше таких рискованных опытов и остаться при своей старой испытанной редакции.

Она только задумала несколько больше сблизить с редакцией многочисленных сотрудников журнала, хотя бы только живущих в Петербурге.

Надо сознаться, что и эта попытка оказалась не слишком удачной.

Александра Аркадьевна решила устраивать в помещении редакции периодические собрания сотрудников, «журфиксы», по примеру «Русского богатства», где с самого основания журнала еженедельно происходили известные всему литературному Петербургу «четверги».

Первый «журфикс» в «Мире Божьем» она устроила по случаю приезда в Петербург Алексея Максимовича Горького, тогда уже известного всей России. Незадолго до того вышел отдельным изданием первый том его рассказов, и слава Горького освежающей бурей пронеслась по всей стране, будя уснувших, подгоняя отстающих, раздувая чуть тлеющие искры в горячее пламя.

Появление Горького в Петербурге было большим литературным событием.

И литераторы, и просто читатели, и почитатели Горького жаждали увидеть его и услышать.

Но он не соглашался ни на какие публичные выступления и первое время навещал только своих старых знакомых по Нижнему, по Казани и по Самаре. Был он и у нас, доставив всем нам большое удовольствие. Я, впрочем, очень на него обиделась. Посмотрев на меня, он сказал:

– О, да вы сильно выросли с тех пор, как мы виделись в Нижнем.

– Что вы, Алексей Максимович, – обиженно ответила я, – у меня дочка растет, – и я поднесла к нему мою первую дочь, которой было тогда около года.

– Не хвастайтесь. У меня сын еще больше, по четвертому году, Максимка.

– А вы не привезли его с собой? – спросила я. – Как бы я хотела на него посмотреть.

– Как бы не так. В Самаре-то ему куда лучше, чем здесь, у вас. Вон, ваша дома киснет, а мой все время на улице, в снежки играет, с мальчишками дерется – приучается.

Александра Аркадьевна передала через Ангела Ивановича приглашение Горькому придти в редакцию «Мира Божьего».

Он согласился.

В редакции собралось много народа – и члены редакции, и технический персонал, и сотрудники – петербургские литераторы.

Пришел, наконец, и Горький с неизбежным Пятницким, державшим себя в этот приезд Горького как какой-то его импресарио.

Я с удивлением смотрела на собравшихся. Ведь это же все были большей частью писатели или, во всяком случае, люди, постоянно вращавшиеся в литературной

среде. И вот теперь, когда явилась новая знаменитость, они толпились вокруг него, смотрели ему в рот, как дикари, впервые увидевшие белого человека.

На Горького это, видимо, тоже неприятно подействовало. Он чувствовал себя как на сцене, перед надоевшей ему публикой. Предмет разговора перестал его интересовать. Он говорил как-то казенно, точно по обязанности, и я вспомнила, как увлекательно интересен он был в Нижнем, у костра на берегу Оки.

Мне стало досадно. Братья-писатели сами у себя украли настоящего Горького.

Потом по своим домам они отводили душу, разбирали его по косточкам, бранили, не понимая, что сами своим поведением превратили его из интереснейшего человека в актера, от которого они требовали исполнения заранее назначенной ему роли.

После отъезда Горького Александра Аркадьевна решила устраивать подобные собрания раз в две недели, по вторникам, так как первое пришлось на вторник. Мне казалось, что такая светская женщина, как Александра Аркадьевна, бывшая в прежние времена хозяйкой известного в великосветском обществе салона, сумеет объединить своих гостей и завязать интересные для всех разговоры. Но этого не получилось. Все както подозрительно поглядывали друг на друга, общий разговор не налаживался, гости разбивались на группы, переговаривались вполголоса, явно ждали чая. Действительно, как только подавали громадный серебряный самовар и обильную закуску, все быстро вставали, усаживались вокруг большого стола, с удовольствием закусывали и, как только позволяли приличия, начинали расходиться.

Иногда, правда, за столом завязывался на время общий разговор. Вспоминаю один такой более удачный журфикс. Кто именно на нем присутствовал, кроме супругов Мережковских, я уж теперь не помню.

Эффектная Зинаида Николаевна Гиппиус, с ярким, явно искусственным румянцем, большими подведенными глазами и пышными волосами, удивительного медно-золотистого цвета, продолжала развивать свою идею бессмертия. Разговор начался еще до чая, и я не слышала его начала. Но выходило так, что в загробном мире человек будет вести существование, очень сходное с нашей земной жизнью, только лишенной разных прозаических неприятностей, портящих нам наше земное странствие.

Большинство, не слышавших, как и я, начала разговора, с недоумением переглядывались. Д. С. Мережковский, сидевший на другом конце стола, подметил мелькавшие кое у кого улыбки, и, воспользовавшись первой паузой, обратился к Зинаиде Николаевне:

– Зиночка, ты говоришь настолько абстрактно, что это звучит даже слишком конкретно. Не всем доступно понимание таких глубин.

Мне, как и многим другим, с трудом удалось подавить улыбку.

Зинаида Николаевна презрительно поджала губы. Разговор принял другое направление, но самая фраза Д. С. Мережковского отчетливо запечатлелась в моей памяти.

Несколько позже, на собраниях литературного общества мне приходилось довольно часто встречать Мережковских, и З. Н. Гиппиус всегда удивляла меня. В ней чувствовался человек, настолько искусственно себя создававший, что, по-видимому, она и сама утратила представление, что в ней от природы, от собственной сущности, а что создано преднамеренно, потому что казалось ей более новым, оригинальным и интересным. При этом как женщина, несомненно, умная, она в совершенстве выдерживала взятую на себя роль и никогда не сбивалась с тона.

Сам Мережковский, мне кажется, менее талантливый, чем его жена, благодаря своей трудоспособности и целеустремленности оставил в литературе более заметный след, чем она. Полагавшиеся ему по штату кривляния стерлись и позабылись, а исторические романы, явившиеся в результате добросовестного изучения источников, остались и до сих пор читаются с интересом, особенно, если откинуть неизбежные «бездны».

Возвращаясь к журфиксам в «Мире Божьем», приходиться признаться, что они не удались. На них приходило все меньше народа, никакого объединения сотрудников с редакцией не получалось, и, мало-помалу, они умерли естественной смертью.

Тогда я как-то не задумывалась над причиной этого. Мне просто казалось, что Александру Аркадьевну они перестали интересовать, и она прекратила их.

Но позже я поняла, что причина лежала глубже. В «Мире Божьем» редакционного ядра по существу не было. Было два человека, Ангел Иванович, материалист и марксист, и Александра Аркадьевна, умная и талантливая женщина, но глубоко равнодушная и к марксизму, и к народничеству. Из ближайших сотрудников марксистами именовали себя двое – М. И. Туган-Барановский и П. Б. Струве.

Ближайшее будущее ясно показало цену этого марксизма. А рядом с ними печатались декаденты-идеалисты Мережковские. Правда, в те времена беллетристы не считались связанными направлением, но фальшивость этой точки зрения уже начала тогда ясно чувствоваться.

Направление журнала проявлялось, главным образом, в «Критических заметках» А. И. Богдановича, именно в его страстной полемике с Михайловским.

В «Русском богатстве» было другое. Там собрались и объединились «последние могикане» умирающего

народничества и изо всех сил старались поддерживать «своих». Беллетристы не отставали от публицистов. Нельзя сказать, чтобы это особенно благоприятно влияло на качество беллетристики, зато, несомненно, содействовало единству журнальной семьи.

Стоило перешагнуть порог журнального помещения в один из четвергов, чтобы почувствовать себя перенесенным на два-три десятилетия назад: во всем ощущался неуловимый привкус какого-то прекраснодушия и идеализма.

Я по родственным отношениям была вхожа в обе полемизировавшие между собой редакции. Когда я бывала в редакции «Русского богатства», иногда мной овладевало неудержимое желание чуточку подшутить над этими милейшими людьми, которых лично я очень любила, хотя и считала, что они безуспешно пытаются воскресить идеи прошлого.

Да и читатели их тоже принадлежали прошлому. Недаром подписка на «Русское богатство», поднявшаяся быстро до очень солидной цифры, больше уже не поднималась, несмотря на участие в редакции чрезвычайно популярных писателей, Михайловского и Короленко, и постоянное исключительное сотрудничество Короленко в беллетристическом отделе журнала.

Помню, раз я встретила на четверге знакомого мне по Нижнему земского доктора С. Ф. Дмитриева, человека еще молодого, но, несомненно, вышедшего из недр 70-х годов.

Он впервые приехал в Петербург и тоже впервые очутился в редакции высоко ценимого им журнала. Мы с ним сидели на диванчике, и он изливал мне свои чувства к тем людям, которые продолжают высоко держать знамя единоспасающего народничества.

– Вы не представляете себе, Татьяна Александровна, каким событием, каким праздником является для нас в провинции появление каждой новой книжки «Русско-

го богатства»! – с пафосом сказал он.– Мы собираемся вместе, читаем, обсуждаем...

Меня это чрезвычайно рассмешило. Чтобы появление этой книжки, серенькой и по внешнему виду, да и по внутреннему содержанию, исключая, конечно, очерки и рассказы Короленко, могло быть где-нибудь событием, – этому трудно было поверить.

Я подозвала проходившего по комнате А. В. Пешехонова и сказала ему:

– Алексей Васильевич, закажите мраморную доску, повесьте в редакции и напечатайте на ней золотыми буквами фамилию С. Ф. Дмитриева. Он только что сказал мне, что у них, в Нижегородской губернии, получение очередного номера «Русского богатства» является событием, праздником.

– Ну, так что же? – несколько обиженно ответил Пешехонов.

– Это для вас, Татьяна Александровна, в вашем «Мире Божьем», нет ничего святого...

– Я и не знала до сих пор, – перебила я его, – что «Русское богатство» причислено теперь к святому писанию...

С. Ф. Дмитриев смущенно прислушивался к нашей шутливой перепалке. Ему это казалось посягательством на самые возвышенные идеалы.

Помимо Михайловского, наиболее последовательными народниками в редакции были Пешехонов и Мякотин, оба завзятые полемисты. При этом Пешехонов, человек по характеру мягкий и добрый, вел полемику в спокойном и миролюбивом тоне. Но Мякотин был всегда в высшей степени придирчив и язвителен.

Дядя говорил, что его должны были бы звать не Венедикт Мякотин, а Мелединкт Коркин (Венедикт по латыни – благословенный, Меледикт – проклинаемый).

Но самым ярким и жестоким полемистом был, конечно, Михайловский.

Короленко, как и дядя, не считали себя народниками, хотя все же к народниками они были значительно ближе, чем к марксистам. Ни тот, ни другой в полемике не принимали участия. Но со своими сотоварищами по редакции у них обоих, особенно у дяди, были самые близкие, дружеские отношения.

Собрания редакционной коллегии, в которой участвовали Михайловский, Короленко, Мякотин, Горнфельд, проходили обычно у нас. Помещение редакции было открыто для всех сотрудников, туда постоянно кто-нибудь заходил, и вести серьезные обсуждения состава книжек там было неудобно.

Аркадий Григорьевич Горнфельд, редактировавший вместе с Короленко беллетристический отдел журнала, казался мне, помимо дяди и Короленко, наиболее интересным из сотрудников «Русского богатства». Он вообще был далек и от народничества, и от марксизма. Литературные и научные интересы преобладали в нем над общественно-политическими. Горнфельд был человек совершенно исключительный. Горбатый от рождения, с искривленными ногами, он еле мог с помощью палочки передвигаться по комнате. Более длительные передвижения представлялись для него совершенно невозможными. Но ни тени горечи или озлобления, обычно свойственные людям, так жестоко обиженным судьбой, у него не было. Мало того, он чрезвычайно живо и сочувственно интересовался сторонами жизни, ему абсолютно недоступными. Та некая связанность, обычно ощущаемая в разговоре с калеками, из боязни как-нибудь обидеть их, коснувшись случайно болезненно задевающей их темы, никогда не возникала в разговоре с Горнфельдом. Его все интересовало, он на все живо отзывался. До войны 1914 года он каждое лето совершал путешествие за границу, в один из южных курортов Франции или Италии, наслаждался, сидя в кресле, видом моря, океана или гор.

Помню, как он увлекся знаменитой танцовщицей, босоножкой Айседорой Дункан, гастролировавшей в Петербурге. Он посвятил ей два восторженных фельетона в «Нашей жизни». Один из них кончался словами: «Увидеть Дункан и умереть», перефразируя известное изречение неаполитанцев: «Увидеть Неаполь и умереть».

Посмотрев несколько раз Дункан, он, по счастью, не умер и продолжал писать свои тонкие, остроумные и интересные статьи, преимущественно на литературные темы. Он даже пережил всех товарищей по редакции, хотя был не моложе их. Он скончался незадолго до войны, весной 1941 года.

Бывать у него доставляло мне большое удовольствие, и я всегда вспоминаю о нем с чувством глубокого уважения и симпатии.

ДОМА. А. А. ДАВЫДОВА. Е. В. ТАРЛЕ. СМЕРТЬ МИХАЙЛОВСКОГО

Мы с Ангелом Ивановичем вели в то время очень уединенный образ жизни. Этому было много причин. Он вообще был человек крайне замкнутый, не нуждающийся в людях, особенно когда у него была захватывающая работа и большая семья, чего до тех пор он был лишен.

Я, наоборот, всегда отличалась общительностью и чувствовала потребность в людях, конечно, близких мне и симпатичных. Но в эти годы меня слишком поглощали дети. Каждые два года у меня рождался ребенок, год уходил на кормление. При этом поддерживать интенсивные отношения со знакомыми оказывалось довольно трудным.

Кроме того, сам по себе детский мир с весьма своеобразными особенностями каждого ребенка поражал и глубоко интересовал меня. До тех пор мне никогда

не приходилось иметь дело с маленькими детьми. Росла я единственным ребенком в семье, а когда выросла, дети интересовали меня гораздо меньше, чем многих моих сверстниц. Теперь я вдруг поняла, какой громадный интерес представляют эти несмышленые детеныши, на глазах превращающиеся в маленьких людей с такими ярко выраженными индивидуальностями, такие разные при одинаковой наследственности и одной и той же обстановке. При этом влиять на эти индивидуальности оказалось чрезвычайно трудно, почти невозможно. Особенно заинтересовала меня проблема наследственности, переплетающаяся и перекрещивающаяся. Иногда в ком-нибудь из детей меня неожиданно поражала определенная черта сходства даже не с родителями, а с кем-нибудь из дядей, тетей или дедушек.

Любопытно было тоже наблюдать разницу во вкусах, интересах и характерах между девочками и мальчиками. У нас в семье был только один мальчик, родившийся последним после трех сестер. Можно было думать, что три девочки, жизнь которых уже в известной мере определилась к тому времени, как он стал выходить из младенчества, втянет его в круг их занятий и интересов, тем боле, что даже близко знакомых мальчиков у наших детей не было, и никому в голову не приходило в какой-либо мере сравнивать и противопоставлять брата сестрам.

Между тем очень рано сказалось различие интересов и вкусов.

Помню первую елку, на которой Володя присутствовал сознательно, когда ему был год восемь месяцев.

У нас был обычай делать на елке подарки и своим, и приглашенным детям. Володе был предназначен большой красивый волчок, а одному из гостей-мальчиков лошадка. Но когда стали распределять подарки, Володя, увидав лошадку, не захотел смотреть ни на что другое. Он так вцепился в нее, с таким отчаянием отби-

вался от попыток отнять ее у него, что пришлось подарить гостю одну из запасных игрушек, всегда остававшихся у нас на случай недовольства кого-нибудь из детей своим подарком. С этого момента, он решительно не желал смотреть ни на какие игрушки сестер – на их куклы, хотя бы очень красивые, мебель, посуду и т. п. Его интересовали только лошади, солдатики, а позже автомобили и пароходы.

Перед этой елкой произошел характерный для него эпизод.

Я купила елку, но она оказалась слишком высокой по нашим комнатам и не укрепленной в кресте. Я попросила позвать дворника с необходимыми инструментами.

Пришел младший дворник в красной кумачовой рубахе, с топором за поясом. Дети, конечно, толпились тут же, с интересом ожидая, что будет. В эту минуту в комнату вбежал Володя. Бог знает, какая ассоциация мелькнула у него в голове. Вероятно, какой-то образ из книжки с картинками. Во всяком случае, он с тревогой взглянул на незнакомую фигуру в красной рубахе с топором и, отбежав в угол комнаты, растопырил руки и настойчиво закричал сестрам:

– Дети, сюда, все ко мне сюда, – показывая им, чтобы они скорее бежали под его защиту.

Я пошла к Ангелу Ивановичу и позвала его посмотреть на эту картину.

– Видишь, какой защитник растет у сестер. Он не даст их в обиду.

Очень скоро и Володя стал проявлять инициативу и придумывать игры, в которые втягивал сестер, особенно младшую из них, беспрекословно подчинявшуюся ему. При этом он решительно отказывался от участия в их играх с куклами, хотя они настойчиво приглашали его играть роль отца в семейной жизни их кукол. Это его нисколько не интересовало. И так продолжалось во все время их детства.

Единственный человек, с которым мы были действительно близки в этот период нашей жизни, была Александра Аркадьевна Давыдова. Мы оба горячо ее любили.

Александра Аркадьевна была очень несчастлива в личной жизни. Ее старший сын в ранней молодости тяжело заболел и, хотя он пережил мать, но не столько жил, сколько умирал годами на ее глазах.

Старшая ее дочь, Лидия Карловна, с которой мать была ближе всего, была замужем за М. И. Туган-Барановским. И это супружество доставляло вначале матери большую радость. Это была на редкость любящая и совершенно неразлучная пара. Работали они тоже вместе. Лидия Карловна деятельно помогала мужу в его писаниях и самостоятельно сотрудничала в «Мире Божьем». Встретить где-нибудь одного из них было почти невозможно. Если вы видели Лидию Карловну, стоило вам оглянуться, чтобы в двух шагах заметить высокую, худощавую, немного сутуловатую фигуру Михаила Ивановича. Он был сильно близорук и постоянно пугался, теряя вдруг Лидию Карловну, стоящую в двух шагах от него.

Вечером, возвращаясь домой, они имели обыкновение заезжать в булочную Филиппова на Невском. Лидия Карловна оставалась в санках, а Михаил Иванович заходил в булочную. Но и тут не обходилось без недоразумений. Однажды народу около булочной было особенно много, и извозчиков тоже ждало немало. И вдруг Лидия Карловна услышала испуганный женский крик:

– Ай! Что вам надо? Куда вы лезете?

Лидия Карловна приподнялась и увидела то, чего опасалась. Михаил Иванович по своей близорукости принял какую-то даму за Лидию Карловну и настойчиво пытался сесть в ее сани, повторяя успокоительно:

– Лидуся, Лидуся, что ты?

Лидии Карловне пришлось громко позвать его:

– Мишенька, куда ты? Я здесь.

Только тогда он, очень смущенный, высвободил свою длинную ногу из-под полости чужих саней и под хохот публики пробрался к своему извозчику.

Но у этой нежной пары было одно большое горе. Оба они горячо мечтали о детях, и каждый год судьба посылала им надежду. Но ни разу Лидии Карловне не удалось произвести на свет живого ребенка. Никакие меры, никакие советы врачей не помогали.

Наконец, последний раз, на девятом году брака, последствием преждевременных родов явилось тяжелое заболевание. Сначала никто из врачей не мог поставить диагноз. Но потом оказалось, что это белокровие, болезнь, против которой медицина не знала в то время средства.

Отчаяние Михаила Ивановича не знало границ. Об Александре Аркадьевне и говорить нечего. Со смертью Лидии Карловны в ней что-то оборвалось, и мы все, окружавшие и любившие ее, сразу почувствовали, что она не сможет больше жить.

Казалось, ничто не может потрясти Александру Аркадьевну, но судьба готовила ей новый удар. Через 10 месяцев после смерти Лидии Карловны Михаил Иванович вторично женился, и корректуры его очерков, печатавшихся в «Мире Божьем», возвращались в редакцию, правленые незнакомой женской рукой.

Это окончательно сразило Александру Аркадьевну. Она не могла представить, что ее дочь будет так скоро забыта.

С тех пор это был уже не живой человек. Хотя она прожила после смерти Лидии Карловны еще год, но это была тень прежней женщины. Огонь, непрерывно горевший в ней, погас, и она не жила, а ждала смерти.

Единственное, что заботило ее, была судьба «Мира Божьего». Она всегда была уверена, что передаст его,

умирая, Лидии Карловне, которая принимала в нем самое близкое участие. А теперь та ушла раньше ее.

У нее оставалась еще одна дочь, но она никогда не проявляла никакого интереса к журналу и вообще была далека от литературных интересов.

Александру Аркадьевну это очень огорчало. Она задумала завещать журнал Ангелу Ивановичу, с тем, чтобы он выплачивал определенный процент прибыли Марии Карловне. Но Ангел Иванович, которому она сказала об этом, категорически отказался, пообещав Александре Аркадьевне по-прежнему работать в журнале, пока его новая владелица пожелает этого. И то мне стоило больших трудов уговорить его не бросать сразу дела. Смерть Александры Аркадьевны была для него тягчайшим ударом, и он, по-прежнему был уверен, что без нее журнал не сможет существовать.

Но журнал к этому времени уже настолько крепко стоял на ногах, что он не только не захирел, но все продолжал расти, и подписка на него с каждым годом увеличивалась.

Наша семья потеряла в лице Александры Аркадьевны самого близкого и дорогого друга.

Правда, в том же 1901 году у нас завязалось новое знакомство, перешедшее впоследствии в тесную дружбу, продолжающуюся у меня и до сего дня, знакомство с Евгением Викторовичем Тарле, тоже сотрудником «Мира Божьего», переехавшим в это время из Киева в Петербург, куда его пригласили читать лекции в университете.

Е. В. Тарле, тогда еще совсем молодой человек, сразу занял выдающееся положение в университете. Его лекции собирали самую большую аудиторию. Слушать его приходили студенты не только всех курсов исторического факультета, но и юристы, естественники, даже математики. Статьи его в «Мире Божьем» пользовались большой популярностью.

В нашу домашнюю жизнь он также внес много нового и содержательного. Даже наши маленькие дети всегда радовались его приходу.

Нашу довольно однообразную, хотя совсем не скучную жизнь всколыхнуло одно неожиданное событие.

Раз вечером к нам пришел секретарь «Русского богатства» Александр Иванович Иванчин-Писарев. Он вообще не бывал у нас, хотя мы были, конечно, с ним знакомы.

– Я главным образом к вам, Татьяна Александровна, – сказал он после первых фраз. – Знаете ли вы, что сестра Авдотьи Семеновны Короленко, Прасковья Семеновна Ивановская, бежала с каторги? Ей нужен приют в Петербурге.

Я кивнула. Я уже несколько дней знала об этом и знала о трагической причине ее побега.

Прасковья Семеновна, видная народница, была уже давно приговорена к вечной каторге и лет 10 тому назад вышла в так называемую вольную команду. Тогда же она вышла замуж за своего товарища по партии и по каторге Волошенко, и через год у нее родилась дочь. Нечего и говорить, что вся ее жизнь сосредоточилась с тех пор на этом ребенке. Девочка подрастала, начинала уже учиться и писала сама своим двоюродным сестрам, дочерям Владимира Галактионовича.

И вдруг бессмысленно жестокая судьба отняла у нее этого ребенка и отняла самым зверским образом, какой только можно придумать. Сидя за чайным столом вместе с матерью, девочка случайно задела ножку раскладного стола, на котором стоял самовар, и кипящий самовар опрокинулся на ребенка, обварив ее с головы до ног. Трое суток длились нечеловеческие мучения, девочка кричала, не умолкая, умоляя мать о помощи, но сделать ничего было нельзя, и только смерть прекратила ее страдания.

Когда она умерла, Прасковья Семеновна убежала из дома, и только через три дня ее нашли полуживую в лесу. Неизвестно, хотела ли она уморить себя голодом или просто бежала от преследовавшего ее ужаса.

Но раз она осталась жива, она была не такой человек, чтобы целиком уйти в свое личное горе. Теперь, когда у нее не стало ребенка, она не считала себя в праве продолжать жить в сибирской глуши, не принося никому пользы. Самой ей жизнь не была больше нужна, но она могла еще пригодиться, – рассуждала она, – тому делу, которому она смолоду отдала всю свою жизнь.

Она решила бежать и взяться снова за нелегальную работу.

Вот по этому поводу и пришел к нам Иванчин-Писарев, хорошо зная, что хотя мы с мужем и не принадлежали к той партии, с которой она работала, в таком исключительном случае мы не станем рассуждать.

И, тем не менее, у меня возникло некоторое сомнение.

– Александр Иванович, – сказала я, – о чем тут говорить. Вы, конечно, знаете, что наша квартира для Прасковьи Семеновны всегда открыта. Но... вы же знаете, что только что пережила Прасковья Семеновна, а вы хотите поселить ее в доме, где трое маленьких детей. Я-то очень рада, если могу оказать ей хоть маленькую услугу. Я ее хорошо знаю по рассказам Владимира Галактионовича и Авдотьи Семеновны, но я боюсь, не будет ли ей слишком тяжело в нашей многодетной семье.

– Не бойтесь, – сказал Александр Иванович. – Вы знаете Прасковью Семеновну по рассказам, а я лично хорошо ее знал. Это человек исключительной силы воли. Если она приняла решение, ничто ее не остановит и ничто не отвлечет. Она и не заметит ваших детей.

– Ну, если так, приводите ее, постараюсь, чтобы ей было возможно лучше у нас.

Через несколько дней Александр Иванович опять пришел к нам. На этот раз с ним была Прасковья Семеновна.

Я была поражена ее сходством с Авдотьей Семеновной. Она была старше Авдотьи Семеновны лет на шесть и, несмотря на то, что ей пришлось пережить, она не казалась старше своего возраста.

Да и отзыв о ней Александра Ивановича оказался не вполне правильным. Она действительно была чрезвычайно сильным и волевым человеком, но никак нельзя сказать, чтобы люди для нее не существовали и она бы не замечала окружающих.

В первые дни ее жизни у нас я старалась держать детей как можно дальше от нее, правда, это было нелегко в нашей маленькой квартирке. Но она сама очень скоро стала подзывать их, ласково с ними разговаривала, играла, и они освоились с ней так, что и отходить от нее не хотели. А у меня щемило сердце, когда я видела ее с ребенком на коленях.

В наших делах и интересах она тоже принимала деятельное участие, подробно расспрашивала Ангела Ивановича про журнал, разделяла его негодование на цензуру, портившую какую-нибудь нужную статью. Словом, вовсе не уходила в себя и не отстранялась от окружающей жизни, вызывая во мне все большее уважение к ней.

Мы были очень огорчены, когда через некоторое время опять пришел Александр Иванович и заявил, что Прасковье Семеновне пора менять квартиру.

До сих пор наша квартира считалась благополучной, мы с мужем не замечали слежки. А теперь у наших ворот появились какие-то подозрительные личности, внимательно осматривавшие входящих во двор.

Как ни грустно было расставаться с Прасковьей Семеновной, мы понимали, что она слишком многим

рискует, и, если наша квартира стала для нее опасна, значит нужно ее покинуть.

В тот же вечер Писарев увел Прасковью Семеновну к кому-то на Николаевскую улицу, оставив мне ее новый адрес.

Нам стало как-то пусто в нашей квартире, и я на другой же день пошла проведать ее, воспользовавшись предлогом, что она никак не изменила своей внешности, даже не сменила платка, который всегда носила на голове. Я понесла ей свой, чтобы перемениться с нею.

Эти дни полнились крупными событиями. 24 января скоропостижно умер Н. К. Михайловский, и в литературном кругу это вызвало большое волнение. Дядя мой был потрясен его смертью. У него сделался сильнейший сердечный приступ, и он слег.

Вероятно, смерть Михайловского произвела бы еще более сильное впечатление, если б в этот же день не разразилась сенсация, потрясшая весь мир.

Япония, не объявляя войны, напала на Порт-Артур и пустила ко дну несколько наших судов, стоявших у причала.

Началась русско-японская война.

Через день хоронили Н. К. Михайловского. Он жил в одном доме с дядей, на Спасской улице. Нести его должны были по Николаевской, где он прожил перед тем долгие годы. Я, конечно, была на похоронах, тем более что дядя лежал больной и тетя не могла его оставить.

Идя за гробом, я посматривала кругом и вдруг в воротах дома, где только вчера была, я увидела знакомую фигуру высокой женщины, одетой по-мещански, с моим платком на голове.

Какое безумие! Похоронную процессию Михайловского сопровождали, конечно, десятки шпионов. Им было поручено установить, кто его провожает и как ведут себя провожающие.

На кладбище они должны были записать все речи, чтобы установить, не будет ли противоправительственных призывов или возгласов. Теперь, когда началась война, это казалось властям особенно важным.

И вот на глазах всех этих шпионов, Прасковья Семеновна, которую искали по всему городу, спокойно стояла на улице, видная каждому, кто бы дал себе труд взглянуть на ворота дома, где она скрывалась.

Я страшно волновалась, пока процессия медленно проходила мимо этого дома. Я старалась не оглядываться, не привлекать внимания к злополучным воротам. Они, казалось мне, должны были интересовать всех. Но искоса я не спускала с них глаз, рискуя наступить на ноги идущих впереди.

Наконец, процессия миновала дом, и никто не отделился от нее и не подошел к кучке женщин у ворот и не пригласил за собой одну из них.

Возможно, чрезмерная открытость поведения Прасковьи Семеновны и спасла ее. В голову не могло придти, что вот так среди бела дня она будет стоять на людной улице на виду у всех.

Я потом попеняла ей за ее неосторожность, но она спокойно ответила мне:

– Не могла же я не проводить Николая Константиновича.

И сказала она это так твердо, что я замолчала.

В связи с этим мне вспомнился один курьез. Ангела Ивановича как раз в это время одолевал один студент, мнивший себя математическим гением.

На другой день после похорон Михайловского он зашел к нам днем, когда Ангел Иванович был в редакции. Я спросила его, не может ли он сказать, какое у него дело к Ангелу Ивановичу. Он с готовностью начал объяснять. По его мнению, он сделал величайшее открытие в математике и дал заметку об этом в издание Академии наук. Но ближайшая книжка Известий

Академии выйдет только через месяц, а мир не может ждать еще месяц обнародования этого открытия. Между тем, он знает, что «Мир Божий» выходит аккуратно 1-го числа. Сегодня 28-е, значит, через 3 дня журнал выйдет, и его открытие, напечатанное в нем, увидит свет.

– Вы, очевидно, не представляете себе условий печатания журнала, – сказала я. – Раз журнал выходит 1-го, 28-го он уже совсем готов и брошюруется.

– Ну, это открытие настолько важно, что ради него можно задержать журнал на один-два дня.

– Что вы, – возразила я. – Сейчас произошли важные события и в литературном мире и еще более важные в стране. Но журнал уже был готов, и отклик на них отложен до следующей книжки.

– Нет, это вы, видимо, не отдаете себе отчета, насколько важно мое открытие.

– Могу вам только повторить, – сказала я, чувствуя, что начинаю раздражаться. – Это невозможно. Впрочем, если хотите, можете дождаться мужа.

Он остался.

Но когда пришел Ангел Иванович, разговор оказался очень коротким. Через 3 минуты студент уже надевал в прихожей пальто.

– Зачем ты натравила на меня этого помешанного? – спросил меня Ангел Иванович.

Я засмеялась и рассказала ему свой разговор с сумасшедшим студентом.

Остается добавить, что мировое открытие так и осталось неизвестным миру.

АРЕСТ ДЯДИ. ССЫЛКА В РЕВЕЛЬ. ВЫСТРЕЛ САЗОНОВА. 9-Е ЯНВАРЯ

Похороны Н. К. Михайловского прошли очень мирно. Хотя на кладбище собралось довольно много молодежи, никаких попыток устроить какую-либо ма-

нифестацию, к огорчению полиции, не было. Присутствующие спокойно выслушали несколько почти академических речей, а затем мирно разошлись. Не было ни малейшего предлога кого-нибудь арестовать. Можно было думать, что этим все и закончится. Но, очевидно, власти считали, что для литературного вождя и кумира молодежи такие мирные похороны будут обидны. Администрация немного отстала от века и не заметила, что кумиром молодежи Михайловский давно престал быть, а если и остался литературным вождем, то лишь небольшой группы своих сторонников.

Как бы то ни было, власти все же решили почтить его, хотя бы и скромно.

Через несколько дней после похорон мой дядя был арестован и, как это ни странно, за произнесение зажигательной речи над гробом Михайловского. Как ни много шпионов было на кладбище, но они, видимо, плохо разобрались в порученных их надзору неблагонадежных лицах.

Анненский в день похорон лежал больной в своей постели. На могиле Михайловского произнес речь В. И. Семевский, имевший с дядей только то сходство, что оба они, пожилые люди, имели седеющую бородку.

Засвидетельствовать, что Анненского не было на кладбище могли бы сотни людей, но это признали излишним.

Дядя, впрочем, не протестовал и, по своему обыкновению все обращать в шутку, говорил, что он арестован за «непроизнесение речи на могиле Михайловского», и это было вполне справедливо.

Самый арест или, лучше сказать, заключение, носило совершенно необычный характер. Его не поместили ни в одну из петербургских тюрем. Его отвезли прямо в жандармское управление, которое, по иронии судьбы, находилось на Мойке, д. 12, в квартире, где жил и умер Пушкин. Там Анненского подвергли допросу и

там же его и оставили, отведя ему один из обширных жандармских кабинетов с громадными окнами на Мойку. В нем раньше была зала или гостиная Пушкиных.

Для услуг к нему прикомандировали жандарма, подававшего ему чай, завтрак и обед из бывшей гостиницы Демута, где когда-то жил и писал «Полтаву» Пушкин.

Родных и близких знакомых, сотрудников «Русского богатства», пускали к Анненскому беспрепятственно. Остальные, кто хотел, могли заглядывать к нему в окна с набережной Мойки.

В. Г. Короленко говорил, что дядю содержат не как политического заключенного, а как крупного военнопленного из командного состава.

Не могу припомнить, сколько именно времени прожил там дядя, занимаясь журнальными делами, читая корректуры статей, которые жандарм беспрекословно относил в редакцию «Русского богатства», обсуждая с товарищами состав ближайшей книжки журнала.

Наконец, ему был объявлен приговор, – он направлялся в ссылку в Ревель (Таллинн), опять-таки, по-видимому, «за непроизнесение речи над могилой Михайловского».

Оказалось, делом Анненского занимался сам всесильный тогда министр внутренних дел Плеве.

Он объяснил, почему он назначил местом ссылки Анненского именно Ревель, куда до тех пор никого не высылали. Он заявил, что вовсе не хотел лишать Анненского культурной обстановки и возможности продолжать литературную работу. Он желал только лишить его возможности оказывать вредное влияние на молодежь.

Ревель вполне культурный город с прекрасной библиотекой и всего в нескольких часах езды от Петербурга. Но русской молодежи там мало.

Рассуждению этому нельзя отказать в оригинальности и логичности.

Вскоре дядя отправился в сопровождении жандарма в Ревель, а за ним, ликвидировав его дела и сдав квартиру, поехала, конечно, и тетя.

Там они наняли прекрасную квартиру за городом на берегу моря против Екатерининского парка, с тем, чтобы на лето я с детьми могла поселиться с ними.

В предыдущем году мы с Ангелом Ивановичем ездили за границу на 2 месяца в санаторию доктора Бегела, специалиста по желудочным болезням, так как у мужа была тяжелая болезнь, определить которую петербургские доктора были не в состоянии. Мы были там единственными иностранцами. Кроме нас там лечились только немцы и, в том числе, одна ревельская немка. Она усиленно приглашала меня к себе в гости в Ревель. Но я ей отвечала, что у меня нет никакой возможности очутиться в Ревеле. Летом мы живем поблизости от Петербурга, так как моему мужу нужно каждый день бывать в редакции, и, вообще, Ревель для нас как бы иностранный город с чужим для нас укладом жизни, не связанный никакими интересами с Петербургом.

И вот на следующее же лето невозможное оказалось возможным и, по воле начальства, мы очутились в Ревеле.

Адреса знакомой немки у меня не было, да я и не особенно стремилась увидеться с ней. Но как-то на улице я с ней случайно встретилась к ее большому удивлению. Мне пришлось объяснить ей, как это случилось, и она после того не слишком настаивала, чтоб я навестила ее.

Ревель нам всем очень понравился. Рядом Екатерининский парк, перед самыми окнами – море. Настроение портили только постоянные напоминания о войне, развивавшейся так несчастливо для нас на Востоке.

В Ревельском порту подготовлялась к отправке в Японское моря эскадра Рожественского. Каждое утро происходили упражнения в артиллерийской стрельбе

из корабельных пушек по мишеням, укрепленным на противоположном от нас берегу залива.

Нельзя сказать, чтобы наши артиллеристы проявляли большое искусство. Мы часто следили из наших окон за их стрельбой. Попадания получались чрезвычайно редко. Постоянно – то недолеты, то перелеты. Снаряды или падали в воду, поднимая тучи брызг, или взрывали фонтаны песку на берегу далеко позади мишеней. А ведь это были неподвижные мишени, а не плывущие неприятельские суда.

Когда моя старшая дочь, которой было тогда 5 лет, услышала впервые разрывы снарядов, она сказала:

– Мама, как долго тут дворники выколачивают ковры.

Истинно городскому ребенку, ей не пришло в голову сравнение с какими-нибудь явлениями природы, а с теми звуками, которые были ей знакомы, когда она проходила по двору или высовывалась из окна 5 этажа.

Младшая из моих дочерей, – ей исполнилось 1,5 года, – отличалась чрезвычайной миниатюрностью и в то же время серьезностью. Меня забавляло складывать ее пополам, класть в веревочную сумку и носить на руке, чему она не противилась и только смотрела кругом своими большими глазами.

Когда я отпускала детей гулять в парк с няней, няня обычно держала за руку вторую дочь, как наиболее буйную, а старшая вела малышку.

Раз она пошла с ней по средней аллее, тогда как няня с сестрой шли по боковой.

Вдруг малютка остановилась и строго сказала сестре:

– Сумасшедшая, куда ведешь ребенка, где лошади ездиют?

Эта фраза сохранилась навсегда в наших семейных анналах.

И теперь, когда я слушаю рассуждения ее дочери, приблизительно того же возраста, мне кажется, что я слышу знаменитое изречение ее матери, как будто та самая крошка вновь ожила передо мной.

Мне жалко было раньше осени увозить детей из Ревеля, где им было так хорошо, но муж мой не мог надолго оставить редакцию, а он был настолько больной человек, что предоставлять ему жить одному в нашей городской квартире жарким летом, я тоже считала невозможным.

Мы уехали в начале июня, оставив детей у бабушки с дедушкой. Нам показалось пусто и непривычно тихо в нашей маленькой квартирке. Но скоро эта тишина нарушилась таким взрывом, эхо которого прокатилось по всей стране.

Как-то утром я спустилась в табачную лавку за папиросами для Ангела Ивановича и услышала, как один покупатель говорил другому:

– Опять министра прикончили. Берегут, берегут, а никак не уберегут.

– Какого министра? – спросила я.

Но говоривший замолчал и отвернулся от меня.

Я поднялась к себе и рассказала Ангелу Ивановичу о только что слышанном.

Оставаться дома я была не в состоянии. Обещав вернуться, как только что-нибудь узнаю, я опять вышла, взяла извозчика и приказала ему ехать на Загородный. Мне показалось, что большинство пешеходов идут как раз по этому направлению.

Когда я пересекла Владимирскую площадь, навстречу мне попался Николай Дмитриевич Соколов. Я махнула ему рукой, он остановил извозчика и подошел ко мне. Я в двух словах пересказала ему, что слышала.

Он предложил мне пересесть на его извозчика, так как у него лошадь была много лучше, и мы поехали к Забалканскому проспекту, куда явно шли и ехали люди.

Когда мы выехали на Забалканский, на этой не слишком людной улице оказались толпы народа.

Тут уже все знали, что произошло и, не стесняясь, говорили об этом. Часа два тому назад министр внутренних дел Плеве ехал в карете к Варшавскому вокзалу. У него был в этот день очередной доклад царю, и он спешил к поезду. За два дома от моста из гостиницы вышел человек, направился наперерез проезжавшей карете и бросил в нее бомбу.

Этот был террорист Сазонов.

Карета была разбита, и Плеве убит.

К тому времени, как мы подъехали, это место уже было оцеплено, остатки разбитой кареты убрали и лошадей увели.

Удивительное зрелище представлял собою Забалканский и выходивший на него переулок. Проходить мимо оцепленного места городовые не разрешали, поэтому все сворачивали в переулок, по которому можно было выйти опять на Забалканский, ближе к вокзалу.

И вот на этом коротком пространстве образовалось настоящее праздничное гулянье. Всем хотелось непременно взглянуть хоть издали на место происшествия.

Мы постояли некоторое время на углу переулка и Забалканского, с любопытством наблюдая толпу.

Ни одного огорченного или хотя бы смущенного или испуганного лица. Люди шли, весело переговариваясь, выражая сожаление, что не удалось быть свидетелями происшествия. Точно тут только что разыгралась какая-то интересная сцена, никого не задевшая и даже как будто доставившая большинству нескрываемое удовольствие.

Разговоры слышались такие, что в другое время полиция за них вполне могла бы задержать виновных.

Но ни городовые, ни старшие полицейские чины и не пытались никого задерживать. Ясно было, что тог-

да пришлось бы переарестовать добрую половину публики. Они ограничивались тем, что предлагали не задерживаться и проходить, очищая место для других любопытных.

Мне никогда не приходилось видеть так явно выраженное отношение общественного мнения к представителю власти.

Это был безошибочный симптом назревающего революционного настроения масс, проявившегося спустя несколько месяцев вполне открыто.

В этот же день мы послали телеграмму дяде, чтобы он готовился к переезду осенью в Петербург. Не оставалось сомнения – приказы Плеве будут аннулированы. Правительству придется изменить курс внутренней политики.

Так оно и случилось. Министром внутренних дел назначили Святополк-Мирского, имевшего репутацию либерального чиновника. Началась так называемая «эра сердечного доверия», хотя это «доверие» решительно никого не обманывало и не порождало ответного доверия со стороны населения.

Помню передававшийся рассказ об одном суде над участниками противоправительственной демонстрации (кажется в Саратове). В числе других свидетелей давал свои показания городовой. Когда судья спросил его, какие крики и возгласы он слышал перед началом демонстрации, он, видимо, смутился и ответил неопределенно:

– Да кричали больше известную народную поговорку.

– Какую поговорку? – с некоторым удивлением переспросил судья.

– Да, знаете, – еще более смущенно пробормотал городовой. – «Долой самодержавие!»

По зале прокатился сдержанный смех, и судья пригрозил «очистить зал от публики», боясь, как бы она не подхватила «известную народную поговорку».

По всей стране вспыхивали рабочие волнения. Правительство прилагало огромные усилия, стремясь забрать в свои руки рабочее движение, затрагивая чувствительные струны.

В Петербурге священник Гапон, пользовавшийся громадной популярностью в рабочей среде, убеждал рабочих, что вина за их угнетенное и бесправное положение лежит на царских министрах, обманывающих царя. Если бы только царь узнал о бедственном положении рабочих, он сейчас же приказал бы помочь им.

Тогда еще не было известно, что Гапон был агентом правительства.

Гапон стал готовить петицию царю от всех петербургских рабочих. Посредством своих помощников из рабочих, он организовал в разных районах города рабочие собрания, носившие названия отделов. В них собирались рабочие, обсуждали свои нужды, вырабатывали обращения к царю, выбирали своих уполномоченных.

Об этих собраниях скоро узнали все в Петербурге и удивлялись, что полиция не чинит никаких препятствий. Даже самые осторожные из рабочих стали захаживать на собрания и прислушиваться к раздававшимся там речам.

Гапон появлялся то здесь, то там, производя громадное впечатление своей священнической одеждой и длинными волосами.

Наконец, был окончательно выработан план действий.

9-го января рабочие из всех отделов под предводительством помощников Гапона должны были собраться на площади Зимнего дворца. Гапон шел с рабочими Нарвского района, с царским портретом и церковными хоругвями. Собравшись у Зимнего дворца, рабочие намеревались умолять царя выйти к ним и принять от них петицию.

Все это было широко известно в Петербурге. По городу поползли тревожные слухи. Говорили, что власти решили ни в коем случае не допускать рабочих до Зимнего дворца и, если понадобиться, пустить в ход оружие.

Поначалу никто не хотел верить этому. Ведь рабочие несли царские портреты и церковные хоругви. Неужели кто-нибудь осмелится стрелять в такие уважаемые символы самодержавия и православия? Отговорить рабочих не было никакой возможности. Они бы никогда не поверили, что в них будут стрелять, когда они идут к царю.

Оставалось одно – повлиять на кого-нибудь из власть имущих.

Накануне назначенного дня в редакции «Сын отечества» было большое собрание литераторов и других представителей петербургской интеллигенции. Три большие редакционные комнаты были переполнены до того, что сидеть было невозможно. Многие стояли на окнах, на столах, даже на шкафах для бумаг.

Начались жаркие споры. Но время не терпело и довольно скоро все согласились, что единственный шанс оградить рабочих от расстрела – выбрать делегацию и послать ее немедленно к Витте и Дурново, сменившему Святополк-Мирского.

В делегацию были выбраны Горький, Арсеньев, Кареев, Анненский, Семевский, Пешехонов, рабочий Кузнецов и еще трое, имена которых ускользнули из моей памяти.

Дурново вообще отказался с ними говорить, а Витте, хотя и принял делегацию, но ничего ей не обещал.

Трудно себе представить, какое жгучее волнение испытывали мы все, предвидя те ужасы, которые должны были разразиться на другой день, и ощущая свое полное бессилие чем-нибудь помешать этому.

Знать, что с раннего утра сотни тысяч рабочих, безоружных, пойдут по улицам Петербурга, и что их неминуемо ждут пули – это было поистине ужасно.

Все участники вчерашнего собрания в «Сыне отечества» решили собраться утром в зале Тенишевского училища, не для того, чтоб предпринять что-нибудь, – это явно было поздно и безнадежно, – а хотя бы для того, чтобы быть в курсе происходящего. Следующим местом сборища была выбрана Публичная библиотека.

Ангел Иванович был серьезно болен и страшно боялся отпускать меня в такое тревожное время. Но я заявила, что пойду, во что бы то ни стало, несмотря ни на какие запреты.

Тогда Ангел Иванович попросил Евгения Викторовича Тарле, еще накануне провожавшего меня в редакцию «Сына отечества», взять на себя и сегодня сопровождение меня в Тенишевское училище и в Публичную библиотеку. Тарле согласился.

Я в то время продолжала работать в «Красном кресте». И тут мне пришло в голову, что раз я, как и другие, не могу ничем предупредить надвигавшиеся события, то, по крайней мере, зная, что предстоит, я могу подготовиться к залечиванию тех ран, какие будут нанесены сегодня. Я должна собрать средства для помощи осиротевшим семьям убитых рабочих.

Это было все-таки, хоть и ничтожным, но облегчением: не сидеть, сложа руки в ожидании страшных известий, а как-то подготовиться к дальнейшему.

Е. В. Тарле был вполне согласен со мной, и мы с ним повели деятельные сборы среди сочувствующих в Публичной библиотеке.

К нашему удивлению сочувствующими оказались почти все посетители Публичной библиотеки.

К середине дня из разных районов города стали приходить страшные вести.

У Нарвской заставы, у мостов Васильевского острова и с Петербургской стороны процессии рабочих с царскими портретами и с хоругвями, доверчиво шедшие к царю, встречались ружейными залпами.

Особенно жестокое кровопролитие было у Адмиралтейского сада около Зимнего дворца. Несмотря на все препятствия, некоторая часть рабочих добралась до места назначения и стала ждать остальных у решетки Адмиралтейского сада. Многие рабочие шли целыми семьям, и ребятишки, дойдя до сада, карабкались на решетку, влезали на деревья, чтоб хорошенько увидеть, как царь выйдет на балкон и будет говорить с рабочими.

Но царя не было не только в Зимнем, но и вообще в Петербурге. Он прятался в Царском от своих верноподданных, шедших к нему со своими жалобами и просьбами. А в это время полиция и солдаты расстреливали женщин и детей у решетки Адмиралтейского сада.

Когда весть об этом принесли в Публичную библиотеку, дядя мой, потрясенный чуть ли не до сердечного припадка, вошел в читальный зал и, еле сдерживая рыдания, рассказал присутствующим, что сейчас происходит на улицах Петербурга.

Служащие библиотеки, в другое время строго пресекавшие всякое громко сказанное слово, теперь не решились прервать горячую взволнованную речь Анненского. В ответ раздались возмущенные возгласы и даже рыдания.

Я написала крупными буквами плакат, призывающий жертвовать на осиротевшие сегодня семьи рабочих, и укрепила этот плакат над столиком, где я сидела в комнате перед входом в читальный зал.

За несколько часов мы собрали более двух с половиной тысяч, очень солидная сумма по тем временам. Вслед за тем, ко мне на дом, узнав о моих сборах, стали приносить разную одежду для детей рабочих.

Красный крест расширил круг своей деятельности, справедливо рассуждая, что рабочие, пытавшиеся доступными для них средствами восстать против злоупотреблений правительственных властей, так же становились политическими борцами, хотя и не вполне сознательными.

В Красном кресте закипела горячая работа, требовавшая притока новых сил и новых приемов деятельности. Желающих работать оказалось больше, чем нужно. Каждый день на нашу квартиру приходили люди, приносившие вещевые приношения и предлагавшие свои услуги при распределении помощи. Но принимали новых работников с большим выбором. Мы боялись скомпрометировать нашу старинную организацию, пользовавшуюся заслуженным доверием.

И все-таки, несмотря на всю нашу осторожность, к нам удалось втереться шпионке.

По счастью, мы не допустили ее в наши центральные органы, хотя она проявляла чрезвычайную энергию в сборе пожертвований и помогала нам в распределении их, хорошо зная рабочую среду и неотложные нужды отдельных семей.

Первое время я была в восторге от такой полезной помощницы, но постепенно до меня стали доходить подозрительные слухи. Я стала внимательнее присматриваться к Акулине Марковне и расспрашивать о ней серьезных уважаемых рабочих, и очень скоро выяснилось, что среди рабочих она не пользуется никаким доверием.

Ограничивая круг ее деятельности, мы, в конце концов, окончательно устранили ее, раньше, чем она успела принести вред и рабочим, и нашей организации.

Мы слишком привыкли к работе в своей тесной среде, зная вдоль и поперек всех наших членов. Акулина Марковна преподнесла нам серьезный урок.

Нужно было выработать иные приемы, исключающие попадание в наши ряды ловких аферистов или подозрительных в политическом отношении лиц.

Со временем мы начали более уверенно действовать в новой среде, усвоив накопившийся опыт. Должна сказать, что во многом рабочие облегчили нашу задачу, с полным доверием относясь к нашей работе, видя, что она помогает им пережить тяжелое время. Женщины, в общем, более недоверчивые и подозрительные, чем мужчины, на этот раз встречали нас очень приветливо, ведь мы доставляли самое необходимое их детям.

Пока мы работали в своей узкой сфере, революционная волна поднималась все выше и разливалась широко по всей России. Я не собираюсь говорить о таких крупнейших событиях, о которых я знала только по рассказам, о восстании на Потемкине, и героической эпопее лейтенанта Шмидта. Я была свидетельницей только событий, развивавшихся в Петербурге.

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. ЖЕРТВЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ РЕПРЕССИЙ. ПЕРВАЯ ДУМА

Весна и лето 1905-го года в Петербурге прошли относительно спокойно, и я даже с удивлением и тайным огорчением думала, – неужели Петербург исчерпал себя 9-го января и никак не отзовется на события, потрясающие страну. Но, по-видимому, даже правительство не разделяло моих опасений, только оно воображало, что разыгравшуюся революционную стихию можно укротить, вылив на нее ведро маслица.

Таким ведерком масла был обнародованный царским правительством указ о так называемой «Булыгин-

ской думе», не удовлетворившей никого, даже самых умеренных.

Скорее наоборот, это было масло, попавшее в разгоревшийся революционный пожар.

С этого момента, т. е. с конца лета 1905 года, зашевелился и Петербург. Везде происходили собрания, и на них обсуждалось, как реагировать на обглоданную кость, брошенную правительством в виде жалкой пародии на народное представительство.

Эти собрания положили начало союзам, стихийно возникавшим повсюду, – рабочие союзы, ремесленные, союзы служащих. Через какой-нибудь месяц весь Петербург покрылся сетью союзов – союз булочников, союз почтово-телеграфных служащих, союз швейников, союз медицинских работников, союз печатников, союз банковских служащих, союз домашней прислуги, союз учеников средних школ, союз учащихся в высших учебных заведениях, союз каменщиков, союз учителей, союз служащих нотариальных контор, союз прачек, союз часовщиков, союз писателей и даже союз чиновников, служащих в правительственных учреждениях и, конечно, союзы рабочих каждой фабрики и завода. Не было человека, не входившего в тот или другой союз. Все эти союзы вырабатывали свои уставы, выбирали свое правление и устраивали периодические собрания своих членов.

Вскоре, естественно, возникла мысль объединить все эти союзы и образовать Союз союзов, с центральным правлением, связанным с правлениями всех отдельных союзов.

В центральное правление Союза союзов входил мой дядя Анненский, и поэтому мы всегда были в курсе всего, что делалось.

Правление Союза союзов заседало ежедневно на квартире у дяди, и ежедневно же оно устраивало собрания представителей всех союзов, чтобы вся масса чле-

нов союзов всегда знала, что обсуждается их представителями, и какие принимаются решения.

Эта колоссальная организация, возникшая стихийно, обладала с одной стороны большой гибкостью, с другой – громадной силой. Принятое правлением Союза союзов постановление, если оно одобрялось общим собранием представителей всех союзов, становилось обязательным для всех членов всех союзов, иначе говоря, для всего населения Петербурга.

Центральное правление Союза союзов учитывало громадную власть, оказавшуюся в его руках и пользовалось ею с большой осторожностью, чтобы не истощить ее к тому времени, когда она понадобится для какой-нибудь крупной цели. После серьезных обсуждений все члены Правления пришли к единому выводу, что правительство не пойдет на сколько-нибудь серьезные уступки, иначе, как под давлением силы, с которой оно не в состоянии справиться. Такая сила была теперь в руках союзов.

Они могли в один момент парализовать всю жизнь в стране. И это решение было принято. Правление Союза союзов объявило всеобщую забастовку.

Теперь трудно себе вообразить, какое ошеломляющее впечатление произвело на всех, когда весь громадный город сразу замер. Закрылись все магазины, конторы, учреждения, погас свет, не вышли газеты, почтальоны не разносили писем. Каждый чувствовал, что назревает что-то крупное, решающее, что должно изменить всю жизнь.

Сердце этой жизни билось не там где-то, в неведомых «правительственных сферах», а здесь, близко, в доступном всем помещении вольного экономического общества, где каждый вечер собираются представители правлений всех союзов, правлений, выбранных самим населением. И от этих, выбранных им правлений, зависит дальнейшее течение всей жизни. Это и

радовало, и смущало, и даже как-то пугало с непривычки.

Правительство тоже было смущено и испугано. Оно не ожидало ничего подобного. У него не было средств вдохнуть жизнь в замерший государственный организм. Оно знало, чего ждет от него страна, но оно ни за что не хотело пойти навстречу этому безмолвному, но могущественному требованию.

Надо было жить в то время в Петербурге, чтобы ощутить страшное напряжение, каким был наполнен самый воздух. Каждый чувствовал, что долго так продолжаться не может.

Я хорошо помню эти волнующие дни. С утра я бежала к дяде узнать, не произошло ли чего-нибудь нового за ночь. Нет, нового ничего, ни хорошего, ни плохого. Ни один союз не отступил от принятого правлением Союза союзов решения, но держаться становилось все труднее, а между тем правительство не сдается. Неужели это страшное напряжение сил не даст ничего существенного, и все останется по-старому.

Наступило 17-е октября. Утром ничего не было известно. Вечером я, по обыкновению, пошла в Вольно-экономическое общество. Большой зал и хоры были переполнены. Все были в каком-то особенно напряженном состоянии. Как будто наступающие события электризовали самый воздух.

Секретарь начал чтение протокола вчерашнего собрания.

Вдруг, расталкивая столпившихся у входа членов, в зал ворвался член правления Союза союзов Н. П. Ашешов, потрясая над головой большим белым листом.

– Внимание! – закричал он. – Слушайте все! Манифест! Текст конституции.

С этими словами он взбежал на ступени кафедры и, расправив перед собой еще сырой лист корректуры, начал читать звучным голосом:

«Мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский и пр., и пр., и пр. объявляем всем верным нашим подданным...»

Дальше шел текст новой российской конституции. Объявлялось о созыве в начале 1906-го года Государственной Думы, избираемой всеобщим равным и тайным голосованием, и обещано было немедленно ввести свободу совести, слова, печати и союзов.

Впечатление от манифеста среди собравшихся было колоссальное. Все в восторге поздравляли друг друга, обнимались, некоторые плакали от умиления.

У меня было как-то смутно на душе. Несомненно, произошло нечто важное, но беззаветной радости я както не испытывала. Во всяком случае, надо было сейчас же известить Ангела Ивановича. Он по болезни не бывал на собраниях Союза союзов.

Я пробралась в переднюю, поспешно надела пальто и вышла. У подъезда стояло несколько извозчиков. Я наняла одного и попросила ехать поскорее.

– Прямо-то нельзя, – сказал он, трогая лошадь. – По Загородному не пускают.

– Почему не пускают?

– Да там, в Технологическом (на углу Загородного и Забалканского) сказывают, студенты собрались. Не впускают полицию, а их с улицы обстреливают. Слышите?

Действительно, с угла Забайкальского слышались звуки выстрелов.

Я остановила извозчика, расплатилась с ним, к его удивлению и удовольствию, и бегом побежала обратно в подъезд Вольно-экономического общества. Там заседание еще не возобновилось, члены продолжали обмениваться восторженными впечатлениями. Тут же в передней мне встретились дядя и Н. П. Ашешов.

– Мы здесь поздравляем друг друга, – сказала я, – с конституцией, а в Технологическом расстреливают студентов.

– Что такое? – вскрикнул дядя.

Я рассказала им то, что только что слышала.

Они сейчас же собрали летучее собрание присутствующих членов правления Союза союзов и решили немедленно выбрать делегацию к Витте и сообщить ему, что происходит.

Небольшая делегация из трех человек сразу была выбрана.

Они попытались переговорить с Витте по телефону. Из этого ничего не вышло, и они, не теряя времени, поехали на дом к Витте, на Каменноостровский. Витте их немедленно принял, выслушал и заверил, что это результат явного недоразумения и недомыслия какого-то полицейского чина, и это будет немедленно прекращено. Действительно, к тому времени, как они вернулись, на углу Загородного и Забайкальского все было тихо, и осада с Технологического института была снята.

Я между тем успела побывать дома и рассказать Ангелу Ивановичу о событиях. Хотя он, как и все последнее время, чувствовал себя плохо, решил-таки поехать вместе со мной в редакцию газеты «Наша жизнь», куда всегда притекают самые последние новости. В редакции мы пробыли часов до четырех ночи, с интересом слушая рассказы очевидцев, бегавших по городу и собиравших всякие слухи и впечатления.

Когда мы возвращались в пятом часу домой, город был иллюминован, мальчишки зажигали плошки и кричали:

– Ура, конституция!

На углах уже расклеили манифест и, несмотря на глубокую ночь, повсюду собирались оживленные радостные кучки.

Должна сознаться в своей наивной не по возрасту глупости.

Раздеваясь, чтоб хоть немного поспать, я думала про себя:

«А все-таки как-то грустно думать, что период революционной борьбы уже окончательно миновал, и мы вступили в пору мирных парламентских сражений».

Правда, поделиться этими мыслями с Ангелом Ивановичем я почему-то не решилась.

На другой день к утреннему чаю пришли два члена редакции «Мира Божьего», чтобы обсудить необходимые изменения в составе ближайшей книжки.

Кстати, мне вспоминается крайнее возмущение по этому поводу матери Ангела Ивановича. Он очень любил свою мать, и ему хотелось, чтобы она поселилась у нас, когда ее старшая дочь, с которой она до тех пор жила, переехала из Перми, где служил ее муж, в Петербург.

Но этот опыт оказался не из удачных. Хотя я всячески старалась применяться ко вкусам и привычкам старушки, и никогда не перечила ей, ее тем не менее постоянно возмущал уклад нашей жизни. Она прожила очень трудную и скудную жизнь и, несмотря на крайнюю скромность нашего быта, многое в нем задевало ее. Когда она видела масло и сыр, подаваемые к чаю, она с укором говорила мне:

– Очень уж вы роскошествуете, Таня. Ангел мужчина, он этого не понимает, а ты не должна забывать, что у тебя растут три невесты.

И если я с улыбкой замечала ей, что на наших доходах им не скопить приданого, а так они, по крайней мере, растут сытые и довольные, она обижалась и, хоть не спорила, но я видела, затаивала обиду.

18-го октября она совсем не вышла к чаю и, когда я пришла ее звать, она с возмущением сказала:

– Ну, знаешь, Таня, если у вас к утреннему чаю будут приходить гости, я уж и не знаю, что это будет!

Я попыталась объяснить ей, что это не гости, а сотрудники журнала, и они пришли не чай пить, а работать.

– Для всякой работы есть свое время, – упрямо возразила она и категорически отказалась идти к столу.

Я принесла ей завтрак в ее спальню, а сама вернулась к «гостям».

Один из них, Кранихфельд, сказал мне:

– А знаете, «народ» уже собирается демонстрировать свои вновь завоеванные права. На Казанской площади огромная толпа с красными плакатами, с лозунгами.

Меня это очень заинтересовало.

– Ну, вы совещайтесь и пейте чай, а я поеду туда. Я не могу пропустить первую демонстрацию свободного народа.

Я быстро оделась и пошла к воротам нашего дома, выходившим на Фонтанку. Но мне так же не повезло, как накануне.

Наняв извозчика к Казанскому собору, я заметила у него на сидении следы крови.

– Что это такое? – спросила я

– Да это я только что привез в ваш дом (у нас помещалась лечебница врачей-специалистов) одного раненого.

– Раненого? – удивилась я. – Откуда?

– Да с Загородного, недалеко от Забайкальского.

– Кто же его ранил? В драке что ли?

– Какое, в драке. Шли они, сказывали, по панели, вовсе в своем виде, а тут на них офицер какой-то налетел да прямо по голове как трахнет саблей. Так череп и рассек весь как есть.

– А кто же этот раненый-то? – спросила я, чувствуя, что слабею.

– Да, сказывали, профессор какой-то, Тарлин будто, говорили.

У меня потемнело в глазах и, шатаясь, как пьяная, я побрела домой через наш большой двор.

Дома меня ждала сестра Тарле, Мария Викторовна, пришедшая из лечебницы. Она мне рассказала, что

утром ее брат вышел с женой на Загородный почитать манифест. Там в это время «наводил порядок» взвод кавалерии под командой, как потом было установлено, корнета Фролова. Лихой атакой он во главе своего взвода храбро помчался на проходящих по тротуару и, занеся руку с саблей, рассек череп подвернувшемуся ему «врагу» – профессору Тарле. Победа была одержана, и пыл его немного остыл.

При помощи публики лежавшего без сознания Тарле взвалили на извозчика, и жена повезла его в ближайшую хирургическую лечебницу при Обществе врачей-специалистов.

Мы с Марией Викторовной сейчас же пошли в лечебницу. В палату нас не пустили. Только в щель я увидела сплошь забинтованную марлей голову.

Профессор-хирург отказывался высказаться о возможном исходе ранения. Череп был рассечен до самой оболочки мозга, но мозг не был затронут. Правда, самый удар и сотрясение могут вызвать воспаление мозга, и тогда исход более чем сомнителен. Но, может быть, этого и не произойдет, и кость срастется без осложнений. Все это должно выясниться в течение ближайших четырех-пяти дней, до тех пор положение остается крайне опасным, и малейший пустяк может повести к гибели. Да и после того некоторое время потребуется величайшая осторожность.

Не трудно себе представить, в каком состоянии мы, его близкие, провели эти дни.

А в это время в городе назревали новые тревожные события.

Хотя революционная волна еще не достигла своего апогея, но навстречу ей уже поднимала голову дикая реакция. При этом она, как это часто тогда случалось, грозила принять форму еврейского погрома. Расовые признаки играли здесь второстепенную роль. Всякий человек, возмутивший мракобесов своим рево-

люционным настроением, подозревался в «еврействе». Тарле, возбудивший ненависть черносотенцев своими лекциями в университете, без колебаний был признан «евреем», а корнет Фролов национальным героем. Оставалось только докончить его славное дело, тем более что это не представляло никакой опасности. Лечебница не располагала, конечно, никакими средствами вооруженной защиты. Там царила большая тревога. Всякое потрясение для Тарле грозило ему гибелью.

Что было делать?

Правда, в городе, при Союзе союзов, уже образовалась дружина добровольной охраны, и им удалось вооружиться. Но больничное начальство не разрешало размещать в лечебнице вооруженных людей, опасаясь тяжелого впечатления на больных.

Тогда мы решили в ночь предполагаемого погрома разместить дружинников в нашей квартире.

Наша няня, настроенная довольно антиреволюционно, и не поддававшаяся пропаганде, была в полном смятении. Тем более что на нашей лестнице все квартиры, кроме нашей, стояли пустые. Оказалось, что их занимали, вероятно, вследствие близости Гостиного двора и Апраксина рынка, исключительно еврейские семьи, и они на это тревожное время предпочли выехать за город.

С вечера наша квартира, исключая детскую, наполнилась вооруженными людьми, готовыми в любую минуту встать на охрану обоих входов в лечебницу.

Но... страхи оказались преувеличенными, или, вероятно, свыше было дано знать, чтобы «охранители» не слишком усердствовали, особенно в столице.

В провинции, в это время широко разлилась волна погромов и не только еврейских, но и направленных вообще против интеллигенции.

Выборы в Первую государственную думу шли под дикий вой и вопли черносотенцев. Несмотря на это, про-

тивоправительственные настроения были настолько сильны, что состав депутатов в Думу оказался наиболее прогрессивным из всех наших четырех Государственных дум. В Петербурге царило большое возбуждение, когда туда стали съезжаться выбранные депутаты.

Наибольшее внимание привлекали крестьяне, которых было довольно много. На них возлагали надежды, как левые, так и правые. И те, и другие мечтали повести их за собой. Правые даже общежитие для них устроили и там старательно натравливали их на интеллигенцию и евреев, пытаясь завлечь всех в черную сотню.

Но и эсеры, и трудовики вели среди крестьян усиленную агитацию. В Вольно-экономическом обществе каждый вечер устраивались собрания, где лучшие ораторы из трудовиков старались разъяснить крестьянам причины их бедственного положения, показать им, кто их истинные друзья и кто извечные враги.

Помню эти собрания, эти речи и фигуры крестьян, растерянных, слабо разбиравшихся в происходящем и больше всего беспокоящихся о том, как бы им не пришлось отвечать, за казавшиеся им опасными, речи. Они еще никогда не были в подобном положении и думали, что все хотят погубить их. Они сидели, как на горящих угольях, почти не слушая и мало понимая, что говорится. Они с надеждой поглядывали на дверь, мечтая только, чтоб их оставили в покое.

Особенно запомнился мне один белорус, принарядившийся для такого важного события, в расшитом по груди и по полам полушубке, тщательно расчесанный, с испуганными бегающими глазами.

На другой день происходил прием депутатов царем в Зимнем дворце, а потом открытие Первой Государственной думы в Таврическом дворце.

К моменту открытия Думы я пошла к Таврическому дворцу на Шпалерной улице. Там было большое оживление. Перед въездом выстроился почетный ка-

раул, толпился народ, мечтавший посмотреть на депутатов, особенно на тех, имена которых уже заранее были известны. Конная и пешая полиция осаживала любопытных и пропускала во внутренний двор депутатов, предъявлявших свои членские билеты.

Я прошла вдоль фасада дворца и свернула за угол по решетке Таврического сада, окружавшего дворец. Тут уже было мало народа, все стремились туда, к центру. Вдоль решетки сада шли редкие прохожие. И вдруг среди них я увидела характерную фигуру белорусского депутата, замеченного мною накануне вечером. Поспешным шагом он шел от дворца. Я нагнала его и заговорила с ним:

– Куда же вы идете? Ведь вход там спереди. Скоро будут открывать Думу. Вам надо быть там. Ведь вы депутат?

– Был я там, – уныло ответил он. – Да там все начальство, полиция. Нет уж, куда нам. Лучше подальше.

Больше он ничего не хотел слушать, торопливо унося ноги из опасной ловушки.

Мной овладела глубокая грусть, и я медленно пошла домой. Блестящее торжество перестало интересовать меня. Те, во имя кого шла многолетняя борьба, остались чужды всему совершающемуся, как чему-то непонятному и не касающемуся их.

Мои бессмысленные опасения, что период революционной борьбы миновал, рассеялись как дым. До мирной жизни при парламентском строе, «как в Европе», было еще очень далеко, не говоря о том, насколько это было желательно.

Начало первого заседания было очень внушительно. Старый либеральный земец И. И. Петрункевич в первой же речи потребовал полной амнистии по всем политическим преступлениям.

Это произвело большое впечатление и, вместе с тем, предрешило судьбу Первой Думы. Правительство

следило за ней крайне подозрительно и при первой возможности распустило ее, назначив новые выборы.

Думцы не пожелали подчиниться такому произволу и решили испробовать английский способ борьбы. Так как в Петербурге у них не было возможности собираться, полиция разгоняла их, то они решили устроить заключительное собрание в Выборге и оттуда обратиться с протестом к населению.

С величайшим волнением следили мы в Петербурге за таким необычным у нас открытым призывом к народу.

В Выборг съехались, конечно, далеко не все депутаты, не говоря уже о том, что правые не участвовали в совещании и были в высокой степени возмущены неповиновением властям.

Тем не менее собравшиеся в Выборге сочли число членов достаточным и составили воззвание к населению, призывая его прекратить уплату налогов.

Наша семья в это лето, как обычно, жила в Финляндии.

Летним утром, когда я ехала по делам журнала в город, на станции я встретила группу знакомых членов Думы, отправлявшихся в Выборг. Они рассказали мне, что произошло, и что они намереваются сделать. Мне тогда показалось, что это событие величайшей важности. Оно должно повернуть всю нашу историю на новый путь.

Я с большим волнением вернулась на дачу и рассказала Ангелу Ивановичу, каких великих событий мы становимся свидетелями. Он с интересом выслушал меня, но, к моему удивлению, остался совершенно спокоен.

– Ты напрасно возлагаешь такие надежды на этот акт, если они действительно его совершат. Они проявят этим, конечно, личное мужество. Но на ход нашей истории, помяни мое слово, это не окажет никакого вли-

яния. Их голос останется гласом вопиющего в пустыне. Чтобы всколыхнуть нашу спящую громаду, нужны иные средства. И они когда нибудь найдутся.

В этот момент я не поверила Ангелу Ивановичу. Мне этот шаг казался совершенно беспримерным, на который невозможно не отозваться.

Но скоро я увидела, как был прав Ангел Иванович.

Выборгское воззвание вызвало громадное волнение, но только среди интеллигенции. Население восприняло его, как любопытную выходку «господ», которая ни в какой мере не может коснуться каждого отдельного плательщика налогов. Поступление налогов не только не прекратилось, но даже не замедлилось.

Надо правду сказать, что и правительство со своей стороны потерпело разочарование. Разгон Первой Думы далеко не повел к тем результатам, на какие был рассчитан. Выборы во Вторую Думу показали это. Состав ее оказался еще более левым, чем состав Первой Думы. Но правительство и не подумало считаться с ясно выраженной волей населения. Оно решило прибегнуть к иным средствам – запугиванию народа.

Повсеместно, конечно, с разрешения начальства, образовались отделения так называемого «Союза русского народа», или в просторечии «Черной сотни», ставившей себе целью борьбу не только с революционерами, но и вообще с интеллигенцией, в которой черносотенцы видели корень всех зол.

Со всех концов России обращались к царю поощряемые начальством слезницы, умоляющие его править своим верным народом «по старинке» без всяких этих новшеств, пришедших с нечестивого Запада, следуя мудрому изречению, «что немцу здорово, то русскому смерть».

Если бы дело ограничилось этими волеизъявлениями, это бы еще полбеды. Но за словами последовали и дела, а это было уже много хуже.

Начались убийства из-за угла людей, заподозренных в революционном образе мыслей, пошли массовые погромы евреев и интеллигенции.

Со Второй Государственной Думой правительство расправилось значительно решительнее и окончательнее.

Прежде всего, арестовали, несмотря на «неприкосновенность» депутатов, целую группу членов Думы – социал-демократов. А вслед за тем и самую Думу не только распустили, что все же не нарушало новой конституции, но и сообщили о пересмотре закона о выборах, а это уже было явно противозаконно.

СМЕРТЬ АНГЕЛА ИВАНОВИЧА

Я помню этот период менее отчетливо. У нас дома было так неблагополучно, что я не следила с обычным вниманием за общественными событиями.

Болезнь Ангела Ивановича после благополучного лета вдруг резко ухудшилась. Лечение в то время было сопряжено со значительными расходами, и его скромное редакторское жалование не могло покрыть их. Пришлось и мне подумать о заработке. Ангел Иванович, хотя и продолжал исполнять свои редакционные обязанности, но брать на себя лишнюю нагрузку, конечно, не мог.

Узнав о моих финансовых затруднениях, мои товарищи-журналисты немедленно пришли мне на помощь.

Н. П. Ашешов предложил мне хорошо оплачиваемую работу. Наряду с Государственной Думой начала функционировать и так называемая Верхняя палата, своего рода «Палата лордов», называемая у нас Государственным Советом. Все газеты желали иметь своих корреспондентов не только в Государственной Думе, но и в Государственном Совете. Совмещать эти обязанности было нельзя: часы заседаний совпадали. Н. П. Аше-

шов предложил мне взять на себя корреспондирование из Государственного Совета во вновь основанную в Москве газету «Парус», членом редколлегии которой он состоял.

Мне никогда не приходилось исполнять такие обязанности, и я колебалась. Но... деньги были очень нужны, а Ашешов убеждал меня, что не боги горшки обжигают.

Я согласилась. Вспоминая теперь этот период своей жизни, я понимаю, что более тяжелого мне не приходилось переживать.

Ангелу Ивановичу становилось все хуже и, хотя он ни за что не соглашался лечь в постель и даже каждый день ходил в редакцию, но всякий выход сопровождался приступами жестоких болей и рвотами.

Он требовал, разумеется, внимательного наблюдения и ухода, но я не имела возможности считаться с этим. Мне необходимо было присутствовать на всех заседания Государственного Совета. И это еще было не самым трудным. Наиболее интересными считались заседания разных комиссий, в особенности финансовой.

Помещений для заседания комиссий еще не было. Государственный Совет и сам заседал во временном помещении – в Мариинском дворце.

Место заседания той или другой комиссии приходилось разузнавать от членов Государственного Совета. Мне посчастливилось познакомиться с несколькими из них, и они любезно сообщали мне, где будут происходить эти заседания.

И вот тут-то, на непривычной для меня работе в исключительно трудных условиях, я вполне и глубоко оценила товарищескую помощь, которую все время встречала. Корреспондент московской газеты «Русские ведомости», с которой как раз конкурировал «Парус», помогал мне самым деятельным образом. Он никогда не забывал напомнить мне, что таким-то вопросом га-

зеты очень интересуются. Мол, в «Русских ведомостях» будет о нем подробная корреспонденция, пусть и я обращу на него особое внимание и напишу, в свою очередь, подробную корреспонденцию в «Парус».

Вернувшись домой, я писала заметку или статью и отвозила на вокзал, так, чтобы она пошла в тот же день. Вкратце я посылала также известие по телеграфу и еще заезжала на междугородний телефон для переговоров с редакцией «Паруса» и получала от нее особые заказы. Все мое время с утра до вечера строго распределялось. Я еле успевала справиться о самочувствии Ангела Ивановича и по телефону поговорить с лечившим его доктором. Лечил его знаменитый в то время хирург Вельяминов.

Он первый из всех пользовавших Ангела Ивановича докторов, а их было, как я потом подсчитала, 17, притом лучших петербургских специалистов, высказался за неотложную необходимость операции. И он прибавлял, что, если б операция была сделана два года тому назад, он бы мог поручиться за полное излечение. Два года назад мы были в немецкой специальной желудочной лечебнице, где доктор уверял меня, что ничего органического тут нет и боли у него только нервные.

Мы с Ангелом Ивановичем поверили Вельяминову и решили не откладывать больше операции.

13-го марта 1907 года Ангел Иванович отправился в медицинскую Академию на обыкновенном извозчике.

Я отметила только с волнением, что у Ангела Ивановича дрожали губы, когда он целовал детей, пришедших к нему попрощаться. Больше он ничем не выдал себя. Мне он напомнил, чтобы за множеством дел по «Парусу», я не забывала привозить ему корректуры из «Мира Божьего». Его болезнь, избави Бог, не должна задержать выпуск очередной апрельской книжки журнала. Я точно исполняла его наказ. До последнего дня

он прочитывал и исправлял корректуры, сделав исключение только для 18 марта, когда Вельяминов его оперировал.

Накануне вечером я спросила Вельяминова, насколько рискованной он считает операцию.

– Я вам ручаюсь, – сказал он, – операция сойдет благополучно. Подумайте сами, как бы я мог встретиться с вами глазами, если б операция кончилась неблагополучно.

На следующий день я первый раз пропустила заседание Совета, причем мой добрый товарищ Ольгин сказал мне, что ничего важного не предвидится. Он пошлет одновременно корреспонденции в «Русские ведомости» и в «Парус», я спокойно могу не думать о Государственном Совете.

В довершение всех бед, я потеряла необходимые мне часы, а моя старшая дочь в день операции заболела какой-то сыпной болезнью. Останься я ухаживать за ней дома, мне был бы закрыт доступ в клинику. Поэтому в нашу квартиру перебралась моя тетя, а я ночевала в дядиной квартире. Целыми днями я скиталась по делам «Паруса», каждую свободную минуту заезжая в клинику.

Операция продолжалась 2 часа и 30 минут. На другой день Ангел Иванович чувствовал себя уже лучше и настаивал, чтобы я привезла ему корректуры из редакции.

И опять потянулись дни, когда я ездила в Государственный Совет, на заседания комиссий, в редакцию, на телефон, на почту. Все как будто шло благополучно, никаких осложнений не появлялось.

И вдруг на четвертый день лица у докторов стали вытягиваться. Они по несколько раз заходили к Ангелу Ивановичу в палату, подолгу сидели у него, и однажды Вельяминов сказал, что, может быть, придется делать вторичную операцию. Я пришла в ужас и

вызвала в клинику Карла Ивановича, брата Ангела Ивановича, чтобы посоветоваться. Он сказал, что нам нельзя вмешиваться – это дело докторов. Наступил пятый день. Я ночевала в клинике и только днем ненадолго уезжала.

Ангел Иванович продолжал читать корректуры. Среди дня он сказал мне:

– Неужели я буду когда-нибудь сидеть на нашей даче, передо мной будет стоять стакан холодной воды и я буду считать себя счастливейшим человеком в мире?

– Вначале, вероятно, так и будет, а потом захочется еще чего-нибудь, и ощущение счастья пропадет.

Часу в пятом к нам пришел доктор, куратор Ангела Ивановича, и, отозвав меня в сторону, сказал:

– Не впускайте никого в палату, сами сидите у дверей. Если в течение двух часов он будет лежать совершенно спокойно, можно надеяться на лучшее.

Я не ожидала ничего подобного, но молча заняла свой пост.

Через несколько минут доктор вышел и, кивнув мне, ушел.

Прошло полтора часа, в палате все было тихо, и никто не делал попытки проникнуть туда.

Пришел доктор, пробыл в палате несколько минут и открыл дверь.

– Входите, не бойтесь потревожить его. Он вряд ли что сознает.

Но он был неправ. Ангел Иванович лежал, не сводя с меня глаз, и я тоже не сводила своих.

Доктор наклонился над ним, и Ангел Иванович совершенно отчетливо сказал ему:

– Доктор! Я вижу в вас представителя науки и труда. Я живу сейчас двойной жизнью, очень интересной.

Что он хотел сказать этим, никто никогда не узнал, но, очевидно, что-то чрезвычайно для него значительное.

Больше он не говорил ни слова, но продолжал пристально смотреть на меня.

– Ты всегда была моим утешением, – пробормотал он менее отчетливо, но больше уже не открывал рта.

Я не сводила с него глаз и скоро стала замечать, что дыхание его становится все более редким.

Никто не прерывал молчания. Доктор, все время державший его пульс, откинул голову и сказал тихим голосом:

– Все кончено.

Я и не заметила, что в палате скопилось несколько человек, Карл Иванович, ближайшие сотрудники.

Кто-то подошел ко мне, взял меня под руку и вывел из палаты.

Я шла машинально, не сознавая, кто и куда меня ведет.

Наняв извозчика, Карл Иванович повез меня домой. Теперь зараза уже не была мне страшна. Тетя, вся в слезах, ждала меня.

На другой же день после похорон Ангела Ивановича я заболела. Сказалось страшное переутомление, переносимое мной в последние недели.

Продолжать работу больше не понадобилось и не только потому, что мне уже не так нужны были деньги. Газету «Парус» закрыли. Оказалось, что основана она была на занятые деньги. Когда ее закрыли, на ней остался крупный долг, и расплатиться с сотрудниками было нечем. Для меня это было очень обидно. Вышло так, что я не смогла как следует ухаживать за тяжело больным мужем, забросила семью, испортила свое здоровье и, в довершение всего, не получила за это ни гроша. У меня пропало более 500 рублей – деньги по тем временам очень большие. Тогда я, конечно, не обратила внимания на эту потерю, но потом, когда вспоминала об этом, мне всегда было очень досадно.

Ашешов был очень огорчен, что вовлек меня в такую невыгодную сделку, но я, конечно, не могла быть на него в претензии – он сам понес значительно больший убыток, чем я.

Мои друзья отнеслись ко мне с величайшим участием. Особенно тронул меня мой друг еще со времен курсов, В. М. Тренюхин. Последние годы я не виделась с ним. Он служил на Кавказе, но именно в это время был по делам в Петербурге. Однажды наша общая с ним знакомая передала мне, что он просит разрешения прийти ко мне. Я, конечно, разрешила.

Он пришел, и после первых тяжелых минут, сказал, что у него есть ко мне предложение. Через полтора года в Париже должна открыться техническая выставка, и администрация хочет уже теперь пригласить постоянного секретаря. Он подумал, что мне, вероятно, нужен будет хороший заработок. Работа нетрудная, я справлюсь с ней легко. Кроме того, мне, наверное, очень тяжело жить в той же обстановке. Если я приму это предложение, я смогу уже через месяц переехать в Париж со всеми детьми на полтора или два года.

Меня очень тронуло это деликатное и великодушное предложение, устроить которое стоило ему, наверное, немало труда. Ведь в техническом мире меня никто не знал. Но принять его я, к сожалению, не имела возможности. Тетя с дядей были так привязаны ко мне и к детям, что им было бы трудно решиться на столь долгую разлуку.

Между тем мое здоровье не восстанавливалось. Я так ослабела, что уже не могла без посторонней помощи встать с постели. Тетя настояла на устройстве консилиума, и доктора нашли, что у меня начинается процесс в верхушках обоих легких и, если не принять энергичных мер, туберкулез примет угрожающее течение. Они настаивали на немедленном кумысолечении,

рекомендуя санаторию доктора Габриловича в Воронежской губернии.

Сейчас же были сделаны приготовления, хотя я очень протестовала. Уезжать в незнакомое место, расставаться с детьми – как тяжело это было! Да и вообще, я не в силах была ехать одна. Тогда тетя пригласила сиделку для сопровождения меня. Сама тетя оставалась с детьми.

Но неожиданно ко мне пришла помощь. Нет, не неожиданно, я давно знала ее неисчерпаемую доброту.

В самый день отъезда, когда уже были взяты билеты, из Киева приехала мой дорогой друг, Маргарита Федоровна Николева. Тетя написала ей о постигшем меня горе и о моей болезни. Ни о чем не спрашивая, но зная условия нашей жизни, она немедленно ликвидировала свои дела в Киеве, где она, по отбытии срока ссылки, преподавала в гимназии. Она решила перебраться в Петербург, чтобы помочь мне.

Приехав к нам и узнав, что меня посылают на кумыс, она ясно представила себе, каково мне будет там одной и, не задумываясь, объявила, что едет со мной. Утомление от только что проделанного путешествия не было для нее препятствием.

Нечего и говорить, каким громадным облегчением было для меня ехать не с незнакомой сиделкой, а самым близким другом. Маргарита пообещала мне прожить там со мной, по крайней мере, месяц.

Перемена обстановки, новые люди, а главное, общество моей дорогой Маргариты, очень хорошо повлияли на меня. Они содействовали восстановлению моего здоровья и самочувствия. Ко мне вернулась бодрость, и я теперь без страха думала о предстоящей работе. Дети мои не ощутят перемену в условиях жизни.

НОВЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

Мне вспоминалось, как Ангел Иванович говорил брату, что за детей он не боится. Он уверен, что я сумею и прокормить, и воспитать их. Мне во что бы то ни стало хотелось доказать и себе, и ему, что он не ошибся в своих надеждах.

Правда, не надо забывать, что, кроме меня, у моих детей оставалась еще такая надежная опора, как дядя с тетей. Они, пока живы, никогда не допустили бы, чтобы их любимые внуки нуждались в чем-либо необходимом. Но, конечно, я не должна была и не хотела перекладывать на них заботы о моих детях.

Когда я вернулась в Петербург, дяди с тетей там не было. У дяди обострилась его сердечная болезнь, и доктора настоятельно требовали его поездки за границу в санаторий для сердечных больных в Наугейме. С этих пор дядя с тетей каждую осень ездили в Наугейм.

Но перед отъездом дядя успел найти для нас общую квартиру на Петербургской стороне, где была комната и для Маргариты. Она горячо любила их обоих, и они тоже были к ней очень привязаны.

Как только мы устроились на новой квартире, ко мне приехал все тот же Н. П. Ашешов и опять предложил мне новую литературную работу.

На этот раз дело, в котором он предложил мне участвовать, никаких сомнений не возбуждало. Это была газета «Современное слово». Издавало ее то же издательство, что и «Речь», но редакция и сотрудники были у нее отдельные. От «Речи» «Современное слово» заимствовало только телеграммы и заметки в хронике.

Ашешов предложил мне редактировать еженедельное литературное приложение к «Современному слову» и литературные фельетоны, присылаемые в газету.

Работа мне очень нравилась. Я только побаивалась, сумею ли я с ней справиться. Но Ашешов уверил меня,

что все сотрудники знают меня и вполне одобрили его выбор.

С этих пор у меня начался период газетной работы. С членами редакции «Современного слова» и ближайшими сотрудниками, часто работавшими в помещении редакции, у меня сразу установились близкие товарищеские отношения. Я была единственной женщиной в редакции, что поначалу меня немного смущало. Но вскоре это чувство совершенно исчезло. Никакой разницы в отношении сотрудников друг к другу и ко мне не ощущалось.

У нас был один общий с «Речью» сотрудник Л. М. Клячко, называвшийся тогда «королем репортеров». Он был исключительным знатоком и мастером рассказывать анекдоты. В редакционной комнате при его появлении не умолкал смех, по правде сказать, сильно мешавший работе. Посидев у нас с полчаса, он переходил в кабинет редактора. Вслед за ним один за другим туда перекочевывало большинство сотрудников. Теперь уже оттуда доносились громовые раскаты хохота. Но ни одного двусмысленного анекдота он не позволял себе рассказывать в нашей комнате.

По возвращении домой, дети одолевали меня просьбами рассказать, что смешного рассказал сегодня Клячко, и очень часто я могла удовлетворить их любопытство.

С сотрудниками воскресного приложения у меня тоже вскоре установились хорошие отношения, продолжавшиеся иногда и после того, как им удавалось выйти на более широкую литературную арену.

Не обошлось, правда, и без некоторых недоразумений. Среди начинающих сотрудников оказалось особенно много начинающих поэтов, в своем большинстве слабоватых. Один из них принес мне целую тетрадь явных, но беспомощных перепевов Надсона.

Когда он пришел за ответом, я сказала ему, что надо попытаться написать что-нибудь свое. Не имеет смысла перепевать всем известного поэта.

– Какого поэта? – с наивным видом спросил он.

– Надсона, – отвечала я.

– Я совсем не знаю такого поэта, не читал, – довольно нахально ответил он.

– Жаль, – сказала я. – Вам полезно было бы познакомиться с ним.

Секретарь нашей редакции пришел в такую ярость, когда я рассказала о нахальном поэте, что предложил, если он явится еще раз, выйти в приемную и поколотить его. Но я успокоила его, уверив, что сама надеюсь справиться с моими сотрудниками.

Однажды я сделалась жертвой литературного шантажа. Некто, подписавшийся псевдонимом Nemo, прислал из провинции откровенно переписанный рассказ Чехова «Неудача», внеся в него единственное изменение. Там, где обрадованные родители вбегают благословить жениха и невесту, схватив впопыхах вместо образа портрет Лажечникова, он заменил Лажечникова Лермонтовым.

На этот раз я очень рассердилась на такое откровенное намерение подвести редакцию, выбрав для своей наглой попытки общеизвестный рассказ Чехова.

Я взяла редакционную открытку и написала автору язвительный ответ, адресовав ее в Гомель, по указанному адресу. На открытке я писала намеренно. Почтальоны могли ознакомиться с ее содержанием. Расчет оказался правильным. Открытка вернулась в редакцию с приклеенной к ней длинной полоской с подписями целого ряда почтальонов, пытавшихся вручить ее адресату. Но автора им так и не удалось обнаружить.

Тогда я напечатала открытку в «Почтовом ящике» газеты. Я надеялась, что таким путем автор все же с ней ознакомится.

Не знаю, принятые ли мной меры или что-либо другое, но попытки поймать меня на незнании русской литературы на этом прекратились.

В следующем году редакция решила, кроме еженедельных приложений, давать подписчикам еще один раз в месяц увеличенный вдвое иллюстрированный номер, посвященный одному какому-нибудь вопросу – биографии одного из видных писателей или какому-либо крупному общественному явлению, например, возобновившемуся в 1908 году голоду и общественной борьбе с ним.

Мне удалось привлечь к сотрудничеству в этих иллюстрированных приложениях известных писателей.

Для номера, посвященного голоду, В. Г. Короленко дал специальный рассказ. Я чрезвычайно гордилась такой удачей. Дал он также очерк для номера, посвященного Салтыкову-Щедрину.

В связи с расширением работы увеличился и мой заработок. Но его одного все равно не хватало на нужды моих детей. Приходилось еще заниматься переводами для «Русского богатства» и для «Мира Божьего», где у меня тоже были друзья.

Переводами я занималась дома по вечерам. Но вообще вся эта работа была мне не трудна, интересна и почти полностью обеспечивала наши скромные запросы.

Дядя брал на себя наем дачи. Отказаться от поездок на лето в Финляндию было бы очень грустно. Да и жизнь там была детям очень полезна.

Я тоже очень любила летнюю жизнь в Куоккале, купание в море, прогулки по берегу. Там у меня завязалось несколько интересных знакомств, продолжавшихся в Петербурге по зимам.

Первое и самое прочное из них было с Корнеем Ивановичем Чуковским, тогда еще очень молодым человеком и очень молодым литератором, обладающим ярким литературным талантом. Знакомство с ним

продолжается до сих пор. Человек чрезвычайно интересный, он подкупал меня еще своим отношением к детям.

Все четверо моих детей буквально влюбились в него. Когда он приходил, – а приходил он очень часто, – для детей начинался настоящий праздник. Младших он сажал себе на плечи и скакал, будто добрый конь. Бывало, бросался на пол и предлагал детям карабкаться на себя, изображая скульптурную группу «Нил и его притоки».

Старшим он с увлечением читал наизусть и по книгам звучные поэмы Алексея Толстого, совершенно покоряя их, будучи удивительным чтецом.

Чтобы поговорить с ним, а мне этого тоже очень хотелось, приходилось дожидаться, пока с большим трудом и протестами удастся уложить детей спать. И тогда мы гуляли с ним по морскому берегу, и я слушала его декламацию, уже не рассчитанную на детское восприятие.

Первое время меня очень огорчало, что самые близкие мне люди, и дядя, и Владимир Галактионович, относились к Корнею Ивановичу довольно прохладно. Не то, чтобы они были определенно против моего знакомства с ним. Они понимали, что я слишком взрослый человек, меня невозможно всегда держать под своим крылышком. И, тем не менее, оба они, а особенно Владимир Галактионович, находили, что влияние Чуковского на меня может быть только вредным. Вскоре я поняла, что мечтать о сближении между ними совершенно неосновательно. Они и по возрасту, и по литературным вкусам принадлежат к разным поколениям. Я относилась с любовью, уважением и доверием к моим близким, но подчинять им свои литературные вкусы не собиралась, да никогда и не подчиняла.

Наши литературные взгляды с Чуковским в большинстве случаев совпадали. Но в общественных воп-

росах я редко бывала солидарна с ним. Дружба с ним уже в Петербурге продолжалась и крепла.

Конечно, далеко не все, завязавшиеся в Куоккале знакомства, имели такое продолжение. Некоторые, напротив, тут же и прерывались. Из таких случайных встреч мне особенно запомнилась одна – с В. В. Розановым.

Он был сотрудником «Нового времени», с которым вся прогрессивная печать не желала иметь ничего общего. И если с Чуковским я далеко не всегда была солидарна в общественных вопросах, то с Розановым я не была солидарна никогда.

Однажды, не помню по чьей мысли, группа литераторов затеяла устроить литературный вечер. Я из любопытства задумала пойти. Вскоре среди собравшихся я заметила характерную лисью головку В. В. Розанова. Раньше мы не были знакомы, хотя, конечно, я знала его в лицо. Видимо, и он меня тоже, или кто-нибудь назвал ему меня.

Во всяком случае, он подошел ко мне, представился и сказал, что давно знал моего мужа по рассказам своего брата, учителя нижегородской гимназии, где учился Ангел Иванович. Брат хвалил способности своего ученика и интересовался его дальнейшей судьбой.

Я сказала Розанову, что у Ангела Ивановича были явно выраженные научные интересы, но воля начальства прервала его научную карьеру.

– А почему он перешел на литературу? – спросил Василий Васильевич.

Я объяснила.

– Ну вот, ну вот, – подхватил он, – он столкнулся с благородными людьми прогрессивного направления, потому и сам стал придерживаться взглядов прогрессивного лагеря. А я как раз столкнулся с подлецами из прогрессивного лагеря, вот меня и прибило к реакционному берегу. Так всегда бывает.... А у вас оста-

лись дети после Ангела Ивановича? – спросил он, помолчав.

– Как же. Четверо, – отвечала я.

– Четверо! – повторил он. – Вас это, наверное, очень тяготит?

– Что вы! – вскричала я. – Да это мое главное утешение.

Я говорила вполне искренно, но в то же время я хорошо знала отношение Розанова к многодетным семьям.

– Но как же вы думаете их воспитывать? – спросил он. – Правда, я слышал, что у вас есть высшее образование. Но разве это помогает?

Я улыбнулась.

– Пока, по крайней мере, мы не нуждаемся. У меня литературная работа. Она дает мне вполне достаточно средств и в то же время почти не отрывает от семьи. Я могу все время следить за детьми.

Розанов с торжеством оглянулся, точно призывая кого-то в свидетели.

– Вот это я понимаю, – сказал он с удовлетворением. – Тут цель работы и смысл образования ясны. Женщина остается одна и на свою работу содержит своих детей. А то лезут зачем-то в литературу, где они ни для кого не нужны и покупают себе на свой заработок какие-нибудь финтифлюшки, прикрываясь высокими идеями и стремлениями... Общественные дела! Принципы!– раздраженно фыркнул он. – Все это пустая болтовня. А о детях забывают.

Я промолчала. У меня не было никакой охоты вступать с ним в спор, хотя и общественные дела и принципы не были ни в какой мере чужды мне и в то же время ничуть не мешали моим детям.

С Розановым я больше никогда не встречалась, но моя вторая дочь училась в одном классе с его младшей дочерью, и они дружили между собой.

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Теперь мне предстоит перейти к одному из самых интересных для меня периодов моей жизни, закончившемуся одним из самых тяжких и внезапных ударов.

Это был в то же время период наибольшего расцвета поэтического творчества Иннокентия Федоровича Анненского, когда он написал почти все свои лучшие стихотворения, вошедшие в «Кипарисовый ларец».

В эти два года мы все чаще виделись с Иннокентием Федоровичем, и он позволял мне шаг за шагом следить за бурным развитием его таланта.

Некоторым это может показаться странным и даже неестественным, поэту ведь в то время было 53–54 года. Но такова уже была необычайная судьба этого человека, редко переступавшего за порог своего кабинета и пережившего на этой крошечной территории целую насыщенную поэтическими и философскими идеями жизнь.

Внешняя обстановка для него совершенно не существовала, он не замечал ее. Все совершалось в глубине его сознания, и только когда там вполне созревали плоды его тайных вдохновений, он позволял им увидеть свет.

И вот я была так исключительно счастлива, что мне одной из первых, он разрешал познакомиться с ними.

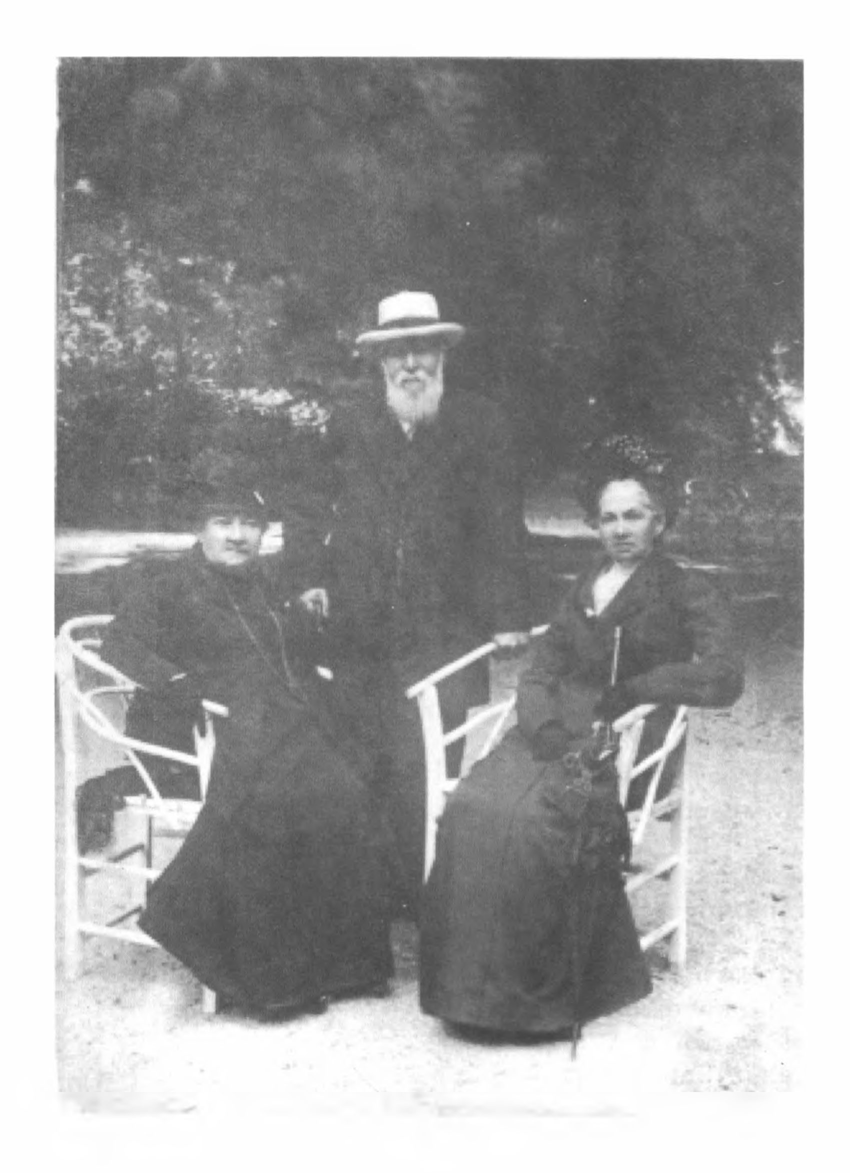
Он приезжал ко мне очень часто, и каждый раз, как драгоценнейший дар, он вынимал из портфеля обычную четвертушку бумаги, на которой его четким почерком, немного напоминающим греческие буквы, было написано новое стихотворение.

Как сейчас слышу его глубокий голос, какой-то таинственный, белый голос, рождавший, казалось, тут же, на месте, вдохновенные строки.



А. Н. Анненская, 1890-е годы

Н. Ф. Анненский, 1910-е годы



А. Н. Анненская, Н. Ф. Анненский, М. Ф. Анненская, около 1910 г



Таня Криль, 3, 5 года



Таня Криль, 7 лет



Таня Криль, 12 лет



Таня Криль, 18 лет

Т. А. Богданович, 1898 г.

Т. А. Богданович, 1891 г. с дочерьми Софией (на руках) и Александрой





А. Н. и Н. Ф. Анненские и Т. А. Криль, 1892(?) г.



А. Н. Ткачева,
С. Н. Ткачева
(стоят),
П. Н. Ткачева,
их мать,
П. Н. Ткачев
(сидят)



Н. Ф. Анненский, 1870-е годы



Дементьева (первая жена П. Н. Ткачева)



А. Н. Анненская, 1860-е годы



А. А. и С. Н. Криль, Женева, около 1872 г.



Т. А. Богданович с детьми (Татьяна, Александра, Владимир, София), 1910-е годы

К. И. Богданович





О. И. Богданович





А. Н. Ткачев

А. И. Богданович в молодости (1882 г.)

А. А. Криль во время работы в Перми





Пьер Ткачев



И. П. Емельянов, 1883 г., Хабаровск



Редакция журнала «Русское богатство» (В. А. Мякотин, Н. Ф. Анненский, П. Ф. Якубович, А. Г. Горнфельд, А. В. Пешехонов, В. Г. Короленко)

А. Г. Горнфельд





Н. А. Соколов



М. В. Беренштам



Мария Беренштам



В. Д. Маслова-Стоккоз и ее дочь Ариадна

А. И. Богданович,
начало XX в.





С. И. Богданович.

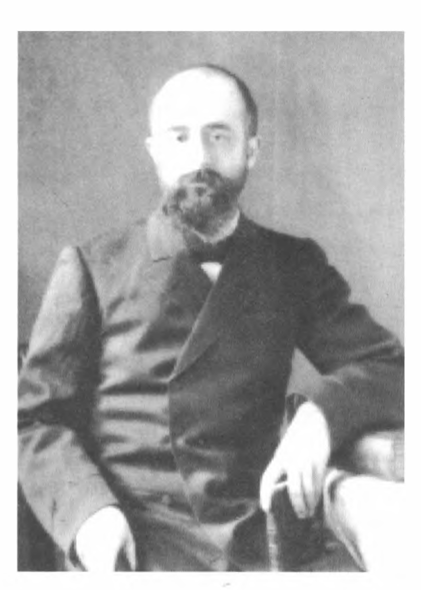


В. Г. Короленко, 1903 г.



А. С. Короленко

С. Д. Протопопов





Н. К. Михайловский



Боря Криль – гимназист



Боря Криль – студент

А. Н. Ткачева, 1865 г.



Н. Ф. Анненский, 1865 г.





И. Ф. Анненский

Семья Деникеров (Париж): Л. Ф. Анненская, Жозеф Деникер и их дети, 1882 г.



М. Ф. Страхова (Анненская) с мужем и детьми

Некоторые его интонации ясно, до полной иллюзии, звучат у меня в ушах.

Помню, в стихотворении «Этого быть не может. Это подлог...» как звучала строка:

«И стала бумажно бледна».

В то же время он развивал передо мной свои поэтические мечты.

Одним из его любимых планов было основание поэтической академии по образцу греческих перипатетиков.

Он представлял себе, что будет бродить со своими учениками по аллеям Царскосельского парка. Последние годы жизни он провел в Царском селе и очень любил Царскосельский парк.

Тут он будет передавать им свои поэтические мечты и теории и делиться плодами своего творчества.

Я спрашивала его, почему же он не хочет развить их в книге. Она стала бы достоянием круга его читателей и почитателей, носила бы на себе печать его личности, не только в существе его идей, но и в их выражении.

Но он отвечал мне, что не имеет никакого значения, кем рождена идея. Важно лишь, что она родилась. Пусть ее воспримет и несет дальше тот, кого она заразила. Несет ее в мир и развивает ее сам. Дальнейшая ее эволюция зависит только от жизнеспособности идеи.

Эта мечта долго увлекала его.

Человек до щепетильности самолюбивый, он был в то же время совершенно лишен личного честолюбия и отличался чрезвычайной скромностью. Стоило больших усилий уговорить его выступить публично. В литературном обществе, где все его знали и ценили, хотя и по-разному относились к нему, он выступал только один раз. Споры он считал совершенно бесплодным занятием.

Летом он приезжал гостить ко мне в Куоккалу и проводил у меня несколько счастливых для меня дней.

Мне теперь странно и стыдно вспоминать, что я позволяла себе обращаться к нему с неприятными для него просьбами.

У него был так называемый «лакей» Арефа. Я уже упоминала о нем. За долгие годы Иннокентий Федорович, человек сдержанный, суховатый, абсолютно лишенный сентиментальности, привык и даже привязался к нему. И я прекрасно относилась к этому Арефе, зная его с детства, но мне казалось смешным и диким, чтоб взрослый человек всюду возил с собой «лакея». Поэтому я просила Иннокентия Федоровича приезжать ко мне без Арефы. Я не учитывала, что нарушение многолетней привычки, как бы она ни была нелепа, может расстроить человека, лишить его привычной душевной атмосферы.

Тем не менее, Иннокентий Федорович без возражений исполнял мою просьбу, и я никогда не замечала, чтобы это портило его настроение. Он охотно принимал участие в нашей жизни, играл с моими детьми. Моей второй дочери он посвятил прелестное стихотворение:

Захлопоталась девочка
В зеленом кушаке.

Он вообще любил детей, и его стихотворения, посвященные детям, удивительно трогательны. У него самого был только один сын, подписывавшийся впоследствии Валентин Кривич. Но мальчик родился, видимо, в то время, когда Иннокентий был еще слишком молод и не мог по-настоящему почувствовать себя отцом. А, может быть, он и тогда уже так глубоко ушел в свою внутреннюю жизнь, что слабо замечал все окружающее, хотя бы это был его собственный сын. Так или иначе, но воспитание ребенка взяла на себя исключительно его мать, что ни в каком отношении не было полезно для мальчика. И это, конечно, было очень грустно. А главное, это не развило с первых лет жизни естественной связи между отцом и сыном, даже, напро-

тив, породило некоторое отчуждение. Когда мальчик превратился во взрослого юношу, их жизнь пошла совершенно разными путями, не соприкасавшимися друг с другом.

Валентин, конечно, любил и ценил отца. Однако, по моим наблюдениям, он вполне понял и прочувствовал, кто был его отец, только после его смерти. С тех пор у нас с Валентином возникло сближение, отсутствующее при жизни его отца.

Однажды, приехав в Куоккалу, Иннокентий Федорович предложил мне поехать с ним на Иматру. Я, разумеется, с радостью согласилась. Эта поездка осталась для меня одним из самых светлых воспоминаний.

Мы провели там сутки. Образ величественного финского водопада навеки освящен для меня образом того, с кем вместе я им любовалась.

Больше меня никогда не тянуло на Иматру.

В городе посещения Иннокентия Федоровича не давали мне такого удовлетворения, как в Куоккале. Иннокентий Федорович очень любил своего старшего брата и не меньше его жену, мою тетю, Александру Никитичну. И когда он бывал у нас, он не мог не отдавать им значительную часть своего времени. И, несмотря и на мою любовь к ним, мне это было както обидно.

Мы часто говорили с ними и с Владимиром Галактионовичем об Иннокентии Федоровиче, и я хорошо знала, что им не только чужда, но даже враждебна – самое дорогое для него – его поэзия. Мало того, они упорно не хотели верить, чтоб мне искренно могли нравиться его стихотворения. Они воображали, будто это просто результат моих родственных чувств, и я, мол, только не хочу в этом признаться, дабы не обидеть его.

Меня чуть не до слез доводила эта нелепая мысль. Вот мне и было так обидно, когда он часами просиживал с ними.

Но все же, наконец, наступал и мой час. Тогда я могла увести Иннокентия Федоровича к себе в комнату, целиком насладиться беседой с ним и услышать привезенные им стихотворения.

Но как недолго длилось это время и как жестоко оно оборвалось. Каждый понедельник Иннокентий Федорович должен был присутствовать на заседаниях ученого комитета. Это очень тяготило его, как и вся его административно-педагогическая деятельность. Щепетильно добросовестный человек, он считал себя обязанным выполнять все лежащие на нем функции. А это мешало ему, отвлекало от литературной работы.

Как о высшем счастье он мечтал о выходе в отставку. И этот момент уже наступал – он подал прошение об отставке и ждал со дня на день указа об освобождении его. Я тоже с радостным волнением ожидала этого счастливого дня. Я предчувствовала, каким пышным цветом расцветет его творчество, когда он сможет отдаваться ему целиком.

В конце недели я была в Царском селе, и Иннокентий Федорович обещал, что в понедельник непременно будет обедать у нас.

Наступил понедельник. С утра я с нетерпением ждала знакомого звонка и появления в дверях передней высокой, немного чопорной фигуры в педагогической шинели на синей подкладке.

Подошел и час обеда, время, когда он обыкновенно приезжал. Мы подождали. Наконец, тетя сказала, что его, верно, что-то задержало, а дяде надо после обеда уезжать. Все для него будет оставлено, но и нам, и детям пора обедать.

Мы пообедали, хотя аппетит у меня совершенно пропал.

Я волновалась при каждом звонке. Однако наступило 7 часов, 8, 9.... Так поздно он никогда не приезжал.

Ведь ему надо было сообразоваться с поездами в Царское село.

Ко мне пришел Николай Дмитриевич Соколов.

Никогда я еще не была так равнодушна к его приходу и не слушала так невнимательно его рассказов.

Я не знала только, что у нас был испорчен телефон. Я совершенно не обратила внимания, что за весь вечер к нам никто не позвонил, хотя обычно телефон у нас редко отдыхал.

Но вот в половине двенадцатого раздался звонок в дверь, и мне подали городскую телеграмму:

В ней было написано:

«Сегодня в 6 часов Иннокентий Федорович скоропостижно скончался у Царскосельского вокзала. Лежит в покойницкой Обуховской больницы.

Платон».

Платон – пасынок Иннокентия Федоровича.

У меня помутилось в глазах, и я выронила телеграмму.

Николай Дмитриевич поднял ее, вызвал тетю и показал ей.

Потом он дотронулся до моей руки и сказал:

– Вы, конечно, захотите туда поехать. Пойдемте, я вас провожу.

Плохо сознавая окружающее, я встала, оделась и пошла вслед за Николаем Дмитриевичем.

Если бы не он, я не знала бы, куда ехать, к кому обратиться. Он разузнал, что Иннокентия Федоровича перевезли на Царскосельский вокзал. Там собралась его семья.

Мы поехали на вокзал. Я плохо соображала, что вокруг происходит, и смотрела на его семейных, как на незнакомых, ни с кем не здороваясь.

Вскоре все куда-то исчезли. Николай Дмитриевич спросил меня:

– Вы не собираетесь ехать в Царское село? Сейчас отходит туда поезд.

Я покачала головой. Тогда он взял меня под руку, вывел из вокзала и посадил на извозчика.

Как в смутном сне вспоминаются мне фигуры на вокзале, среди них не было единственного, нужного мне, человека.

Дома тетя вышла к нам в переднюю и прошептала:

– Я побоялась сообщить дяде, что произошло. Он мог бы не вынести. Как же это случилось?

Николай Дмитриевич рассказал, что в шестом часу Иннокентий Федорович, проезжавший на извозчике мимо вокзала, вдруг сделал знак извозчику, чтобы он повернул к вокзалу. Сойдя с него, он сделал один шаг и сразу же упал со всего роста на ступени лестницы. Проходивший на вокзал врач, подошел к нему, выслушал и констатировал моментальную смерть от разрыва сердца.

Мне вспомнилось потом, как Иннокентий Федорович говорил шутя:

– Я бы не хотел умереть скоропостижно. Это все равно, что уйти из ресторана, не расплатившись.

Когда на другое утро я вошла в кабинет дяди, меня страшно поразило его лицо. Он точно постарел на десять лет. Вчера это был бодрый пожилой человек, сегодня он стал дряхлым стариком. Увидев меня, он сел в кресло и горько заплакал.

Я поняла тогда, какая горячая братская любовь соединяла двух братьев, несмотря на полное несходство во взглядах.

Если бы первым ушел Николай Федорович, Иннокентий Федорович наверно был бы так же потрясен.

АЛФАВИТНЫЙ КОММЕНТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Анненский Валентин Иннокентиевич – см. Кривич.

Анненский Иннокентий Федорович (1856–1909) – русский поэт, педагог, филолог-классик. Родной брат Н. Ф. Анненского. Среднее образование получил дома. Экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости. Поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1879 году по отделению сравнительного языкознания. После окончания университета занимался педагогической деятельностью. Состоял директором Киевской Коллегии Павла Галагана (1890–1893), директором 8-й Петербургской гимназии (1893–1896), директором Николаевской мужской гимназии в Царском селе с (1896–1906), окружным инспектором Петербургского учебного округа (1906–1909). В 1909 году читал лекции по истории греческой литературы на Высших женских историко-литературных курсах Н. П. Раева в Петербурге. Был сотрудником журнала «Аполлон». Выдающийся поэт-символист, впервые выступил в печати в 1901 году. Поэтические сборники: «Тихие песни» (1904) и «Кипарисовый ларец» (1910). Перевод трагедий Еврипида (1907). Сборники критических статей «Книга отражений» (1906), «Вторая книга отражений» (1909) – *6, 13, 25–32, 66, 71–75, 78, 124, 142, 143, 145, 246, 324–330.*

Анненский Николай Федорович (1843–1912) – видный русский статистик, экономист, публицист, популярный журналист, общественный деятель. В 1895–1912 гг. – сотрудник и член редакции журнала «Русское богатство» – *5, 11, 14–22, 36–61, 63–96, 105, 107, 110–113, 116, 117, 119–124, 126, 138, 140, 142, 146, 150, 152, 159, 193, 194, 196, 197, 235, 236, 246, 248–250, 252, 253, 270, 282–285, 291, 293, 296, 299, 315, 317, 327, 330.*

Анненский Федор Николаевич – царский чиновник, омский вице-губернатор, отец Н. Ф. и И. Ф. Анненских – *65, 66.*

Введенский Александр Иванович. (1856–1925) – профессор философии, Председатель Санкт-Петербургского философского общества, читавший курс древнегреческой философии на женских Бестужевских курсах – *155, 170, 171, 180.*

Вельяминов Николай Александрович (1855–1920) – русский врач, хирург, оперировавший А. И. Богдановича – *311–314.*

Вересаев (Смидович) *Викентий Викентьевич* (1867–1945) – русский, советский писатель – *15.*

Верн Жюль (1828–1905) – французский писатель, один из основателей жанра научно-фантастического романа – *60.*

Вечера Мария – австрийская артистка, любовница Рудольфа Австрийского, покончившая вместе с ним жизнь самоубийством – *14.*

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – русский государственный деятель. Председатель Комитета Министров в 1903–1905 гг. В 1905–1906 гг. возглавлял Совет Министров. Способствовал принятию Манифеста 17 октября 1905 г. – *291, 300.*

Водовозов Василий Иванович (1825–1886) – русский педагог, последователь К. Д. Ушинского. В 1860-х годах активно участвовал в обсуждении проектов реформы начальной и средней школы. Создал методические пособия для учителей начальной и средней школы. Основной труд «Словесность в образцах и разборах» – *162.*

Водовозова Елизавета Николаевна, урожденная Цевловская (1844–1923) – русская детская писательница. Жена В. И. Водовозова. Вторым браком – жена профессора русской истории Петербургского университета Василия Ивановича Семевского – *161, 162.*

В русском переводе вышла его книга «Человеческие расы» в 1902 г. – *70, 224*.

Деникер Любовь Федоровна, урожденная Анненская (1852–?) – жена Ж. Деникера, сестра Н. Ф. и И. Ф. Анненских – *70, 76, 216, 217.*

Дефо Даниель (ок. 1660–1731) – английский писатель. Роман «Робинзон Крузо» переведен Т. Н. Анненской – *15.*

Диккенс Чарльз (1812–1870) – английский писатель, его биографию написала А. Н. Богданович – *15.*

Дмитриев С. Ф. – земский врач в Нижнем Новгороде, сторонник народничества – *268, 269.*

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – русский литературный критик, публицист, революционный демократ – *102.*

Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922) – русский журналист, публицист, театральный критик, мастер фельетона – *114.*

Достоевский Федор Михайлович (1821–1861)– русский писатель – *8.*

Дункан Айседора (1877–1927) – американская танцовщица – *271.*

Дурново Петр Николаевич (1845–1915) – русский государственный деятель. В 1884–1893 гг. директор департамента полиции. В 1905–1906 гг. министр внутренних дел в кабинете С. Ю. Витте – *291.*

Евреинова Анна Михайловна (1844–1919) – общественная деятельница, издатель журнала «Северный вестник» – *135, 136.*

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) – врач, писатель народнического толка. Постоянный сотрудник журнала «Русское богатство». Был одним из вра-

чей, лечивших Л. Т. Толстого в Гаспре в Крыму в 1902 г. Елпатьевский – один из организаторов санатория для необеспеченных туберкулезных больных в местечке Яузляр в Ялте. Л. Н. Толстой пожертвовал на организацию санатория 1000 рублей – *92, 93, 117, 119, 140.*

Емельянов Иван Пантелеймонович (1860–1915) – русский революционный народник, член революционно-народнической организации «Народная воля». Сын псаломщика. Воспитывался у дяди в Константинополе. В 1870 г. привезен отцом в Петербург и отдан воспитанником в семью Анненских, где жил до 1879 г. Принимал активное участие в подготовке убийства Александра I 1 марта 1881 г., за что приговорен к пожизненной каторге. В 1893 г. переведен из ссыльнокаторжных в ссыльнопереселенцы. В последующие годы жил в Хабаровске, занимался общественной деятельностью – *65, 72–75, 78–81.*

Ермолова Мария Николаевна (1853–1928) – выдающаяся русская актриса. С 1871 г. состояла в труппе Малого театра в Москве. Исполняла главные роли в пьесах Лессинга, Лопе де Вега, Шекспира, Шиллера, Островского, А. Толстого – *133, 134.*

Жорж Занд (псевдоним, наст. имя Аврора Дюдеван) (1804–1876) – французская писательница, ее биографию написала А. Н. Богданович – *15.*

Зингер Пауль (1844–1911) – немецкий партийный функционер. Один из лидеров германской социал-демократической партии. Деятель марксистского крыла во II Интернационале – *210.*

Золя Эмиль (1840–1902) – французский писатель – *215.*

Ивановская Прасковья Семеновна, по мужу Волошенко (1853–1935) – активная участница революционно-народнического движения 1870-х годов в России. Сест-

ра жены В. Г. Короленко – Е. С. Короленко. В 1906 г. эмигрировала в Румынию. Вернулась в Россию в начале Первой мировой войны. Жила в Полтаве все последующие годы до смерти – *277–281*.

Иванчин-Писарев Александр Иванович (1846–1916) – русский журналист, участник «хождения в народ» 1870-х годов. В 1893–1912 гг. был членом редакции журнала «Русское богатство» – *277–280*.

Иоанн Кронштадский (Иоанн Ильич Сергиев) (1829–1908) – крупный русский православный деятель. Протоирей Андреевского собора в Кронштадте – *199, 200*.

Калмыкова Александра Михайловна (1849–1926) – русская прогрессивная общественная деятельница. В 1880-х годах принимала участие в организации и работе воскресных школ в Петербурге и Харькове. Принимала участие в народовольческом движении. В 1889–1902 гг. держала книжный склад популярной литературы в Петербурге – *173, 174*.

Карабчевский Николай Платонович (1851–1925) – русский адвокат. Выступал защитником в третьем судебном разбирательстве по т. н. Мултанскому делу в 1896 г. Присяжными был вынесен вердикт «не виновны». На основании этого вердикта суд вынес оправдательный приговор – *204*.

Кареев Николай Иванович (1850–1931) – профессор, историк, преподавал на Бестужевских курсах – *191, 192, 291*.

Каронин (Петропавловский Николай Елпидифорович) (1853–1892) – русский писатель-народник. Автор повести «Учитель жизни». Главный герой повести Денис Чехлов пытается найти руководящую нить в толстовском движении. Прототип Чехлова – толстовец Иван Михайлович Клопский. Каронин наблюдал за толстов-

ским движением в среде интеллигенции. Он помогал устраивать толстовскую колонию в Симбирской губернии. Каронин описал гибель этой затеи в рассказе «Борская колония» – *117, 118.*

Карпович Петр Владимирович (1874–1917) – эсер-террорист. 14 февраля 1901 г. в знак протеста против репрессий царского правительства по отношению к революционному студенчеству смертельно ранил министра просвещения Н. П. Боголепова. Осужден за это преступление на 20 лет каторги. Отбывал наказание в Шлиссельбургской крепости, затем в тюрьмах в Акатуе и в Алгачи. В 1907 г. выпущен на поселение, откуда бежал за границу. В 1917 г., возвращаясь в Россию из эмиграции, погиб в Северном море на пароходе, потопленном германской подводной лодкой – *253.*

Кеннан Джорж (1845–1924) – американский писатель, публицист, общественный деятель. В 1855–1886 гг. совершил путешествие по Сибири для изучения системы тюрем и ссылок в России. Написал книгу «Сибирь и система ссылки» (1891). Л. Н. Толстой пользовался материалами этой книги для описания сибирских тюрем в романе «Воскресение» – *252, 253.*

Клопский (Клобский) Иван Михайлович (1852–1898) – видный толстовец. О нем в воспоминаниях Н. А. Бунина о Л. Н. Толстом: «...Клопский, человек довольно известный в то время в некоторых кругах и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина „Учитель жизни". Это был высокий худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым лицом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно весело шатался из города в город» – *118.*

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888) – русский государственный и военный деятель России в период царствования Александра II. Участвовал в ряде военных операций на Кавказе во время русско-турецкой войны в 1877–1878 гг.: командовал успешным штурмом крепости Карс и предпринял блокаду Эрзерума. В 1880 г. назначен на должность министра внутренних дел. Лорис-Меликов считал, что отмена общих политических ограничений и исключительных мероприятий, а также облегчение цензуры печати, успокаивая общество, могут отнять почву у революционной пропаганды. В период деятельности Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел было упразднено Третье отделение жандармерии, осуществлявшее политический сыск, ограничены административные расправы, расширены полномочия земского и городского самоуправления, облегчена цензура печати, учреждены комиссии по пересмотру законов о печати, проведены реформы в учебном деле. Задуман был ряд мер, направленных к улучшению экономического положения народа. Но в то же время ревизующим экономическое положение сенаторам вменялось в обязанность собирать и выяснять факты, свидетельствующие о «неблагонадежных элементах общества» и предпринимать административную высылку этих элементов. Высылка производилась без суда и следствия. После цареубийства, 1 марта 1881 года, оставаясь верен своим прежним взглядам, Лорис-Меликов вскоре убедился в невозможности их исполнения. Седьмого мая 1881 года он ушел в отставку и последние годы своей жизни провел за границей. Умер в Ницце. Похоронен в Тбилиси – *45, 46, 49, 50*.

Лошкарев Николай Александрович (1855–1912) – капитан Волжского пароходства. Муж Марии Галактионовны, сестры Короленко. Участник народнического движения – *91*.

Лошкарева Мария Галактионовна, урожденная Короленко (1856–1917) – сестра В. Г. Короленко.

Лошкарев Борис Николаевич (1879–1893) – сын Марии Галактионовны, умер от скарлатины в 1893 г.

Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) – русский советский поэт, переводчик – *23.*

Маслова-Стокиоз Вера Дмитриевна – подруга Т. А. Богданович, покончила жизнь самоубийством – *126–128, 130, 132, 183, 187.*

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) – русский советский поэт. О нем написала воспоминания С. А. Богданович – *24.*

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – русский писатель. Автор исторических романов, литературный критик, общественный деятель. В 1921 г. эмигрировал во Францию. Умер в Париже – *138, 265–267.*

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк, публицист. В 1899 г. участвовал в редакции журнала «Мир Божий». В 1905 г. один из организаторов «Союза Союзов» в первую пору его существования как участник и член бюро земских и городских съездов. Был одним из учредителей Конституционно-демократической партии, к обеим составным частям которой – Союзу Освобождений и Союзу земских конституционалистов – Милюков принадлежал ранее. В 1917 г. в буржуазном Временном правительстве первого состава занимал пост министра иностранных дел. Нота Милюкова от 18 апреля (старый стиль) 1917 г. подтверждала верность Временного правительства «союзническим» договорам и готовность продолжать войну «до победного конца». 2 мая (старый стиль) 1917 г. Милюков вышел в отставку. В 1920 г. эмигрировал – *253, 259–263.*

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – теоретик народничества, литературный критик и публицист. С 1869 по 1884 г. сотрудник журнала «Отечественные записки». С 1894 г. редактор журнала «Русское богатство» – *21, 161, 239–241, 269, 270, 280–283.*

Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905) – русский и украинский писатель, историк, публицист, автор многочисленных исторических романов. В начале 1870-х годов популярностью пользовался его роман «Знамение времени» из жизни прогрессивной интеллигенции – *101.*

Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) – русский историк, публицист, член редакции журнала «Русское богатство» – *182, 269, 270.*

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) – русский поэт – *328, 319.*

Нансен Фритьоф (1861–1930) – норвежский путешественник, полярный исследователь, его биографию написала А. Н. Богданович – *15.*

Николева Маргарита Федоровна – подруга Т. А. Богданович по Бестужевским курсам, после третьего года обучения была арестована по обвинению в неблагонадежности и сослана в Вятскую губернию, где познакомилась с 21-летним Феликсом Дзержинским, отбывавшим ссылку там же. В течение нескольких лет состояла с ним в переписке, затем их пути разошлись. После ссылки преподавала в гимназиях (школах) Киева и Петербурга (Ленинграда). В 1938 г. переехала в г. Пятигорск, где в течение 10 лет работала научным сотрудником в музее «Домик Лермонтова», став известным лермонтоведом. Во время оккупации города в 1942–1943 гг. Николева вместе с другими сотрудниками приняла участие в спасении «Домика Лермонтова» от уничтожения и разграбления. Дружбу с семьей Богданович поддерживала в течение всей жизни – *157, 158, 235, 316.*

Омулевский (Федоров Иннокентий Васильевич) (1836–1883) – русский поэт, беллетрист. Начинал литературную деятельность со стихотворных переводов и собственных стихов, проникнутых «гражданской скорбью» за всех обиженных и угнетенных, что было характерно для 1860-х годов. Большой популярностью у молодежи пользовался его роман «Шаг за шагом». Этот роман можно расценить, как программное беллетристическое произведение 1860-х годов. Роман был напечатан в журнале «Дело» в 1870 г. под названием «Светлов, его взгляды, его жизнь и деятельность». Роман вышел отдельным изданием в 1871 г. и не переиздавался. Омулевский умер от разрыва сердца, всеми забытый, в крайней нищете – *101*.

Пащенко Татьяна Аньоловна (1902–1991) – дочь А. И. Богдановича и Т. А. Богданович – *10, 15*.

Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) – русский политический деятель. Один из основателей конституционно-демократической партии (кадетов). Депутат I Госдумы. За подписание Выборгского воззвания подвергался тюремному заключению. После революции 1917 г. в 1919 г. эмигрировал, жил в Праге – *306*.

Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1925) – русский статистик, публицист, член редакции журнала «Русское богатство» – 269, 291.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – русский революционный публицист-демократ, литературный критик, философ-материалист – *102*.

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – профессор, историк, академик Российской Академии наук, читал курс истории на женских Бестужевских курсах – *155*

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) – русский государственный деятель. В 1881–1884 гг. – директор департамента полиции. В 1902–1904 гг. – министр внут-

обозрение», один из ведущих публицистов в журнале «Новое время». Дочь В. В. Розанова Надежда Васильевна была близкой подругой дочери Т. А. Богданович – Софии Аньоловны Богданович. Они учились в одном классе гимназии Стоюниной в Петербурге – *322, 323.*

Ростан Эдмон (1868–1918) – французский поэт и драматург – *218.*

Рудольф Австрийский (1858–1889) – эрцгерцог и кронпринц Австрийский. Единственный сын императора Франца Иосифа. Был разносторонне образованным, талантливым человеком. Знал языки всех, входящих в Австро-Венгрию государств, увлекался поэзией, литературой, сам выступал как литератор. Хорошо знал военное дело. В 1881 г. Рудольф женился на Стефании, дочери бельгийского короля Леопольда II. А через несколько лет он страстно влюбился в 20-летнюю румынскую баронессу Вечера и решил развестись со Стефанией и жениться на Вечера. Под нажимом отца Рудольф все же обещал порвать с Вечера. Это и привело к катастрофе. 30 января 1889 г. Рудольф застрелился в своем охотничьем замке Мейерлинге. Вечера была найдена в постели рядом с ним мертвой. Она отравилась стрихнином. Официальная версия смерти Рудольфа – разрыв сердца. Но скрыть это двойное самоубийство австрийскому правительству не удалось. О нем много писалось и говорилось в Европе и России – *144.*

Сазонов Егор Сергеевич (1879–1910) – русский революционер, эсер. В 1901 г. исключен из Московского университета и выслан из Москвы. В 1902 г. арестован и в 1903 г. выслан в Восточную Сибирь. По дороге в ссылку бежал за границу. 15 июля 1904 г. в Петербурге по поручению боевой организации эсеров убил министра внутренних дел В. К. Плеве и был при этом сам тяжело ранен. За это преступление приговорен к бессроч-

ным каторжным работам. Отбывал наказание в Нерчинской каторге. Принял яд, протестуя против телесного наказания двух каторжан – 282, 288.

Салтыков-Щедрин Николай Евграфович (1826–1889) – русский писатель – *320.*

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914) – русский государственный деятель. С 1904 г. министр внутренних дел. На этом посту сменил В. К. Плеве. В его назначении многие видели прекращение грубой реакции эпохи Плеве. Министерство Святополк-Мирского называли «Министерством приятных улыбок», а его политику «эпохой доверия». Тогда несколько ослабло административное давление на политических противников царского строя. Но деятельность Святополк-Мирского была крайне непоследовательна, противостояние в русском обществе вновь стало набирать силу и привело к революции 1905 г. 18 января (старый стиль) 1905 г. уволен в отставку – *22, 289, 291.*

Семевский Василий Иванович (1848/49–1916) – профессор, историк, один из основателей партии народных социалистов – *160, 161, 283,291*

Сибирцев Николай Михайлович (1860–1900) – геолог, почвовед, заведующий земским геологическим музеем в Нижнем Новгороде – *85.*

Сипович Ярослав Григорьевич – статистик, сотрудник Н. Ф. Анненского в Нижнем Новгороде – *94.*

Соколов Николай Дмитриевич (1870–1828) – русский социал-демократ, адвокат. Член III Госдумы, один из организаторов Общества по борьбе с антисемитизмом. В 20-е годы – юрисконсульт советского полпредства в Варшаве – *163, 166, 287, 329, 330.*

Стасова Надежда Васильевна (1822–1895) – выдающаяся русская общественная деятельница. В 1860 г. вместе

с другими общественными деятельницами, в том числе с А. П. Философовой организовала «Общество дешевых квартир для малоимущих жителей Петербурга». Много сил отдавала воскресным школам, просуществовавшим в Петербурге всего два года. В 1867 г. возглавила движение в пользу высшего женского образования. В 1878 г. были открыты Высшие женские курсы, официальным учредителем которых стал проф. Бестужев-Рюмин. Стасова организовала «Общества для доставления средств Высшим женским курсам», а в 1893 г. – «Общество вспоможения женщинам, окончившим курс наук на Высших женских курсах», в 1894 г. – «Общество Детская помощь». Кроме того, Стасова принимала активное участие в открытых ею детских яслях – *168*.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – русский политический деятель, экономист, философ, представитель легального марксизма – *267*.

Ткачев Андрей Никитич (1843–1911) – русский политический деятель, член Государственной думы, сын Н. А. Ткачева, брат П. Н. Ткачева, С. Н. Криль и А. Н. Богданович – *10, 124, 146, 149–152, 208, 235*.

Ткачев Никита Андреевич – инженер-строитель, отец П. Н. Ткачева, А. Н. Ткачева, С. Н. Криль, А. Н. Анненской – *5, 13*.

Ткачев Петр Никитич (1844–1885) – русский революционный демократ, народник, сторонник захвата политической власти и свержения царизма революционным путем силами заговорщицкой организации интеллигентов. Литературный критик, публицист, философ. В 1873 году эмигрировал, жил в основном во Франции. Родной брат А. Н. Ткачевой – *5, 7, 15, 65, 76, 77, 149, 218, 219*.

Ткачев Пьер – сын П. Н. Ткачева, после смерти родителей воспитывался в семье брата матери Преверэ – *218, 219*.

Стасовой, представила ректору СПб университета прошение об устройстве лекций или курсов для женщин. В результате были организованы лекции для мужчин и женщин, назвавшиеся «Владимирские курсы». В 1878 г. при содействии в том числе Философовой были открыты Высшие женские Бестужевские курсы. Философова вместе со Стасовой и Нечаевой – одна из учредительниц «Общества доставки средств Высшим женским курсам». Организовала множество общественных женских организаций, в том числе «Общество пособия слушательницам врачебных и педагогических курсов», «Русское женское взаимо-благотворительное общество», «Общество содействия сельскохозяйственному образованию женщин» и др. В 1901 г. в ознаменование 40-летия общественной деятельности А. П. Философовой была учреждена стипендия ее имени на СПб высших женских Бестужевских курсах – *168.*

Хмара-Барщевская Ольга Петровна – жена П. П. Хмара-Барщевского, друг И. Ф. Анненского – *27.*

Хмара-Барщевские Платон Петрович (1863–192...), Эмануил Петрович (1865–192...) – пасынки И. Ф. Анненского, сыновья Н. В. Анненской от первого брака – *142, 329.*

Цебрикова Мария Константиновна (1835–1917) – русская публицистка и литературный критик. Впервые как критик Цебрикова выступила в журнале Некрасова «Отечественные записки» в 1868 г. со статьей «Наши бабушки», посвященной женским образам в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Эта статья сразу принесла ей литературную известность. И другие ее статьи, написанные на литературные и общественные темы, были весьма популярны в самых различных читательских кругах России. Цебрикова принимала участие в развитии женского движения в России, наравне со Стасовой, Философовой, Нечаевой, Конради и др. Она не-

мало сделала для открытия Высших женских Бестужевских курсов. Отметим ее преподавание в Воскресных школах. Цебрикова – автор «Письма Александру III», написанному в Париже, отпечатанному в Женеве и перевезенному Цебриковой «на себе» в Петербург. Часть тиража была оставлена в Париже для отсылки в разные города России. В Петербурге Цебрикова разослала копии письма в канцелярию царя, наследнику, в редакции газет и журналов. Прочитав письмо Александр III якобы сказал: «Это видно, что отечество свое она все-таки любит». Цебрикову арестовали и без суда и следствия выслали на Север – в Яренск. Затем ей разрешили поселиться в Смоленской губернии у издательницы О. Н. Поповой, навсегда запретив въезд в обе столицы. Письмо Цебриковой было широко распространено в России. Письмо – один из самых замечательных документов русской публицистики. В нем на фактах Цебрикова доказывает, что карательные действия правительства только вызывают к жизни новые проявления терроризма. В письме резко обличалось царское чиновничество. Цебрикова сравнивает царских чиновников с опричниками, говорит, что царь заботится только о процветании и «самодержавии дома Романовых», а не о благе России. В письме Цебрикова говорит, что все беды России происходят от недостаточности реформ, на которые не решился по-настоящему Александр II, за что и был убит, а Александр III их окончательно похоронил. Цебрикова грозит царю неминуемой революцией, если не будут решены коренные и больные вопросы русской жизни – *102*.

Чачина Ольга Ивановна – гимназическая подруга Т. А. Криль (Богданович) – *103, 120, 139, 140*.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – русский революционный демократ, публицист, экономист, философ, литературный критик и писатель – *102, 111*.

ПРИМЕЧАНИЯ

С.45. «*Народная воля*» – партия, отражающая теоретическое миросозерцание революционных народников. Это же название имел и журнал партии, распространяемый нелегально. Партия организовалась на Липецком съезде в июне 1879 г., выделившись из партии «Земля и воля». В противовес партии «Земля и воля» «Народная воля» подчеркивала приоритет политической борьбы. «Народная воля» считала, что русский народ находится в состоянии полного экономического и политического рабства. В этом положении она сходилась с воззрениями «Земли и воли». Главным притеснителем народа, политическим и экономическим, является государство. Основной своей задачей «Народная воля» видела политический переворот с целью передачи всей власти в стране народу. Орудием переворота должно быть учредительное собрание, избранное всеобщим тайным голосованием. Все террористические акты в России, последовавшие за покушением А. К. Соловьева на царя Александра II, исходили от «Народной воли». Эта партия организовала и осуществила убийство Александра II 1 марта (по старому стилю) 1881 г. Падение «Народной воли» видят в общественной реакции, последовавшей после убийства Александра II и в массовых арестах партийных членов, последовавших за убийством, обескровивших партию.

С. 51. «*Отечественные записки*» (1820–1884) – ежемесячный журнал. Основан П. П. Свиньиным. С 1839 г. журналом руководили А. А. Краевский и В. Г. Белинский, а с 1868 г. – Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин.

С. 148. «*Русское богатство*» (1876–1918) – ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге с начала 1890-х годов. Орган либеральных народников. Редакторами журнала были С. Н. Кривенко, Н. К. Михайловский.

С. 171. *Голодный год*. В 1891–1892 гг. в Среднем Поволжье разразился голод. Особенно больших размеров он достиг в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. Отрицавшие самый факт голода, реакционно-настроенные дворяне и администрация уезда отказались от государственной ссуды. В. Г. Короленко после поездки в Лукояновский уезд сделал доклад о положении голодающих крестьян на заседании Нижегородской продовольственной комиссии и в Нижегородском благотворительном комитете. Доклад был опубликован в газете «Русские ведомости» в апреле 1892 г. Он назывался «Поездка в Лукояновский уезд Нижегородской губернии». В. Г. Короленко вместе с Н. Ф. Анненским разработали устав губернской благотворительной комиссии, который был положен в основу деятельности всех губернских комитетов помощи голодающим. Добившись увеличения размеров государственной ссуды и возможности организовать помощь голодающим, Короленко вновь уехал в Лукояновский уезд. Когда стало известно, что В. Г. сам организует помощь голодающим, на его имя стали поступать средства со всех концов России. В. Г. открыл 45 столовых в 22 деревнях. В 1893 г. вышла книга Короленко «В голодный год».

С. 201. «*Мир Божий*» (1892–1906) – ежемесячный литературный и научно-популярный журнал, издававшийся в Петербурге, основательницей которого была А. А. Давыдова, редактором А. И. Богданович.

С. 203. *Мултанское дело* – судебное дело (1892–1896) крестьян-удмуртов (вотяков) из села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии, ложно обвиненных в убийстве нищего с целью принести человеческую жертву языческим богам. По этому делу было три судебных разбирательства. Первое – в декабре 1894 г. – в г. Малмыже Вятской губернии, закончилось обвинительным приговором. Второе – в сентябре 1895 г. в г. Елабуге – снова закончилось обвинительным приговором. Короленко на этом разбирательстве присутствовал в качестве корреспондента. Вместе с А. Н. Барановым и В. И. Суходоевым В. Г. Короленко составил и опубликовал в газете «Русские ведомости» полный отчет о «Мултанском деле», вышедший затем отдельным изданием. Кроме того, Короленко опубликовал о нем ряд статей, появившихся в разных органах печати. Статьи Короленко привлекли к «Мултанскому делу» интерес широкой общественности. В защите обвиняемых приняли участие крупные юристы и видные деятели науки. Третье рассмотрение дела происходило в мае 1896 г. в г. Мамадыше Казанской губернии. Короленко выступил на нем качестве одного из защитников. Обвиняемым был вынесен оправдательный приговор. М. Горький писал: «Мултанское жертвоприношение» вотяков – процесс не менее позорный, чем «дело Бейлиса», принял бы еще более мрачный характер, если б В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс и не заставил прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти».

С. 218. *Одеон* – так в древней Греции называлось здание, предназначенное для музыкальных (вокально-

инструментальных) представлений и состязаний. Название театра в Париже.

С. 318. «*Речь*» (1906–1917) – ежедневная газета, выходившая в Петербурге под редакцией П. Н. Милюкова и И. В. Гессена, орган партии кадетов; «*Современное слово*» (1907–1918) – ежедневная газета в Петербурге.

С. 322. «*Новое время*» (1868–1917) – газета, издававшаяся в Петербурге с 1876 г. Орган реакционных дворянских кругов. С 1905 г. – орган черносотенцев.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Татьяна Богданович

ПОВЕСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ.
ВОСПОМИНАНИЯ.
1880-1909

Редакторы *В. Ф. Свиньин,*
Т. А. Янушевич

Компьютерная верстка
и оформление *Т. А. Воронина*
Корректор *Е. Н. Булгакова*
Диапозитивы *И. Н. Сапожников*

Издательство «Свиньин и сыновья»
www.isvis.ru; e-mail: isis@irs.ru

Подписано в печать 16.07.2007
Формат $60x84^1/_{16}$. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,32. Тираж 500 экз.
Заказ № 84-07

Типография ООО «ИД Сова»
630060, г.Новосибирск, ул. Зеленая горка, 1


ISBN 978-5-98502-056-4
9 785985 020564 >

Татьяна Александровна Богданович (1872–1942), рано лишившись матери, выросла в семье Анненских, под опекой беззаветно любящей тети – Александры Никитичны, детской писательницы, переводчицы, и дяди – Николая Федоровича, крупнейшего статистика, публициста и выдающегося общественного деятеля. Вторым ее дядей был Иннокентий Федорович Анненский, один из самых замечательных поэтов «Серебряного века». Еще был «содядюшка» – так называл себя Владимир Галактионович Короленко, близкий друг семьи. Татьяна Александровна училась на историческом отделении Высших женских Бестужевских курсов в Петербурге. Публиковаться начала с 24 лет. Большинство ее статей и книг посвящено вопросам истории и политики.

Эта книга воспоминаний 1880–1909 гг. охватывает один из наиболее драматичных периодов истории России, события которого автором переживались очень глубоко, начиная с раннего детства. Удивительно передана атмосфера творческой, активной семьи, никогда не равнодушной, всегда вникающей в сиюминутные, а оттого вечные дела своего времени. Прекрасно показаны писатели В. Г. Короленко, Глеб Успенский, Максим Горький, поэт И. Ф. Анненский, другие известные литераторы, публицисты, общественные деятели.



